



Эрнст БУТИН
**ЗОЛОТОЙ ОГОНЬ
ЮГРЫ**





Эрнст БУТИН
**ЗОЛОТОЙ ОГОНЬ
ЮГРЫ**

ПОВЕСТЬ



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1987

ББК 84Р7
Б93

Б $\frac{4702010200-161}{078(02)-87}$ 091-87

© Издательство «Молодая гвардия», 1987 г.



Деревянные божки-иттарма в изукрашенных меховых одеждах плотно, один к одному, лежали в сплетенном из кедровых корней коробе, обтянутом налимьей кожей. Плоские, с едва намеченными глазами и губами лица фигурок, которые казались иногда веселыми, иногда грустными, виделись сейчас старому Ефрему-ики строгими и торжественными — а как же иначе: сегодня еще один из Сатаров должен стать взрослым, еще один охотник и рыбак будет у Назым-ях — людей реки Назым, иттарма должны видеть, должны запомнить этот день.

Старик осторожно погладил лежащих сверху божков, словно попросил прощения за то, что беспокоит — давно не тревожил, с той самой поры, как две зимы назад вывез из Урмана Отца Кедров, напуганный, что к имынг-тахы — святому месту — свернул неведомо зачем отряд русики. Несли они флаг, который называется хоругвь, а на нем — русский бог по имени Сусе Кристе. Поп-батюшка, когда в прошлые, при царе Микуле, времена приезжал в Сатарово праздник делать, деньги-пушнину собирать, говорил, что бог Сусе ласковый, добрый, всех любит. Но на флаге отряда бог Сусе нарисован страшный, с лицом злым, глазами бешеными, лютыми. И люди, которые с флагом шли, тоже бешеные, лютые были, Других русики, что в тайге прятались, шибко ненавидели, убивали: те главному белому начальнику Колочаку служить не хотели. Да не просто убивали, а еще пять лепестков на лбу вырезали — такие метки носят на шап-

ках русики, что до колочаков недолго правили и после править стали. Эти, с пятилепестковыми значками на шапках, хорошие русики — купцов прогнали, торговать с речными людьми стали честно: много-много товара за шкурки, за рыбу дают, а те, с богом Сусе, совсем ничего не давали: оленя отберут, шкурки отберут, да еще в лицо смеются. А если кто-нибудь попробует свое защищать, изобьют, а то и пристрелят. По Урману Отца Кедрог как дикие прошли: священные лабазы и амбарчики поломали, сожгли, больших богов, которых Ефрем-ики вывезти не сумел, порубили.

Старик неглубоко вздохнул, поднял глаза на потемневшую икону, которая висела на стене: молодой, в золотой чешуе, в красной развевающейся накидке другой бог русики, Егорка-победитель, сидя на белом коне, пронзал копьем крылатого змея, корчившегося под копытами. Этого бога только русики Егорием зовут, а отец объяснил Ефрему-ики, когда тот был еще совсем маленьким, что на самом деле нарисован здесь верховный бог ханты Нум Торым, побеждающий злого врага своего Конлюнг-ики.

На икону старик смотрел недолго, почти сразу же перевел взгляд ниже — слева был приклеен пожелтевший лист: царь Микуль с царицей нарисованы. Оба в шапочках, усыпанных камешками, оба в накидках, но не в матерчатых, как у бога Егорки, а в меховых, из горностаев, с черными хвостиками-кисточками. Вокруг Микуля и его жены, в маленьких кружочках, царевы родственники и дети — большая семья, большой род. На царя Ефрем-ики глядел с укором — это от его имени тво-рили зло люди из отряда бога Сусе.

Старик усмехнулся: по этой картинке с царевой семьей учил он внука своего Еремея русской грамоте. Мальчик уже мог без запинки отчеканить надпись: «Трехсотлетие царствующего дома Романовых». А по вечерам развлекал семью, читая написанные мелкими буквами под кружочками имена великих князей и княгинь. Все великие, во как! Демьян, отец Еремейки, всегда изумленно смотрел на сына, поражаясь, как тот смог постичь такую премудрость — язык русики, да еще и за-прятанный в какие-то значки-букашки. Мать Еремейки горделиво улыбалась — такого умницы нет ни в одном стойбище, хоть все реки обплыви. Бабушка, жена Ефрема-ики, осуждающе покачивала головой, поджимала губы — ни к чему это, не доведет внука до добра такое

знание, ох не доведет! Старшая сестра Еремея, Аринэ, прыскала в ладонь, пыталась уличить брата — запомнив имя какого-нибудь царского родственника, тыкала в него пальцем, требовала: «Повтори!», и Еремей повторял, к радости деда, к восторгу малышни, которая с визгом барахталась на нарах и канючила: «Меня, меня научи так говорить». Но в последние дни Еремей на картинку с царским родом не смотрел — все свободное время читал тонкую серую книжечку, которую подарил ему в Сатарове русский старик Никифор, приятель Ефрема-ики.

Ефрем-ики поглядел на прикрепленный справа от иконы небольшой портрет улыбающегося Ленина.

В прошлом месяце, Месяце Созревания Черемухи, плавал Ефрем-ики с Еремейкой в Сатарово: новости узнать, вяленую рыбу на соль обменять. И услышал от Лабутина, начальника в Сатарово, хорошую весть — вверху по реке кончилась маленькая война, которая началась весной. В Месяц Нереста *, как узнал Ефрем-ики о том, что опять дерутся русские, очень огорчился: зачем снова стрелять-убивать, чего делить? Начальник Лабутин объяснил: богатые, которые раньше главными в жизни считались, хотят новую власть изничтожить, старые порядки вернуть. Опечалило это Ефрема-ики: значит, купец Астах в тайгу вернется речных людей обманывать-обижать? Но Лабутин успокоил, сказал, что мятеж, так он назвал маленькую войну, уже подавлен, что Советскую власть победить нельзя, так как она — власть народа, а народ непобедим.

И вот в Месяц Созревания Черемухи повеселевший Лабутин объявил Ефрему-ики, что маленькая война прекратилась полностью и навсегда. И больше ни здесь, ни во всей большой стране русики никаких выступлений против Советской власти не будет, потому что для этого нет теперь причин — так сказал Ленин. А слово Ленина дороже золота, крепче железа, заверил начальник Лабутин. Ефрем-ики тоже повеселел, закивал удовлетворенно. Имя Ленина часто он слышал: и в тюрьме, и после освобождения, в тот шумный, крикливый, полный музыки, красных флагов, рева толпы, первый месяц жизни без царя, и особенно часто слышал, когда колочаков прогнали. Верил Ефрем-ики Ленину, уважал его — это он прислал русики с пятью красными лепестками на

* Месяц Созревания Черемухи — август; Месяц Нереста — июнь.

шапках. Эти русики обещали, что никто больше не будет обижать речных и таежных людей. И слово свое сдержали.

«Да что я тебя агитирую,— засмеялся Лабутин.— Ты ведь у нас борец за дело революции, пострадавший при кровавом царском режиме. На! Дарю... Расскажи всем осяткам про Ленина и его правду. Ваши люди тебя слушаются. Ефрем Сатаров для них ба-а-альшой авторитет!» И снял со стены маленький портрет. Ефрем-ики не знал, что такое «агитирую», «авторитет», но опять кивнул. На этот раз спокойно и с достоинством: да, мол, ханты мне верят. Принял на сдвинутые ладони квадратик толстой, шероховатой бумаги, всмотрелся в изображение человека с ласковым прищуром глаз. «Ленин?» — и недоверчиво посмотрел на Лабутина, пораженный, что самый главный начальник новой власти оказался таким простым на вид, обыкновенным, совсем не похожим на важного, строгого царя и его родственников, которых победил. «Ленин, Ленин...» — подтвердил Лабутин. «Ладно. Всем ханты покажу: и Ас-ях покажу, и Назым-ях, и Казым-ях. Всем, кого увижу, покажу...»

Еремейка тоже получил подарок. Во время разговора старших он, чтобы не мешать, отошел в сторонку и не отрывал глаз от плаката, с которого требовательно смотрел на него строгий русики в островерхой шапке с пятью красными лепестками. Увидев, что внук Ефрема-ики шевелит губами, дед Никифор, помощник Лабутина, поинтересовался: «Читаешь, что ль?.. Неуж умеешь?» Еремейка подтверждающе мотнул головой. «Ах ты, паралик тебяхвати! — восхитился Никифор. — Врешь, поди?» Еремейка обиженно засопел и набычился. «Ну-тка, ну-тка, проверим... — Никифор подскочил к плакату, принялся тыкать в буквы. — Читай!» Вмиг вспотевший Еремейка начал выкрикивать вслед за рывками сухонького пальца старика: «Ты... за-пи-сал-ся добро-вольцем?» Голос от волнения и напряжения сел, стал хриплым. Никифор косился то на плакат, то на чтеца, вытягивал шею, сострадательно морщился. А когда Еремейка, закончив наконец испытание, смолк и перевел дух, старик восторженно хлопнул в ладоши, потер их. «Ах удалец, ах шайтаненок мозговитый! — Он мелко засмеялся. — Ну порадовал, ну утешил... Сто грехов тебе, Ефрем-ики, за такого мальчика спишется». — «Эка невидаль, — обиженно буркнул внук Никифора Егорка, переминавшийся с ноги на ногу рядом с Лабутиным. — Я еще быстрее читаю.

И арифметику знаю, и писать умею...» — «Цыть! Умолкни! — затопал на него Никифор. — С тебя другой спрос!» Он просеменил к полкам близ окна, выдернул тоненькую книжечку, зажатую меж толстых томов и протянул ее Еремейке: «Вот! Держи. От меня с Егорушкой. — Обнял внука, погладил его по взлохмаченным светлым волосам. — Сызмальства приучайся к хорошему русскому слову!» — «Лэ Нэ Толстой. Рассказы для детей», — вслух прочитал по складам Еремейка и крепко сжал губы, чтобы удержать радостную улыбку.

Ефрем-ики бережно вынул из ларя божков, положил их и, затаив дыхание, медленно достал еще одну фигурку, укутанную в самый дорогой, самый редкий мех — мех соболя. За две эти золотисто-коричневые шкурки отдал пять зим назад Ефрем-ики людям с дальней реки Аган шесть отборных белых оленей: двух хоров и четырех важенок.

Ласковыми, плавными движениями разматал старик пушистые, светло и волнисто переливающиеся шкурки, извлек из них тускло блеснувшую, маленькую, в поллоктя ростом, Им Вал Эви — серебряную дочь Нум Торыма. В литом, широком, до ступней, складчатом одеянии, в диковинной, с высоким гребнем, шапке Им Вал Эви, прямоспинная, гордая, выглядела грозно. В правой руке сжимала она длинное, с большим наконечником, копье, похожее на то, с каким хаживал Ефрем-ики на хозяина тайги — пупи*, брата Им Вал Эви, сына Нум Торыма, если пупи начинал плохо вести себя — людей пугать, оленей драть. В левой руке держала Им Вал Эви круглый щит, прижимая его к боку.

Ефрем-ики осторожно поставил Им Вал Эви на полочку под иконой так, чтобы лицо суровой дочери Нум Торыма смотрело прямо на вход, и деловито прошел к двери. Приоткрыл ее.

Нежаркое утреннее солнце уже показалось из-за округлых макушек сосен на другом берегу Назыма, разогнало жиденький туманчик, льнувший к реке, бросило на серую воду текущие тени деревьев, высветило гладкие лоснящиеся бока двух лодок-обласов, которые лежали на белом песке отмели днищами вверх. Подплывал к

* Пупи — медведь. Так его называют только взрослые мужчины. Дети и женщины пользуются иносказаниями: «чернолицый», «бродящий по урманам», «старик», «хозяин» и т. д.

двери слабый запах дыма, вареного мяса, свежей рыбы — женщины готовили еду. Мать Еремея чистила огромную бледноузорчатую щуку с сизо-черной от старости спиной — крупная, с царский гривенник, чешуя испятнала вытопанную землю, радужно взблескивала. Над костром колдовала, помешивая черпаком в черном закопченном казане, жена Ефрема-ики — высохшая от долгой жизни, сморщенная. Рядом, около летней печки-чувала, хлопотала, выпекая лепешки-нянь, Аринэ. Просяще поскуливали у лабаза Клыкастый и Хитрая — догадались собаки, что кто-то из хозяев собирается в дальнюю дорогу, посматривали выжидательно то на людей, то на рядок нарт, хоть и знали, что сидеть им на привязи до первого снега. Мягко частил перестук-топоток копыт. Стремительным росчерком взметнулся над жердями загона аркан-тянзян — отец Еремейки отлавливал для сына оленей. Около загона младший брат Еремейки Микулька, который пришел в жизнь семь лет назад, тоже, подражая отцу, метнул свой арканчик, целясь на сухие рога, которые держала над головой Дашка, сестра. Эта совсем еще маленькая, четыре года в Месяц Голых Деревьев исполнится.

Ефрем-ики сдержанно улыбнулся — хороший бросок у Микульки получился. Петля почти до самого основания рога опустилась и только там резко, рывком, затянулась.

Но тут же старик насупился — высоко солнце стоит, высоко; путь внуку дальний, а он еще из стойбища не вышел. Ефрем-ики повернулся в сторону навеса. Там склонился над снастями Еремей. Старик пристально посмотрел на него. Мальчик вздрогнул, быстро выпрямился, глянул встревоженно на деда и, подхватив две плетенные из ивняка рыболовные морды, рысцой подбежал к избушке. Бросил морды у входа, вошел внутрь.

— Долго собираешься, Еремейка, — проворчал Ефрем-ики.

— Все равно отец еще не отобрал оленей... — Мальчик опустил голову.

— Не о Демьяне, о тебе говорю, — оборвал старик. — За себя отвечай. Тебе уже два раза по семь лет — большой. Не смей никогда за других прятаться. — Недовольно нахмурился, приказал: — Начинай!

Мальчик выпятил грудь, торопливо пригладил ладонью жесткие волосы, торчащие на макушке. Поднял на икону черные, требовательные глаза.

— Э, Нум Торым, слышишь меня? — Лицо Еремея побелело: он торопливо облизал губы. — Сейчас на Куип-лор-ягун пойду запоры проверять. Один пойду, в первый раз один. Дедушка сказал, — мальчик, не отрывая взгляда от иконы, кивнул на Ефрема-ики, — что видал на Куип-лоре чернолицего младшего твоего сына. Скажи ему, чтобы не уходил, пока я с ним не поговорю. Мне пора пришла встретиться с ним, чтобы я тоже мог называть его пупи... — Перевел глаза на серебряную статуэтку. — А ты, Им Вал Эви, скажи бродящему по урманам брату своему, что я — Еремей Сатар, сын Демьяна Сатара, внук Большого Ефрема-ики. Скажи чернолицему, что дедушка объяснил мне, как надо с младшим братом твоим разговаривать, поэтому пусть не балуется, пусть ведет себя хорошо! — Облегченно вздохнул, переступил с ноги на ногу. Поглядел вопросительно на деда. — Все вроде?

— Вроде все, — согласился старик. — Маленько неласково говорил с Нум Торымом, но ничего, сойдет. Нум Торым знает, что ты мой внук. Не рассердится. Теперь так: даю тебе маленькое ружье... — Буднично снял со стены карабин, подал его серьезному, сосредоточенному внуку. — Даю еще свой ремень. — Поднял расстеленный на парах пояс с расшитой бисером сумкой-качином из оленьей шкуры, с длинным ножом в темном деревянном чехле, с щедро нашитыми медными кольцами, амулетами, медвежьими клыками. — Покажешь пупи зубы его братьев, скажешь, что мы, Сатары, из его рода, скажешь, чтобы слушался тебя. Не захочет — заberi у него жизнь. Разрешаю. На этот случай и даю маленькое ружье.

Еремей, сосредоточенно сопя, застегнул на себе пояс деда. Дернул плечом, подправляя карабин, и, не глядя ни на Ефрема-ики, ни на божков, вышел.

Отец завьючивал последнего, третьего в связке, оленя. Микулька, засунув палец в рот, внимательно наблюдал за работой. Увидев в двери старшего брата в новой летней малице из крепкой плотной материи зеленого цвета, в новых ныриках, туго завязанных под коленями, а главное — с дедушкиным поясом, дедушкиным маленьким ружьем, плаксиво надул губы. Демьян мельком взглянул на старика, потом на старшего сына, протянул ему несколько сушеных рыбешек. Задержал взгляд на карабине.

— Сlopцы в урмане посмотри, — попросил, стараясь говорить как можно равнодушной.

Еремей, сосредоточенно скармливавший рыбу вожаку-хору, кивнул.

— На сосне Назым-ики наш знак поставь,— напомнил старик.— Это теперь твое место будет. Пусть и боги, и люди знают — на Куип-лор-ягуне рыбачит Еремей Сатар,— раскрыл берестяную коробочку, которую крутил в руках, захватил щепотку табаку, клубочек белой тальниковой стружки, сунул привычно за щеку.— Иди! И так много времени потерял.

Демьян суетливо передал повод сыну. Олень ткнулся мокрым носом в ладонь мальчика, требуя еще лакомства. Но Еремей дернул повод и, не спеша, с достоинством, пошел от избушки.

Женщины, низко склонившись над работой, сделали вид, будто ничего вокруг не происходит: мать Еремея, вспоров брюхо щуке, сноровисто выгребла на доску сырые ленты кишок; бабушка, пригнувшись к казану, пробовала из черпака варево, отрешенно глядя в костер. Только Аринэ, оторвав лицо от деревянного корыта с тестом, радостно и ободряюще улыбнулась брату. Он улыбнулся в ответ.

Демьян бросился вслед за сыном. Догнал его уже на опушке молодого ельника, подступившего к стойбищу. Услышав частое, прерывистое дыхание отца, топот его босых ног, Еремей удивленно оглянулся.

— Патроны хочу дать,— смущенно пояснил Демьян. Одним движением расстегнул офицерский ремень, принялся стаскивать с него брезентовый армейский подсумок, но пряжка цеплялась за петли. Демьян засмеялся, показав желтые искрошившиеся зубы: — А, ладно, бери так. Вместе с ножом, вместе с поясом!

— Да у меня все есть,— недовольно буркнул мальчик и похлопал по расшитой сумке Ефрема-ики.

— Ничего, ничего, возьми. Лишнее не будет. И второй нож может пригодиться, мало ли что...— Демьян сунул ремень в руки сына.— Патроны все же береги, зря не стреляй,— попросил робко отец.

Еремей оскорбленно вскинул голову — сам, что ли, не знаю?!

— А с пупи не связывайся,— тихо продолжал Демьян.— Спрячься или убеги, не разговаривай с чернолицым, ну его...— Опустил глаза, сдержал вздох.— Дедушке скажешь, что бродящий по урманам не приходил.

Еремей снисходительно усмехнулся. Лицо его стало насмешливо-жестким. Он уверенно и горделиво посмотрел

рел на стойбище, где хлопотали у огня бабушка и мать, где замерла у чувала Аринэ, где озабоченный Микулька, пятясь, ташил к навесу сестренку Дашку, схватив ее под мышки.

Решительно дернул поводок оленя и быстро направился в глубь ельника.

Демьян понуро пошел назад. Кликнул Микульку — надо поставить чум: должны приплыть с низовьев Сардаковы, чтобы порадоваться — отпраздновать вместе с Сатарами день, когда Еремейка стал взрослым охотником и рыболовом.

Демьян и Микулька затягивали последний ремень, прикрепляя к жердям чума шкуру-нюк, когда Клыкастый и Хитрая заворчали, медленно поднялись с земли, задрали морды, приняхиваясь, и вдруг звонко залаяли. Демьян разогнулся, посмотрел на собак, потом туда, куда они тянулись носами — в сторону излучины реки. Микулька, не задумываясь, бросился на берег, частя согнутыми в локтях руками, мелькая черными пятками, и запританцовывал в нетерпеливом ожидании на отмели. Женщины выпрямились, застыли, уставившись на мысок.

Дверь избушки распахнулась, появился Ефрем-ики.

Из-за плотного темно-зеленого кедрача, стеной вставшего на мыске ниже стойбища, выплыла русская, сбита из досок лодка, в которой сидели четыре мужика в шинелях и мальчишка — Антошка Сардаков — на носу. Тяжело и не враз поднимались весла — плохие, знать, гребцы, неумелые, да и устали, судя по всему.

Женщины, увидев, что едут незнакомые люди, прикрыли платками лица, отвернулись. Ефрем-ики и Демьян помрачнели, переглянулись, пошли, не торопясь, к берегу.

— Вот она! Сатар-хот! — донесся из лодки радостный мальчишеский вопль. — Она — Сатарват!.. * Пэча, Микулька-а-а...

— Пэча вола, Антошы-ы-ыка-а-а... Пэча вола,

Звонкие детские крики неслись по гладкой воде, отражались от сосняка, дробились, рассыпались на мелкие осколки звуков и гасли, породив слабые отголоски эха.

Гребцы оглянулись. Лодка круто вильнула и, дергаясь, переваливаясь с борта на борт, пошла к берегу.

* С а т а р - х о т — дом Сатаров; С а т а р в а т — селение Сатаров.

Ткнулась в отмель рядом с обласами, зашуршала днищем по песку. Антошка в серой, до колен рубаше высочил на берег, заулыбался во весь рот, но увидев неласковые глаза Ефрема-ики, съежился. Микулька подскочил к нему, принялся дергать за руку, тормошить.

Ефрем-ики медленно перевел взгляд с ребятишек на чужаков. Гребцы — широкогрудый, большерукий парень и жилистый, носатый мужик с всклокоченной бородой — мельком и равнодушно посмотрели на хозяев стойбища, подняли со дна лодки винтовки. Подобрав полы шинелей, неуклюже выбрались через борт. Третий, который сидел, ссутулившись, на корме, низко надвинув фуражку с блестящим козырьком, лениво поднялся, перекинул через плечо выгоревшую котомку. Вышагнул из лодки, оглянулся на четвертого — щуплого, с черными кудрями, с черной кучерявой бородкой и лихо закрученными усиками. Тот растирал затекшую ногу, но под взглядом человека с котомкой вскочил.

— Вот те фунт, отсидел! — весело рассмеялся, выпрыгнул на песок. — Ну, здравствуйте, господа Сатаровы! Давненько не виделись. Соскучились, чай, без меня? Как живете-можете, любезные?

— Зачем приехал, Кирюшка? — отрывисто спросил Ефрем-ики.

— Большого русского начальника привез к тебе. Очень большого! — Кирюшка показал взглядом на человека с котомкой, лъстиво улыбнулся ему. И снова к старику: — Уважь этого русики, сделай все, что попросит,

— Моц хо — торым хо, — серьезно ответил Ефрем-ики и повторил по-русски: — Гость — человек бога... Как звать тебя? Как обращаться? — спросил у начальника Кирюшки.

— Забыл, как к большим людям обращаться? — Кирюшка грозно сдвинул брови. — Напомню!

— Оставь это, — поморщился человек с котомкой. Серые глаза его, которые, казалось, еще ни разу не мигнули и смотрели не на старика, а сквозь него, стали насмешливыми. — Вы хорошо говорите по-русски... э—э, почтеннейший Ефрем Сатаров. Думаю, мы найдем общий язык. А обращаться?.. Можете звать меня хоть товарищем. Если нравится. — Он слегка скривился, дернул верхней губой. — Но лучше все же — господин Арчев.

— Ладно, — согласился Ефрем-ики. — Заколи Бурундучиху! — приказал через плечо сыну. — Скажи женщинам: пори варлы. Моц ях!

— Праздник сделаем. Гости,— пегромко перевел Кирюшка Арчеву.

Тот равнодушно глядел на стойбище.

Старик пошел к чуму, поглядывая то на женщин, которые заматались у костра, то на ребяташек, суетливо помогавших им. Ефрем-ики был уверен, что гости следуют за ним, однако шагов не слышал. Удивленно оглянулся и нахмурился.

Кирюшка уже открыл дверь в тулых хот, пропуская вперед Арчева. И едва тот вошел внутрь, скользнул следом. За ними — уверенно, по-хозяйски — скрылись в избушке и гребцы. Дверь закрылась.

Когда вошел и Ефрем-ики, Арчев сидел на нарах, задумчиво почесывал щетину, осыпавшую щеки, подбородок, и с интересом разглядывал тускло поблескивающую в свете верхнего, открытого на лето окна фигурку Им Вал Эви. Кирюшка стоял посреди избушки, заложив руки за спину, покачиваясь взад-вперед, отчего сапоги слабо поскрипывали, и тоже не отрывал глаз от дочери Нум Торыма. Медленно повернул голову, смерил хозяина стойбища тяжелым взглядом, усмехнулся.

— А этот зачем у тебя? — вяло махнул рукой на портрет Ленина.

Ефрем-ики сел на чурбак около печки-чувала, достал коробочку с табаком. Покосился на гребцов, которые, опираясь на винтовки, застыли слева и справа от входа.

— Власть. Главный в новой жизни,— заложил порцию табака за щеку, сунул туда стружку-утлап. Пожевал.— Твоего хозяина, Кирюшка, купца Астаха выгнал, тебя выгнал. Речных людей обманывать запретил... Хороший человек, хорошая власть!.. Не то, что Микуль-царь или Колочак,— и далеко, под порог, сплюнул желтую слюну.

— Хорошая власть...— передразнил Кирюшка и, сжав кулаки, дернулся к старику, но, быстро взглянув на Арчева, остановился.— Что ж ты, в таком разе, пенек таежный, августейшую фамилию оставил? — Расправил плечи, выпятил грудь, показал глазами на лист с семейством царя.

— Давно висит. Пушай себе...— Ефрем-ики опять сплюнул.— Больно одежда на царе с царицкой красивая. Из наших зверюшек, поди, сшили.

— Вот дожили, язви ты в душу,— вздохнул пожилой гребец, и длинное лицо его стало оскорбленным.— Помазанника божьего, самодержца всероссийского токмо из-за

одежки и почитают шайтанщики. Как же это так, Степа? — Он пристукнул прикладом о пол. — Оне ведь хрещеные, аль нет?

— Хрещеные, Парамонов, — буркнул напарник. — Только я так думаю, что этот остячишка — большевик. Тутошним председателем Совнаркома себя небось мнит.

Арчев, разглядывающий со скучающим видом развешанные по стенам правилки, распялки для шкур, лук, стрелы, ружье, бубен, берестяные и сшитые из рыбьей кожи личины-маски, усмехнулся.

Парамонов сморщился, захихикал, словно завсхлипывал, затрясся всем телом. Степан широко раскрыл рот, набрал побольше воздуха и оглушительно захохотал.

Ефрем-ики невозмутимо посматривал на развеселившихся чужаков.

Кирюшка неторопливо потянулся через нары к стене, сорвал портрет Ленина. Смял его, отбросил небрежным жестом к печке, под ноги хозяину стойбища. Насмешливо взглянул на старика. Тот не шелохнулся, только табак жевать перестал.

— А это кто у тебя? — Кирюшка показал пальцем на статуэтку.

— Нум Торыма дочь, — спокойно пояснил Ефрем-ики. — На охоте помогает. — Медленно перевел тяжелый взгляд на Степана.

Тот, покряхтывая, присел на корточки, цапнул скотканый портрет и брезгливо швырнул его в печку.

— Откуда она у вас? — хрипло спросил Арчев. Кашлянул, прочищая горло. — Фигурка эта откуда?

— Стояла в Урмане Отца Кедров. Долго стояла. Мой отец, отец моего отца там с ней, с Им Вал Эви, разговаривал. А я сюда принес. Две зимы назад. Когда колочаки с богом Сусе Кристе в имынг тахи свернули. — Выплюнул черно-зеленую табачную кашу, растер ее пяткой. — Зачем ты ходил туда, Кирюшка? — поинтересовался, не поднимая лица.

Парамонов и Степан насторожились. Арчев прищурился. Кирюшка, любовно поглаживая бородку, заулыбался.

— Об этом маневре тебе лучше бы командира поспросить, — посмеиваясь, начал он и вздрогнул от свирепого взгляда Арчева. Съежился, принялся оправдываться смиренным, виноватым тоном: — Велели туда вести, Ефрем-ики, приказ был. А я что? Я человек маленький, ничтожный, можно сказать... — Увидел, что старик, слегка повернув голову, испытующе смотрит на него снизу вверх,

зачастил с убеждающей искренностью.— Да и не я тех людей на имынг тахи привел. Не я, ей-богу! Ваш же осяк, Спирька, привел. Спирька, все Спирька, святой иконой клянусь! — Размашисто перекрестился, развернувшись к Георгию Победоносцу.— Помнишь Спирьку-то? Старшиной в инородческой управе который был?

— Водил Спирька колочаков, знаю,— кивнул Ефремики.— Нету больше Спирьки. Потому тебя и спрашиваю: чего там искали?

Открылась дверь. Внутри скользнула старуха, прикрывая лицо краем белой, с алыми цветами, шали. Шмыгнула в левый угол, где лежала посуда, достала два добеда выскобленных низеньких столика, проворно поставила их на нары и быстро вышла. Тут же в дверях показался Демьян. Широко, счастливо улыбаясь, отчего глаза его превратились в еле видимые щелки, нес он на вытянутых руках долбленое корытце, в котором бугрился, мокро поблескивая, светло-коричневый ком сырой оленьей печени. Мелко семеня, низко склонив голову с надвинутым почти до носа пестрым платком, вплыла вслед его жена, бережно неся берестяную чашу, до краев наполненную еще исходящим паром лакомством — икрой, сваренной вместе с молоками и рыбьей печенью. За матерью, еле ступая от смущения, появилась Аринэ, так закутанная в зеленую, с золотыми разводами, шаль, что видны были только черные, расширенные любопытством глаза. Она несла деревянное блюдо с распластанной, матово розовеющей тушкой муксуна. Замыкал шествие Микулька. Закусив нижнюю губу, надув от усердия щеки, нес он большую берестяную посудину, с крупной, густо-красной, почти черной, брусникой, весело посверкивающей точечками бликов.

Арчев снял фуражку, пригладил короткие золотистые волосы. Рывком расправил плечи, сбрасывая за спину шинель, потянулся к котомке. Достал охотничью фляжку, обтянутую кожей.

Степан заулыбался, торопливо повесил винтовку на колышек в стене, сел рядом с Арчевым, заерзал. Парамонов, сделав строго-постное лицо, стянул с головы мятую солдатскую папаху, поплевал на ладонь и тоже, как командир, пригладил реденькие волосы. Винтовку не выпустил — присев на краешек нар, зажал ее меж колен. Кипрюшка, потирая руки, пристроился к столику с оленьей печенью. Склонился над ней, выдернув из ножен широкий тесак.

— Маленько подожди,— Демьян осторожно удержал

его руку.— Отца подожди надо,— показал взглядом на Ефрема-ики, который копошился в углу нар.

Старик расшвырял спальные шкуры, извлек из-под них бутыл-четверть мутного стекла, почти доверху наполненную розоватой жидкостью. Поставил ее между столиками. Подождал, когда выйдут женщины, и повернулся к иконе. Демьян вскочил, встал рядом. Строго глядя на Георгия Победоносца, Ефрем-ики негромко, но требовательно заговорил по-хантыйски.

Арчев вопросительно поднял глаза на Кирюшку. Тот хмыкнул.

— Молится... К богу тутошнему обращается,— торопливо объяснил Кирюшка.— Ты, мол, Нум Торым, который владеешь здешней землей, и вы, дети его, которые даете охотнику и рыбаку добычу, к вам, дескать, взываю. Вы, говорит, которые можете сделать человека сытым и голодным, которые отводите от людей болезни и беду, порадитесь, стал быть, вместе со мной. Так как у меня, говорит, нынче праздник — гости приехали. Когда, говорит, будете делить удачу, не забудьте-де и моих гостей, нас, то есть. Отведите, говорит, от них беду, помогите им, нам, стал быть, во всех делах. Ну и прочее такое.— Подождал, когда старик смолк, выкрикнул весело: «Аминь!» — и деловито принялся разливать из бутылки в приготовленные хозяевами плошки.

Ефрем-ики и Демьян поклонились, повернулись по солнцу вокруг себя, снова поклонились, снова повернулись, и еще раз поклонились-повернулись.

Парамонов, закатив глаза и беззвучно шевеля губами, истово перекрестился. Степан тоже перекрестился, но небрежно, мелко, точно от мухи отмахнулся, и проворно схватил самую большую посудину.

— Ну, с богом! — Арчев налил себе из фляжки в крышечку-колпачок, поднял ее.— Будьте здоровы, хозяева. Долгих вам лет жизни! — Однако пить не стал, только чуть-чуть отхлебнул.

Ефрем-ики, глядя на него, тоже сделал лишь крохотный глоточек и отставил плошку. Демьян же выпил свою порцию всю: скривившись, не дыша.

Парамонов, Степан и Кирюшка, настороженно наблюдавшие за хозяевами, решились: хакнули, выпили залпом. И выпучив глаза, оцепенели от неожиданности — розовенькая водичка оказалась подкрашенным спиртом. Выдохнули, заулыбались радостно.

— Шибко сердитая? — Демьян, зажмурившись, захи-

хикал, покрутил головой.— Отец давно держит, мне не дает. Для большой праздник, сказал.

Кирюшка, отпластав ломоть печени, вцепился в нее зубами. Промычал что-то, пережевывая. Парамонов и Степан даже не взглянули на хозяев стойбища — с жадностью накинудись на пищу.

Когда гости насытились и Кирюшка принялся вылавливать тесаком сгустки икры из варки, Степан — выбивать на столик костный мозг из мослов, а Парамонов потянул из кармана засаленный кисет, Ефрем-ики спросил:

— Какие вести на реке? Начальник Лабутин из Сатарова говорит: маленькая война была.

Кирюшка зашелся кашлем, мотая над столиком кудрями. Парамонов зачистил по его спине кулаком, вцепившись другой рукой в винтовку.

— Эвон, какие у тебя друзья-приятели! — Степан замер с поднятой в замахе костью. Сунулся лицом к старику, уперся в него мутным пьяным взглядом.— Мотри у меня, сочувствующий. Я не Кирюха, на долгие разговоры не мастак! — И обрушил кость на столик: подпрыгнули клошки, объедки.

— Погодь, Степа, чего вызверился? — Парамонов вцепился ему в запястье.— Аль опьянел маненько?!.. Мы, мил человек, воевали, мы,— повернул он к Ефрему-ики огорченное лицо.— Всем обществом, всем миром, значит-ца, пошли против анчихристов-большевиков. Да, побили нас, вишь ли. Вот и обидно, вот и осерчал Степа, потому как слышать про то не может. Ты не гневись!

— Эт-то кого побили? — откашлявшись, заорал Кирюшка.— У нас пере... пересид... тьфу ты! Пере-дис-локация. Мы есть восставший во имя свободы народ... Бей жидов, спасай Россию! Уря-а Советам без коммунистов! Понял, харя немытая?! — И потянулся скрюченными пальцами к бородке старика.

Тот не шевельнулся. Демьян испуганно пискнул, вжав голову в плечи.

— Прекратить балаган! — рывкнул Арчев. И Кирюшка, и Степан, и Парамонов враз вскинули головы, вытянулись.— Не сердись, старик,— Арчев улыбнулся Ефрему-ики, но глаза оставались колючими и холодными.— Это твое угощение виновато,— щелкнул по бутылки.— И людей моих пойми: мы действительно восстали и нас действительно разбили.— Он говорил сухо, отрывисто, вздергивая иногда в раздражении верхнюю губой.— Поэтому и

пришли к тебе. Выведи нас на Казым. Надо обойти большевиков стороной. Поможешь?

— Зачем воевали? — спросил опять Ефрем-ики,

— Во баран! — возмутился Кирюшка. — Говорят тебе, за Советы без коммунистов! — Он с ненавистью уставился на старика, опять было потянулся к нему, но Арчев скинул руку, и Кирюшка откачнулся.

— Господин Серафимов прав, — Арчев пренебрежительно кивнул в его сторону. — Но вам, остякам, трудно понять это. Вас тайга да река кормит, а русский мужик от хлебушка зависит. — Голос Арчева был скучающий, слова он цедил вяло, неохотно. — Есть хлебушек, есть жизнь. Нет хлебушка — помирай. — Поднял кусок бурой, как земля, лепешки. — У вас вот, пожалуйста, мука имеется, хоть вы не пашете, не сеете! А у русского мужичка мучицы нету!

— Мы за муку пушнину даем, — спокойно ответил Ефрем-ики. — Много даем. Хорошо даем.

— Верно, вы пушнинкой платите за муку. А куда она идет? Комиссаршам на шубки, а хлебушек — коммунистам на стол. Чтоб жирели. А крестьянин с голоду пухнет. Он даже мякины не видит. Все до последнего зернышка у него забирают!

— Продразверстка, мать ее в душу! — Степан скрипнул зубами.

— Коммуния, военная коммунизма, хе-хе, — Парамонов покрутил головой. — Все обчее, особливо воши. — Захватил губами сигарку и, сгорбившись, принялся старательно высекать кресалом огонь.

— Однако весной главный начальник Ленин велел: не надо больше разверстка. — Ефрем-ики насмешливо посмотрел на Арчева. — Мужiku хлеб оставлять будут. Торговать можно. Зачем воевали?

— Брешет твой Ленин! — взъярился Парамонов. Пыхнул в лицо старика махорочным дымом. Стукнул с силой прикладом в пол. — Нашел кому верить — германскому шпиену!

— Ох, дед, дед, знать ты насквозь красный, — сокрушенно покачал головой Степан, и круглое лицо его стало сочувствующим. — Видать, надоело тебе по земле топтать. — Лениво выдернул самокрутку изо рта Парамонова, затянулся, раздумчиво глядя на Ефрема-ики.

— Он же форменный агитпроп разводит, — простонал Кирюшка и с мольбой посмотрел на Арчева. — Дозвольте ответить, чтоб понял, а?

— Я вижу, ты много знаешь, старик,— удивленно протянул Арчев, и в глазах его появилось любопытство.

— Много знаю,— серьезно согласился Ефрем-ики.— Закон тайги, закон воды знаю. Злых, добрых шайтанов знаю — слушаются меня. Язык русики знаю, писать, читать по-вашему знаю — речных людей учу.

— Еремейка шибко хорошо читать-писать может,— широко заулыбался Демьян.— Сын мой, Еремейка,— пояснил он и горделиво постучал себя по груди.— Больно умный, больно все понимает. А я нет, я плохо понимаю.

— Где же ты всему обучился, старик? — снисходительно спросил Арчев.

— В остроге, поди. Где ж еще,— зло буркнул Кирюшка.— Там, у политических, башку-то себе и задурил, горю набрался. Был верноподданный, стал сволочью.

— Да уж, после арестантских университетов благонамеренности не жди,— желчно подтвердил Арчев.— Ничего, Ефрем-ики свой грех искупит. Тогда эсдэку от власти помог уйти, сейчас нам поможет. Верно?

Старик, подумав, медленно кивнул.

— Вот и славно! Ты должен во всем помогать мне. Понял?

— Помогу,— согласился старик.— Закон тайги говорит: помоги тому, кто в беде. Ты в беде. Помогу... Тебе власть не нравится — твое дело. Мне власть нравится — мое дело. Только зачем на Казым хочешь? В реку Ас попадешь. А там везде большевик, везде власть. Поймают. Думаю, тебе на Надым надо. А потом по тундре в Обдорск.

Арчев достал из котомки потертую, сложенную во множество квадратов карту, развернул ее, решительно сдвинув посуду, объедки. Потом вынул из нагрудного кармана френча некогда белый, а теперь серый от грязи прямоугольник батиста, положил его на карту, разгладил ладонью.

— Ачи, лейла, мынг пусив!* — Демьян засмеялся, уставился на тряпицу с вышитыми на ней извивами рек, плавными закруглениями болот.

Ефрем-ики нагнулся к лоскутку. Фыркнул.

— Спирька, знать, рисовал? — Поднял на Арчева глаза.— Знаю, зачем Сорни Най рисовал. Святые места метил. Это Урман Отца Кедров, где Им Вал Эви стояла,— показал на маленький рисунок.— Это эвыт Нум Торы-

* — Отец, смотри, наша метка (наш знак). (хант.)

ма,—показал на другой рисунок. И выпрямился.—Зря метил Спирька,—пренебрежительно махнул рукой.—Много-много лет не живет тут Нум Торым. Старая метка, не годится.

Гости смолкли, оцепенели: Степан замер, не донеся до рта обслюнявленный окурок; Парамонов, вцепившись двумя руками в ствол винтовки, воззрился на начальника вопрошающими глазами; Кирюшка вытянул шею, гулко проглотил слюну, натянуто и недоверчиво заулыбался.

— А где же сейчас священное место Нум Торыма? — спросил еще более скучающим тоном Арчев.— Ты знаешь?

— Как не знать? — удивился старик.— Знаю, конечно... Я знаю, сын мой знает,—повел глазами на Демьяна, который напыжился, кивнул подтверждающе.—Его сын, Еремейка, знает. Микулька только не знает — маленький еще... Я умру, Демьян старшим у Назым-ях станет. Демьян умрет, Еремейка старшим станет. Старший Сатар должен знать, где имынг тахи Нум Торым. Закон такой у нас, у ханты. Все речные люди это знают...

— Покажешь мне новый эвыт,—перебил лениво Арчев.

Демьян весело рассмеялся; Ефрем-ики сдержанно, добродушно улыбнулся.

— Только Сатары, только мужики нашего рода должны знать, где эвыт. Другие ханты не знают. Ни Казым-ях, ни Аган-ях, ни Надым-ях. Даже Ас-ях не знают, нельзя.—Голос старика стал сочувствующим.—Тебе, русики, совсем нельзя, закон такой.

— Мне можно.—Арчев не спеша вытащил из-под полы френча револьвер, навел его на Ефрема-ики.

— Слава те, осподи, настал мой час! — Кирюшка радостно перекрестился.—Я те покажу: Кирюшка плохой! Я те покажу: новая власть хорошая! — Он рывком вскинулся, размахисто ударил старика в скулу.

Ефрем-ики шатнулся, резко опустил руку, чтобы хватить нож, но ножа не было — отдал внуку. Степан облапил старика, сдавил, засопел в ухо:

— Не трепыхайся, не трепыхайся... Силен бродяга, мотри-кось, ты!

Демьян взвизгнул, оскалился, тоже стремительно провёл ладонью вдоль пояса и тоже не нащупал ножа. Оттолкнувшись от нар, вскочил, и гибко, по-куньи, вильнув телом, метнулся к двери. Распахнул ее ударом ноги, крикнул истошно:

— Ляль юхит! Каняхтытых... *

Грохнул выстрел. Демьян взметнул руками, выгнулся назад и упал на спину перед порогом. Кирюшка, сорвавшийся за ним, перемахнул через тело, выскочил наружу, даже не оглянувшись.

Парамонов передернул затвор — весело блеснув, выскочила гильза, запыгала по плахам пола.

— Остолоп, надо было подбить его, и только, — недовольно проворчал Арчев. — Так нет же, лупишь наповал.

— Виноват, вашбродь! — Парамонов вскочил, приставил винтовку к ноге. — Я не размышлялши. Рука сама сработала.

— Вечно вы... не размышлялши, — Арчев дернул верхней губой. — Отпусти старика! — приказал Степану.

Тот нехотя разжал руки. Ефрем-ики повернул голову, увидел тело сына, сгорбиллся, помрачнел.

— Ну, поведешь на капище Нум Торыма? Если нет, тогда... — Арчев приставил дуло к виску старика.

— Пугаешь? — Ефрем-ики ладонью отвел револьвер. — Не боюсь.

Лицо его отвердело, зрачки расширились. Плавное повед рукою, нащупал тесак на столешнице. Степан вцепился в кулак старика, но тот медленно повернул к нему голову и от жуткого, остановившегося взгляда хозяина избушки мужик поежился, расслабил пальцы.

— Смо-три, — глухо сказал Ефрем-ики и все так же замедленно потянул рубаху за ворот. Ветхое, застиранное полотно расплзлось, открыв грудь с вялыми, дряблыми мышцами. Ефрем-ики, глядя уже в глаза Арчеву, прижал клинок к телу и, не поморщившись, не вздрогнув, повел, не спеша, тесак вниз и наискось. На груди прорисовалась алая полоска, которая сразу же превратилась в широкую, ярко-красную на белой коже, ленту крови, стекающей под рубаху. — Гля-ди, не бо-ольно-о-о...

Арчев, слегка зажмурившись, мотнул головой, точно отгоняя видение, и, уловив сквозь прищур, что лезвие блестит уже перед самым носом, отшатнулся, распахнул глаза.

Парамонов, вскинув винтовку, успел стволом отбить руку Ефрема-ики, когда лезвие уже почти коснулось шеи Арчева. Тесак выпал, воткнулся с легким стуком в пол, Степан вздрогнул, словно проснулся, навалился со спины на старика, подмял его, запыхтел.

* — Беда пришла! Убегайте! (хант.)

— Ишь чего, колдун плешивый, удумал: глаза отводить! — Парамонов нервно хихикнул, наложив пятерню на лысину Ефрема-ики, толкнул несильно. — Спасибочки скажите, вашбродь, что я в зенки его лешачьи не смотрел, — он, сделав умильное лицо, лъстиво глядел на начальника. Задрал голову, почесал подбородок. — А энтим фокусам — по живому мясу резать — меня не напугаешь. Сам мастак на такие дела. Еще чище умею: звездочками...

— По чужому телу, — отрывисто уточнил Арчев. Потер лоб кулаком, передернул плечами. — Черт-те что! Вульгарный гипнотизм, а я, как гимназистка... Не придужи его, олух! — прикрикнул на Степана.

Тот отпустил старика, поглядел, набычившись на испачканные кровью ладони, вытер их о штаны.

Ефрем-ики с трудом распрямился, покрутил головой, помял пальцами горло. Стянул на груди рваную рубаху, прикрывая багровый, теперь уже слабо кровоточащий рубец, и замер, прислушиваясь.

Снаружи доносились крики, плач, подвывание, перекрываемые свирепым, захлебывающимся лаем Кыкастого и Хитрой. Хлопнули один за другим два выстрела — собаки, пронзительно взвизгнув, смолкли.

Аринэ с Дашкой, жена Демьяна с Микулькой на руках, старуха показались единым темным пятном в дверях, и тут же отпрянули, оборвав стенания, причитания, всхлипы — увидели на полу убитого.

Кирюшка, взмахивая наганом, тычками и пинками загнал в избушку женщин. Те, не пряча больше под праздничными шаями лица, робко остановились перед телом Демьяна. Микулька, обхватив шею матери, прижавшись к ее щеке, со страхом и недоумением смотрел на неузнаваемого отца.

Дашка захныкала, но бабушка закрыла ей лицо ладонью, прижала девочку к себе: начала раскачиваться, затянула негромкую, заунывную, без слов, песню.

— Ну, милые дамы, отвечайте, — Арчев щелкнул предохранителем револьвера. — Кто отведет нас на имынгдахи? Ты? — Направил оружие на старуху. — Ты? — Повел стволом в сторону жены Демьяна.

— Зачем баб пугаешь? — презрительно спросил Ефрем-ики. — Говорил ведь тебе: мужики Сатары знают, бабы — нет... Теперь только я да Ермейка знаем. — Смело и зло поглядел в глаза гостя-врага. — Ермейка далеко, а я не скажу.

— Скажешь, морда остяцкая! — Кирюшка замахнулся на него, но Арчев удержал сообщника за руку.

— Хочешь жить, красавица? — Он прицелился в Ари-нэ. — Где Еремейка?

— Не нада-а-а... Не убей! — взвыла девушка. — Еремейка ушел! Куип-лор ягун ушел...

— Мос! Суйлэх вола! * — рывкнул дед. И когда внучка резко, точно ей под коленки ударили, присела, повернулся к Арчеву. — Как Куип-лор найдешь?

— Найду! — уверенно пообещал Арчев. — Мать объяснит дорогу. — И, показав револьвером на Микульку, коротко кивнул Кирюшке: — Займитесь мальчиком, Серафимов... Кстати, а почему проводничонка не привели? Он же был в чуме.

Кирюшка растерянно заморгал, отвел взгляд.

— Забился, поди, от страха в чашобу, когда энтот вот, — кивнул на мертвого Демьяна, — заблажил.

2

Похожий на черный утюг, широкий, с низенькими бортами пароходик, на кожухах колес которого белело подновленное и исправленное «Советогор» вместо «Святогоръ», развернулся обшарпанным бортом к берегу и заскользил по прозрачной, светлой от солнца реке. Колеса, взблескивая мокрыми плицами, вращались все медленней и медленней и наконец замерли. Обвис на корме красный флаг, тяжело и лениво осел к палубе грязно-серый дым, тянувшийся за «Советогором», и тут же начал медленно подниматься, пока не встал прозрачным столбом над облезшей трубой.

— Самый малый назад! — склонившись к переговорной трубе, приказал капитан, чем-то неуловимо напоминающий свой пароход: такой же потрепанный годами и жизнью, но все еще бодренький, крепенький, кругленький. Приложился ухом к раструбу, выслушал. Снова прижался губами к трубе. — Да, да, Екимыч... Ну ты сам знаешь, как надо, чтобы не сносило. Добро! — Поставил ручку машинного телеграфа на «стоп». — Вот и Сатарово, товарищ Фролов, дорогой мой, так сказать, старпом.

Фролов, худой, сутуловатый, в кожаной тужурке, разглядывал в бинокль берег. Хмыкнул, покосился на капитана — не издевается ли? Но тот смотрел открыто, бес-

* — Хватит! Молчи! (хант.)

хитростно, чуть ли не радостно, хотя радоваться было нечему: пароход вышел почти без команды — не только старпома, никакого «пома» у капитана не имелось. Сам себе помощник, сам себе штурман, сам и боцман. Даже механиков не было. Хорошо хоть, удалось отыскать перед отплытием двух машинистов, не сбежавших во время мятежа из города: старика Екимыча и молоденького Севостьянова, который, правда, до этого рейса самостоятельно на вахте еще не стоял.

Капитан взглянул на круглые, в медном ободке часы над штурманским столом и довольно потер руки:

— Прибыли, можно сказать, по расписанию. Все, как в лучшие годы, как в старые добрые времена.

— Я не считаю старые времена добрыми, — заметил Фролов. — А лучшие годы — будущие годы. Есть возражения?

— Кто же возьмется это оспаривать? — Капитан благодушно засмеялся.

Потянул ручку. Гудок, засипев, взвыл мощно и голо-систо, но тут же рев оборвался — Фролов ожег капитана взглядом.

— Отставить! — потребовал он возмущенно. — Зачем их предупреждать?

Басовитый вскрик парохода прокатился по глади реки, по белопесчаному берегу, ударился о крутой, точно срезанный склон горы, под которой приткнулось с десятков изб и избышек без каких-либо признаков жизни, и, ослабленный, вернулся назад.

— Положено при подходе гудок давать, — сконфуженно начал оправдываться капитан. — Да и нет в фактории контры. Видите, все словно вымерло.

— Вижу, вижу, — проворчал Фролов. — А если они где-то рядом? Услышат сирену — насторожатся... Посмотрите, что это? Могила?

Бинокль перешел к капитану. Тот покрутил окуляры, настраивая на резкость. Оглядел сначала избы, задержал взгляд на добротном, с высоким крыльцом, доме, на срубленном из толстых бревен амбаре, стоящем боком к реке. И лишь после этого всмотрелся в черное пятнышко в стороне от строений. Помолчал, выпятив в задумчивости нижнюю губу.

— По-моему, да. И свежая. Раньше этого холмика не было.

— Опоздали... — Фролов с силой потер подбородок. Сжал его в ладони. — Будем высаживаться... В поселке,

чувствую, определенно кто-то есть: может, хозяева, может, засада, а может, просто-напросто остяки.

— Туземец тоже всякий бывает,— буркнул капитан. И добродушное, улыбочное лицо его стало озабоченным.— Надо бы выждать...

Но Фролов уже распахнул дверь рубки. Сбегая по трапу, приказал:

— Отделение Латышева, на берег! Остальные — ждать сигнала!

Капитан вяло пожал плечами — что ж, дескать, если не хотят меня слушать, то, как хотят, и, взглянув на штурвального, который понимающе улыбнулся, вышел на крыло мостика.

Вооруженные, разношерстно одетые и обутые — в потрепанных шинелях и пальто, в ватных пиджаках и бушлатах, в фуражках, шапках, буденовках, в порыхлых сапогах и растоптанных ботинках с обмотками — мужики и парни, которые залегли вдоль борта, притаились за палубными надстройками, зашевелились. Часть из них, пригнувшись, пробежала к корме, несуетливо расселась в спущенную на воду шлюпку.

Последним в нее прыгнул Фролов. Хватаясь за плечи бойцов, пробрался на нос, где скрючилась у пулемета девушка в алой косынке и стоял в полный рост Латышев — тоненький, гибкий парнишка в малиновых галифе, в новенькой суконной гимнастерке, перетянутой ремнями портупей.

Гребцы оттолкнулись от парохода. Взметнулись весла, опустились разом — и десант устремился к берегу.

Как только шлюпка вылетела на отмель, бойцы перемахнули через борта, помчались от реки, петляя на бегу, рассыпаясь и растягиваясь в неровную цепь. Упали, замерли, держа на изготове винтовки, поглядывая то на пулеметчицу, то на командиров.

Те, щурясь от солнца, увязая по щиколотки в песке, медленно и настороженно подходили к окраинной избушке.

— Смотрите, никак депутация! С хлебом-солью встречают,— удивленный Латышев показал револьвером на ближний дом.— Интересно, искренне это, или военная хитрость?

На крыльце появился светловолосый мальчик-крепыш, похожий на гриб-боровичок, босоногий, в белой рубашке, и сухонький старик в голубой косоворотке, пикейной жилетке и тяжелых смазных сапогах. Он нес на вытянутых

руках деревянную резную чашу, которую поддерживал через расшитое пунцовыми узорами полотенце.

Фролов, не торопясь, вложил маузер в кобуру, машинально вскинул руку к козырьку — поправить фуражку так, чтобы красная звездочка была точно над переносицей — и вразвалку двинулся навстречу деду и мальчишке. Латышев, взглянув на бойцов, широко и плавно махнул рукой — вперед, вперед! — и засеменил за Фроловым.

— Милости просим в Сатарово. — Старик, который начал уже издали умильно-сладко улыбаться, остановился в двух шагах от командиров, поклонился.

С час назад, когда прибежал с нижних песков перепуганный Ромка Айпин и закричал: «Пароход идет! Есера опять, однако! Беги, Никиша-ики!», дед Никифор и Егорушка остались в Сатарово одни. Остатки, что пришли три дня назад и толкались в поселке, выклянчивая у Никифора хоть какой-нибудь припасишко, пометавшись, собрались скорехонько и скрылись в тайге. Упрашивали, умоляли, звали с собой и Никифора, но старик, храбрясь, важничал: «Нельзя мне — я тутюшня власть! — И успокаивал остяков-приятелей. — Да и кто меня тронет, кому я, старая редька, нужен?» Однако затаившись с внуком в бывшей конторе, где квартировал уже два года, и глядя через окно на пароходишко, который лихо выскользнул из-за излучины, а потом, маневрируя, будто подкрадываясь, стал приближаться к берегу, приуныл. «Худо дело, — вздохнул он. — Опять, поди, лихие фармазоны прибыли. Пароход-то, видать, ворованный. Вишь, на «Святогоре» заявили. Разве власть на такой лохани ездит?» — «Дак флаг-то нашенский!» — возмутился Егорушка. «Эко дело флаг! Те тожа так-то вот заявили. Аль забыл? — И, повернувшись к пустому, без икон, красному углу, зашептал торопливо, осеняя себя крестным знамением: — Матерь божия, богородица пресветлая, спаси и сохрани мя вкупе с отроком Егорием. Христом-богом, сыном твоим, заступница, молю — пушай это будут большевики, Ежели сызнова есеров нашлешь, пропал я. Чем откуплюсь? Припаса нетути, товара нетути, пушники нетути. Слышь, дева пречистая, непорочная, исделай так, чтоб большевиками энти вот люди оказались. Сделаешь, а? А я тебе свечку поставлю. Толстенную, на цельных полфунта. А может, и на фунт, ежели добуду такую здоровенную. Ей-богу, на сей раз поставлю, не оману. Вот те хрест!» — «Едут, деда, едут! — восторженно закричал,

пританцовывая, Егорушка.— Насмелились!» Никифор, вытянув шею, прижмурившись, всмотрелся в шляпку, которая отвалила от парохода. Выпрямился. «Не робей, дед»,— весело засмеялся Егорушка...

— Ты что это комедию ломаешь, дед? — раздраженно спросил Фролов, увидев в чаше старика туюсок с крупной розовой икрой и горстку черных сухарей.

— Извиняйте за такую хлеб-соль,— старик испугался, виновато заморгав круглыми светлыми глазами.— Обнищали. Соль-то давно уж всю подъели. Давнишних запасов рыбой да икрой вот солонимся. А хлебушек — и-и-и — не помним, когда и едали. Вот, чуток сухариков осталось, все прочее рехвизировали у нас намеренно...

— Кто? — отрывисто спросил Фролов, принимая «хлеб-соль». — Кто реквизирует?

— Мы не в обиде,— торопливо заверил дед и отвел взгляд на девушку, которая быстрым, летящим шагом приближалась к ним.— Не, не, мы супротив ничего не имеем. Все по закону. У них и мандат с печатью губернского совета. Оказывать, написано, всяческое содействие, препятствия не чинить...

— Какой еще мандат?.. Когда они были? — в один голос спросили Фролов и Латышев.

— Пять ден тому были,— встрял в разговор Егорушка. Он, независимо заложив руки за спину и отставив босую ногу, глядел на командиров дерзко, с вызовом.— Есеры оне. Соцьялисты-революционеры, значит. За Советы без коммунистов которые. А старшой у них господин-то-гариш Арчев.

Фролов и Латышев переглянулись.

— Ух ты, серьезный какой! — засмеялась девушка; с ходу, не останавливаясь, стремительно присела перед мальчиком и несильно дернула его за соломенные патлы.— А как тебя звать, а кой тебе годик, мужичок с ноготок?

— Ежели по поэту Некрасову, то следоват: «шестой миновал!» — залезбзил Никифор, поглядывая то на командиров, то на девушку.— А Егорше два раза по шесть. Двенадцать, стал быть...

— Отпусти, не замай! — Егорушка мотнул головой, вырываясь. Отступил на шаг.— Тебя-то как звать? — любопытствовал, подчеркнуто хмурясь.

— Можешь просто Люсей,— девушка, склонив голову набок, смотрела на него веселыми синими глазами. И вдруг, резко выкинув руки, схватила Егорушку за пле-

чи, притянула к себе. — А теперь, — шепнула ему в ухо, — представь нам, пожалуйста, своего дедушку. А то нехорошо получается.

— Чего? — не понял Егорушка. Откинулся назад, вырываясь еще решительней. Взглянул настороженно, недружелюбно. Но, сообразив, потеплел взглядом. — А-а... Никифором Савельевичем его звать. Он тута самый главный. Его и покойный товарищ Лабутин завсегда заместо себя оставлял.

— Убили, выходит, Лабутина? — Фролов, удерживая вздох, насупился.

— Убили гражданина Лабутина, убили... — подтвердил Никифор. — Вона и могилка его, — показал взглядом на черный холмик. — Соцъялисты-революционеры приговорили и порешили... А вы, извиняйте за дерзость, кто будете? — спросил почти бодро, почти непринужденно, но испуг в голосе скрыть не сумел.

— Части особого назначения, — сухо и деловито пояснил Латышев, глядя в сторону могилы.

Люся, тоже смотревшая в ту сторону, медленно выпрямилась. Обняла за плечи Егорушку, прижала к себе.

— Так, так, особого... — Старик пожевал губами, зажал в кулаке бородавку. — С большими полномочьями, получается...

— Может, пройдем в помещение? — предложил Фролов. — Мы хотели бы кое-что уточнить.

— Ах ты, господи, ну конечно же. Айда в контору, а то притомил я вас, — старик суетливо развернулся к дому, из которого вышел. Увидев, что бойцы, крадучись, перебегают от избенки к избенке, заглядывают опасливо в окна, оглянулся на командиров, прижал клятвою ладони к груди: — Да нету тама никого, ей-богу. Были таежные людишки, ордынцы, так сказать, да сбегли, вас увидимши...

— Флаг республики почему не вывесили? — шагая за ним, перебил Латышев, стараясь придать своему юному лицу недовольное и грозное выражение.

— Флаг-то? — изумился Никифор и всплеснул руками. — Дак его господин-товарищ Арчев на портянки себе пустил. Был у нас флаг, само собой. Был. Как же без флага-то? — Старик, тяжело переступая со ступеньки на ступеньку, поднялся на крыльцо, распахнул дверь. — Прощу, люди добрые, можете располагаться. Правда, тут мы с внучонком живем, но не беда — потеснимся. А то и во все в каку другу избенку переберемся...

— Об этом не может быть и речи,— оборвал Фролов.— Переберемся мы.

Он, пропустив вперед Люсю, вошел в сени. Латышев же задержался на крыльце и обвел внимательным взглядом поселочек. Прислушался, глянул на ожидающих команды бойцов, которые выстроились по ранжиру в плотную шеренгу.

— Кажись, все спокойно, а? — И приказал низенькому, плечистому левофланговому в лоснящемся от машинного масла бушлате: — Матюхин, ты — часовой! Остальным — личное время. Р-р-разойдись!

Шеренга мгновенно распалась — бойцы, человек двадцать, сбились в молчаливую плотную кучку. Вытерли подошвы о половики и, негромко переговариваясь, стараясь не громыхать ботинками, сапогами, прикладами, потянулись в дом.

В горнице — она же кухня, спальня и канцелярия деда Никифора — часть чоновцев села на широкую лавку около печки, другие прислонились к простенкам.

— Вот мой мандат, Никифор Савельевич,— Фролов откинул полу кожаной тужурки, достал из кармана гимнастерки бумагу, протянул старику.

Тот развернул ее, прочитал, шевеля губами. Покрутил в руках, посмотрел даже, не написано ли чего на обороте. Кхекнул, прочищая горло.

— А партийного документа, извиняюсь, у вас нету?

— Есть и партийный.— Фролов не торопясь вынул из того же кармана маленькую книжечку.

— Российская Коммунистическая партия,— многозначительно взметнув брови, проговорил старик, отделяя каждое слово, и глубокомысленно поглядел на внука, застывшего с приоткрытым ртом рядом.— Большевик, стал быть? — Поднял на Фролова повеселевшие глаза. Увидел его серьезное лицо, мотнул головой в сторону бойцов: — Все эти — тоже большевики?

— В основном. Но есть и беспартийные, сочувствующие. Есть и комсомольцы. Как Люся, например, или мой помощник,— Фролов показал взглядом на мельком оглянувшихся девушку и Латышева.

— Ну это все едино — коммунисты, одним словом! — Старик просиял. И вдруг выкрикнул срывающимся от восторга голосом: — Ташши отчетность, Егорка! Законная власть пришла!

Мальчик пулей метнулся к русской печке с пестрой занавесочкой, закрывающей лежанку, рванул за кольцо

лаза в подпол, откинул крышку. И мигом исчез в квадратной дыре.

— Можно ваши книги посмотреть? — спросила Люся. — У вас тут такие редкие, старинные издания.

— Смотрите, сделайте милость, смотрите, коли хочется. — Старик заулыбался, приблизился почти танцующей походкой к девушке. — Книги и впрямь редкие да старинные, это вы правду сказали. Я их, почитай, из огня вытащил, когда в семнадцатом годе губернаторов особняк громили. Очень жалко мне стало эти редкости, потому как уважаю ученость, — любовно провел пальцем по потертым кожаным корешкам: — Сызмальства уважаю, с той поры, как служил мальчиком в книжной лавке госпожи Гроссе. Тогда-то и к сурьезному чтению пристрастился... — Он, склонив голову, полюбовался на свои сокровища и горестно вздохнул. — Одну вот не уберег. «Историческое обозрение Сибири» господина Словцова. Лиходей Арчев забрал. Про род евонный вогульский тама написано.

— Деда, примай! — Егорка вынырнул по грудь из подпола, шмякнул о доски прямоугольным свертком в холстинке.

— Эх ты, паршивец, неуважительно! — возмутился Никифор. Подскочил к внуку, подхватил сверток. Выкрикнул бесшабашно: — Теперь, Егорий, мечи весь провиант.

Вернулся, семена, к Фролову, положил сверток на стол, припечатал его ладонью.

— Вот! Вся наша с товарищем Лабутиным документация. Сдаю вам, товарищи советские начальники. Проверяйте, а ежели надобность возникнет, спрашивайте. — Поджал губы, вскинул воинственно бородку. — Готов ответить за все статьи дохода-расхода. Тута все до последнего золотника, до малой полушки расписано, включая и грабеж господ есеров.

Фролов подтянул к себе сверток, разматал холстинку. Коротко и требовательно взглянул на Латышева. Но тот уже спешил к столу. Одернул гимнастерку, пригладил волосы, сел, уставился в бумаги. Подошла и Люся, заложив палец меж страниц книги. Присела рядом с Фроловым, тоже к бумагам склонилась.

— Это по рыбе, это по мясу, — дед Никифор бережно, щепоткой, подхватывал за уголки листы. — Это поступление товара для обмена... А это самая главная — по пушнине.

Люся развернула к себе бумагу, с любопытством пробежала по ней взглядом. И ошеломленно подняла на старика глаза.

— Неужто бандиты все меха забрали?

— Дак, милые мои, кто ж знал...— Никифор растерялся.— Мы пушнину упаковали, ждем-пождем: пора-де и забирать... А тута Арчев и заявись. Он ведь с красным флагом, с документом прибыл. Мы с товарищем Лабутиным рты-то и раззявили.— Дед сокрушенно крикнул, почесал затылок.

— Вот что значит — утрата классового чутья! — Латышев сжал кулаки, пристукнул по столу.— Человека потеряли, тыщи рублей золотом проворонили!

— Кто ж знал, что эдак получится,— повторил старик потухшим голосом.— Не виноваты мы. Ни я, ни товарищ Лабутин.

— Никто вас не винит, Никифор Савельич,— Фролов выпрямился, тяжело вздохнул.— И ты успокойся! — Поглядел сбоку на Латышева, прижал ладонью его кулак к столу.

— Деда, прима! — вновь закричал торжествующе Егорушка.

Из подпола выметнулась связка копченой рыбы, отсвечивающей золотисто-коричневыми боками, показался покрытый мучной пылью ополовиненный мешок. Старик Никифор облегченно выпустил воздух через сложенные трубочкой губы. Подбежал к люку, выдернул мешок. Потом принял от внука какие-то кадушечки, туесы, корчаги, вяленую оленью ногу, завернутую в тряпку.

Бойцы сдержанно заулыбались, зашевелились.

— Угошшайтесь, товарищи.— Никифор, просительное поглядывая на гостей, волоком подтащил к столу пестерь с кедровыми орехами.— Лузгайте, пока мы с Егорушкой спроворим чего-нибудь горячего. Я кой-какой припас схитрился от есеров утаить.

— Нет-нет, спасибо, Никифор Савельевич,— твердо заявил Фролов. И даже привстал, ладонь перед собой выставил.— Оставьте продукты для себя! Нам ничего не нужно.

— Дык как же так? — Старик огорченно и обиженно заморгал.— Я ведь от чистого сердца. От радости.

— Нет и нет! — повторил Фролов.— Лучше помогите нам разобраться и с этим,— постучал пальцем по бумагам,— и с эсерами. Сможете?

— Как не смогу? — Старик подошел к столу, опустил-

ся уверенно на табурет.— Ведь всю эту отчетность я писал. Доверял мне товарищ Лабутин. Потому как я и при бывшем хозяине, господине Астахове, и при колчаках, и при вашей, Советской, то исть нашей власти здесь обрелся. Так что местную жизнь и всю округу, как отчет наш, знаю...— Поднял умоляющие глаза на Фролова.— Дозвольте, товарищ главный командир, своим-то хоть орешки пошшелкать. Страсть какие вкусные. Дармовые, не покупные, тайга подарила.

— Ну ладно,— Фролов впервые за встречу улыбнулся.— Орешки можно.

— Вот благодарствую! — Дед резко развернулся к чоновцам.— Лакомьтесь, мужики, порауйте старика.— Затем бодро выкрикнул:— А ну, Егорий, дуй единым махом на улицу, давай сигнал орде — свои пришли!

Егорушка заулыбался до ушей, сорвался с места.

— Дык чем интересуетесь, товарищ начальник? — деловито спросил Никифор Савельевич.

— Прежде всего меня интересует банда.— Фролов сдвинул бумаги отчетности.— О хозяйственных делах вы поговорите с временным представителем Советской власти в Сатарово, который здесь и комендант, и ревком в одном лице,— кивнул на Латышева.

Старик, услышав, что этот розовощекий мальчик с белыми бровками его начальник, приоткрыл в изумлении рот.

Люся опустила голову, прикусила губу, чтобы не рассмеяться — очень уж ошарашенным выглядел Никифор Савельевич.

— Значит, так.— Фролов деловито перебрал на колени полевую сумку, достал из нее карту, разостлал на столе.— Начнем с того, сколько их было.

— Есеров-то? — Старик опять, воровато, исподтишка, взглянул на Латышева. Зажмурился, точно отгоняя видение, и, открыв глаза, весело, ясно посмотрел на Фролова: — Докладаю: тридцать душ вместе с самим Арчевым, две больших лодки-дощаника, три лошади, три пулемета «максим». Все!

— С нашими данными совпадает...— Фролов побарабанил пальцами по карте, покивал задумчиво.— И куда же они, по-вашему, двинулись? Сюда? — провел ногтем вправо от речной развилки.— К Сургуту? Чтобы уйти на восток?

— Не, не, вверх по Оби оне не пойдут! Лошади обезножели и тащить дощаники супротив течения навряд ли

смогут. Я думаю, оне в Березово подались. Идтить намно-го легче вниз по воде. Можно под парусом, можно на гребях. И лошади отдохнут... Окромя того, похвалялись, что в тамошнем уезде их ждут единомышленники. Баяли, быдто все еще власть тама ихняя. Врут, поди?

— Врут! — уверенно заявил Латышев, не отрываясь от бумаг.

— А не могли они в притоки свернуть? — спросила Люся.

— В притоки? — удивился старик. — Нашто? Чтoб в капкан залезть? Отгель-то как выбираться? Опять же надо назад вертаться, а тутa вы и поджидаете... — Он, склонив голову, насмешливо посмотрел на девушку. — Не стратег ты, милая... Хотя, погоду, погоду. Арчев меня все про Ефрема Сатарова пытал: где, дескать, его юрта? А стойбище-то Ефрема-ики здесьa вот, — поползал пальцем по карте, уверенно ткнул в синюю извилистую жилочку реки.

— Назым, — прочитал Фролов. — Совсем рядом.

— А Ефрем-ики, это кто? — поинтересовалась девушка.

— О-о, — Никифор восторженно закатил глаза. — Это найпервейший человек у тамошних остяков. Старшой. Потому как из шибко знатного рода. Ране-то, в давние времена, прашуры его тутошним местом владели, оттого и прозывается Сатарово...

— Ну, сюда они не полезут, — решительно заявил Латышев и показал на верховья Назыма. — Даже если вздумали на север по суше пробираться. Без проводника — самоубийство. Дебри, топи.

— Проводник-то у них имеется. Хороший проводник. — Никифор неодобрительно хмыкнул, скривился. — Кирюшка Серафимов, аспид. Ране-то он у купца Астахова разъездным приказчиком служил. Поганый человечко — пройдоха, жулик, страмник, не приведи господь. Но Югру знает, как хозяйский чулан. Всю тайгу облазил, с каждого ордынца по семь шкур спустил...

— Что это вы все время «ордынцы» да «ордынцы»?! — возмутилась Люся и синие, обычно ласковые глаза ее стали темными от гнева. — Неужели вы местных жителей нисколько не уважаете?

— Виноват, привык, — старик смутился.

— Орда идет! — раздался снаружи истошный вопль Егорушки.

Чоновцы разом сгрудились у окон.

Сквозь редкий сосняк у подножья горы пробирались ханты. Мелькали за желтыми стволами деревьев синие, зеленые, коричневые летние малицы и саки, серой массой шевелилось небольшое оленье стадо. Появившись на опушке, люди, не сбавляя хода, сбились в пеструю кучку, которая вкатилась в поселок. Впереди торопливо вышагивал невысокий кривоногий старик в облезлом, клочковатом кумыше. Их остановил Матюхин, перегородив дорогу.

— Начальника давай!.. Где командира? — выкрикнул старик.

Все, кто был в избушке, высыпали на крыльцо.

Толпа загалдела, все возмущенно и гневно глядели то на Фролова, то на Латышева, то на Люсю.

— Пошто, командира, нас опять обижают?.. Пошто русики речных людей грабят? Нету такой закон. Такой закон советка власть отменила!.. Старый порядка хочешь, кожаный начальник? Што ли, как купец Астаха, стали? Отвечай, красные штаны!

— Люся, переведешь, — шепнул Фролов, и когда девушка, торопливо заправив под косынку светлую прядку, кивнула, сказал негромко и даже глуховато: — Дорогие товарищи местные жители. Никакой речи о старых порядках быть не может. Советская власть отменила их раз и навсегда. — И повысил голос: — Старые порядки хотели восстановить враги трудового народа, то есть ваши и наши враги! — Помолчал, подождав, пока Люся кончит переводить. — Они подняли было кулацко-эсеровский мятеж, чтобы уничтожить завоевания революции, но мятеж этот уже подавлен. — Сутуловатый Фролов выпрямился, расправил плечи. Люся наморщила лоб, потерла пальцами висок, споткнувшись на словах «кулацко-эсеровский мятеж» и «революция», и дала их без перевода. — Правда, отдельные банды этого сброда уползли в тайгу. Уползли, чтобы грабить, чтобы подрывать у трудящегося человека веру в Советскую власть. Но мы поймаем этих недобитков и уничтожим! Больше вас никто обижать не будет. Никто и никогда! Даю вам слово большевика... А чтобы вам жилось спокойно, пока мы не поймаем Арчева, здесь остаются десять человек во главе с товарищем Латышевым. — Положил ладонь на плечо юноши. — По всем вопросам, пожалуйста, к нему. Он представитель Советской власти в Сатарово.

Ханты, настороженно слушавшие Фролова, зашевелились.

— Когда торговать станешь, красный купец? — смело спросил, выступив на шаг, старик в кумыше. — Начальник Лабутин шибко правильно торговал. Посмотрим, как ты торговать будешь. Хорошо будешь — хорошая власть. Плохо — плохая власть. Чего привез торговать?

За его спиной все одобрительно загудели.

Латышев, молодецки взметнув руку, выкрикнул:

— Товарищи остяки! Прошу внимания... Вот вы все нажимаете на то, чего я привез и привез ли вообще? Буду, дескать, торговать — хорошая власть. Не буду — плохая. — Голос его стал насмешливым, ехидным. Молодой командир помолчал и вдруг выкрикнул зло, с еле сдерживаемой обидой: — Вы что же, состояние дел на текущий момент не знаете?! Положение в губернии, как и во всей республике, тяжелое. Очень тяжелое! Сейчас, на четвертом году торжества рабоче-крестьянской власти, когда героическая Красная Армия наголову разбила несметные полчища врагов всех мастей, мировая контрреволюция, в лице Антанты, решила задушить Рэсэфэсээр костлявой рукой голода!.. Ладно, об этом в другой раз. Привезли мы вам товар, — сообщил весело. — Немного, конечно, но... Губернские власти выделили все, что могли: соль, чай, охотничий припас, мануфактуру. — Смущено заулыбался, развел руками. — Не обессудьте, чем богаты, как говорится...

Последние слова его никто не расслышал — они потерялись в радостных вскриках.

Латышев прыгнул с крыльца и побежал к берегу под восторженные вопли Егорушки, описывавшего петли вокруг нового сатаровского начальника.

Ханты, подталкивая друг друга плечами, колыхнулись несмело за Латышевым и Егорушкой; не выдержали — тоже побежали: неуверенно, робко, стеснительно.

Чоновцы забросили винтовки за спины и свободным, широким шагом тоже двинулись к реке.

— И это полномочный от властей? — Дед Никифор сокрушенно крикнул, сплюнул досадливо. — Ему бы в бабки с ребятней играть. Чистое дите, а туда же — «мировая контрреволюция», «Антанта», «Рэсэфэсээр»! Много от такого стригунка проку для Рэсэфэсэера?.. — и боком, медленно, начал спускаться по ступеням.

— Много, — серьезно ответил Фролов. — У этого, как вы говорите, стригунка, три раны, полученные в боях за революцию.

— И полгода колчаковских застенков,— придерживая старика под локоть, тихо добавила Люся.

— Эвон как! Неужто?..

Отделившись от «Советогора», к поселку поплыла шлюпка, осев от тяжести так глубоко, что легкие волны зыби едва не перехлестывали через борт. Гребцы поворачивали изредка к берегу потные, раскрасневшиеся лица, улыбались. Улыбались и замороженные ханты. Серьезные чоновцы деловито забрели в реку, схватили шлюпку за нос, за борта, потащили к берегу, пригнувшись от натуги. Ханты бросились помогать, заметались вокруг, засуетились бестолково, путаясь у бойцов под ногами, дергая недружно шлюпку, а больше похлопывая, поглаживая, пощипывая туго набитые рогожные кули, обтянутые мешковиной тюки.

— Принимайте, товар, Никифор Савельевич! — приказал Латышев, напустив опять на мальчишеское лицо начальническую строгость. — Оформите все, как полагается, и начинайте торговать.

Он протянул несколько листков бумаги, которые только что сосредоточенно читал, вскидывая иногда глаза на прибывший груз.

— Ага, понял,— обрадовался старик. — Доверяете, стал быть, по-прежнему? — Взглянул благодарно, с новым, уважительным, выражением на молоденького начальника. — Все честь по чести сделаем, не сумлевайтесь... — И выпятив петушино грудь, закричал ухарски: — А ну-кось, орда, налетай! Тащи все богатство к анбару!

Ханты принялись сдергивать, сволакивать мешки на берег и тащить их в поселок.

Фролов, Латышев и Люся тем временем слушали старика-ханты.

— Три лошади у них,— тщательно подбирая слова, говорил тот, а Люся переводила. — Две большие лодки. Вниз по Оби поплыли. Плывут медленно. Ленивые, на веслах сидеть не хотят. Когда ветер — парус ставят; когда нет ветра — лошади тянут.

— И сколько же их всего? — спросил Латышев.

Старый ханты подумал, растопырил пальцы, поднял их к лицу, слегка дергая ладонью.

— Два раза десят,— сказал по-русски. — И пят.

— Двадцать пять? — удивился Фролов. — А должно быть тридцать. Уточни, Люся. Может, он напутал?

Девушка быстро переспросила у старика по-хантыйски. Он оскорбленно поджал губы, презрительно оглядел

девушку с головы до ног. Заговорил отрывисто, возмущенно.

— Двадцать пять,— перевела Люся.— Сам считал. Зачем, говорит, ему обманывать?.. Может, говорит, пять человек умерли? А может, говорит, отделились и ушли вверх по Оби. Но он сомневается. В самом устье Назыма Сардаковы живут. От них человека с новостями не было, значит, никто не проходил. Если б прошли, знали бы. На реке все знают...

— Все знаем,— кивнул старик.— Закон такой.

— Придется, видимо, нам самим заглянуть к Сардаковым,— Фролов, прищурясь от солнца, поглядел на пароход.— Тревожат меня эти пятеро... Ну хорошо, с этим мы разберемся. Спасибо вам.— Улыбнулся старику, пожал его торопливо вскинутую навстречу руку.— Началась мирная жизнь, отец. Везите мясо, рыбу, дичь...— И, напряженно собрав в складки лоб, повторил с усилием по-хантыйски: — Кул-воих няви тухитых!

— Мал-мал понимаешь по-нашему? — Старик засмеялся, отчего глаза совсем утонули в глубоких, резких морщинах.— Сделаем, как просишь, кожаный начальник, сделаем. Больно ладно Никишка-ики торговать стал. При Астахе-купце мало давал, при начальник Лабутин — много. Сделаем!

— Теперь всегда честно платить будут, верь мне.— Фролов осторожно вытянул пальцы из ладони старика. И сразу повернулся к Латышеву.— Будь бдителен, Андрей. Не выходят у меня из головы эти пятеро.— Пошел, ссутулясь, к шлюпке, в которой уже сидели за веслами бойцы.— И ни на миг не забывай: заготовка, заготовка и еще раз заготовка. Постарайся к нашему возвращению сделать максимум возможного. Быть революционером — значит быть хорошим хозяйственником.

— А вы хорошо говорите по-остяцки,— уже на пароходе сказала Люся Фролову.— Даже сложные аффрикаты чистые. Вы что, изучали остяцкий?

— Изучал.— Фролов усмехнулся, дернул за козырек фуражку, поглубже натягивая на лоб.— В ссылке... Правда, вместо пяти лет только год пришлось, так сказать, заниматься. Сбежал. А по правде — не знаю я остяцкого, милая Люся, так только, через пень-колоду. И в этом завидую тебе... Где это ты его так блестяще выучила? — задумавшись, спросил без интереса.

— Ну уж, блестяще,— девушка смутилась.— А выучила... Я же вам рассказывала про отца.

— Да-да, конечно,— поспешно отозвался Фролов.

Он, разумеется, помнил, что Люся рассказывала об отце еще в девятнадцатом, когда ее, совсем девочку, подобрали в освобожденном Тобольске бойцы четвертой роты и определили в лазарет сестрой милосердия. Фролов беседовал тогда с ней, оцепеневшей от горя, и из того отрывочного рассказа у него сложилось впечатление о Люсином отце, убитом пьяным казаком, как о типичном, хотя и чудаковатом русском интеллигенте. Иван Ефграфович Медведев, отец Люси, был одержим идеей изучить до тонкости остяцкие диалекты, и для этого каждые вакансии выезжал из Ревеля, где был преподавателем словесности в гимназии, то на Урал, то в Западную Сибирь. А перед самой империалистической войной перевелся в тобольскую гимназию...

И Люся задумалась: вспомнила отца — худого, долговязого, с всклокоченной бородкой, беспомощного в быту книжника и полиглота. Матери она не знала — та умерла от родов и Люсю вынянчила сестра матери тетя Эви, часто повторявшая, когда девочка выросла, что такой любви, как у Ивана и Люсиной мамы, не было, нет и больше не будет.

Тетя Эви уверяла, что отец Люси и на языках-то помешался только из любви к жене — начал с ее родного эстонского, а потом увлекся... Языки отцу давались легко, играючи. Девочка выросла в атмосфере ежедневных рассуждений о финском, ижорском, вепском, черемисском, вотяцком, венгерском, вогульском, остяцком и прочих угро-финских языках. Остяцкому отец отдавал предпочтение, полагая, что этот язык наиболее близок праугорскому, и для постижения его тайн изучал составленные священниками-миссионерами азбуки: Егорова на обдорском диалекте, Тверитина на вах-васьюганском.

— У остяков, что ни диалект, то, по существу, язык,— все еще мыслями в прошлом, повторила негромко Люся слова отца.— Без практики тяжело.

Фролов снова рассеянно кивнул. Он, не мигая, смотрел на мелкую рябь солнечных бликов, плясавших по воде, а видел беспорядочное мельтешение сухих и колючих снежинок, которые швыряла в лицо январская вьюга шестнадцатого года, когда он, Фролов, потерявший в метели оленей, вымотавшийся, обессиленный, полз снежной целиной и вдруг, всплыв из очередного забытья, увидел

прямо перед глазами серьезное строгое лицо своего спасителя — седобородого остяцкого старика с чуть раскосыми черными глазами.

3

Еремей закрепил последнюю корду в проходе изгороди из кольев, протянувшейся от берега к берегу речки Куип-лор-ягун. Поднялся с колен, вытер мокрые руки о полы малицы. Глянул в урманную чашу, где меж бородатых пихт и кедров скапливался, густел сумрак, и, подхватив небольшого снулого осетра, который давно, видать, застрял меж кольев, неторопливо пошел по пружинящим жердям мостков.

Около огромной, в два обхвата, серой от старости сосны-сухары, с которой давным-давно осыпалась кора, бросил рыбину на мешок из налимьей кожи. Посмотрел на гладкие бугры ствола, напоминающие добродушно-удивленное щекастое лицо с небольшим дуплом-ртом, перевел взгляд на родовую метку сорни най, которую вырезал, как только пришел сюда — два, один в другом, человечка: сама Сорни Най, в ней урт Сатар — предок. Нагнулся, развязал хурыг — суму из оленьей кожи. Вынул котелок. Сходил к реке за водой. Открывая дедушкину сумку-качин, взглянул привычно на знак сорни най, который был вышит плотно подогнанными бисеринками, сравнил еще раз с тем, что вырезал на сосне: остался доволен — хорошо вырезал, точно. Достал из качина кресало, кремь-камешек, клубочек трута. Сноровисто разжег костер, повесил над ним на рогульке котелок, поерзал, устраиваясь поудобней, бережно извлек из-под малицы книжку.

Тоненько и вразнобой позванивали колокольчики оленьей, которые, пофыркивая, паслись меж деревьев; монотонно бормотала о чем-то река, всплескивала изредка рыба; тяжелыми вздохами проносился иногда неясный шум по вершинам деревьев; негромко потрескивал, постреливал костер. Желтая заря тихо угасла за елями, тени сгустились, и прямо над головой, налившись прозрачной белизной, показался ломтик луны.

Подвернув под себя ноги, Еремей принялся читать по слогам, то хмурясь, то светлея лицом и время от времени выкрикивая трудные русские слова. Не в первый раз уже читал о том, как мальчишку по имени Филиппок не хотели брать в школу, но все равно было интересно.

Колокольчики вдруг перестали вызванивать, но тут же зачастили, затрезвонили встревоженно; олени метнулись в чашу — испуганный перезвон колокольчиков стал еле слышен, а вскоре и совсем угас, растворился в ночи.

Еремей рывком поднял голову и обомлел — на противоположной стороне поляны, то появляясь на залитых лунным светом прогалинах, то исчезая в тени деревьев, неторопливо брел, уткнув морду в белую низкую пену ягельника, медведь — большой, сытый, округлый, с гладкой блестящей шерстью, переливающейся по буграм лапчаток. Мальчик осторожно положил книжку рядом, медленно поднялся, бесшумно снял с обломленной ветки сухары карабин. Прижал его к груди и чуть-чуть присел, слегка подавшись вперед.

— Э, чернолицый, здравствуй,— окликнул негромко медведя. Тот вскинул морду, замер.— Здравствуй, говорю, сын Нум Торыма, отец людей нашего рода,— чуть громче, стараясь произносить слова четко и уверенно, повторил Еремей.

Медведь заворчал, колыхнулся, хотел встать на дыбы.

— Не надо, пупи, не боюсь. Дедушка сказал: если хозяин не будет слушаться, возьми у него жизнь,— мальчик передернул затвор карабина.— А я не хочу убивать тебя. Ты отец урта Сатара, наш отец. Нельзя нам убивать друг друга. Иди отсюда, пупи. Здесь мое место. Мне его дедушка Большой Ефрем-ики отдал. Знаешь моего дедушку? Вот его ремень, посмотри...— Не спуская палец с курка и зажав приклад под мышкой, провел левой рукой по поясу, потрогал медвежьи клыки.— Видишь, сколько зубов твоих братьев. Хочешь, чтоб и твои тут висели?.. Рано еще тебе умирать, пупи. Вон какой ты красивый, сильный, молодой, тебе жить надо. Иди, пупи, нечего тебе тут больше делать! Я с тобой поговорил, как дедушка велел, ты на меня, нового взрослого Сатара посмотрел, чего еще? Запомнил меня, не забудешь? Ну и уходи, не мешай, у меня еще много дел. Оленей искать надо, далеко, небось, убежали... Ступай отсюда, пупи. Я все сказал!

Медведь нехотя повернулся — лунный свет полосой скользнул по его спине — и вяло поплелся назад, в урман.

Мальчик беззвучно засмеялся, облегченно вздохнул, и резко вскинул карабин. Выстрелил, почти не целясь, в еле различимый на другом берегу свежешкуренный шест, которым измерял глубину. Шест переломился, ог-

лушающий раскат выстрела, пометавшись по полю, скатился вниз по реке. И как только затихло вдали слабое эхо, тут же с низовьев Куип-лор-ягуна донеслось из тайги еле слышимое: «Ермейка-а-а...»

Ермей, приоткрыв рот, вытянув шею, недоверчиво прислушался.

Крик повторился, но уже громче, ближе.

Вздохмаченный, растрепанный Антошка Сардаков вылетел на поляну, проскочил с разгону несколько шагов, но увидел Ермея, остановился. Со свистом хватая ртом воздух, взмахивал перед лицом рукой, опустил около костерка.

— Беда, Ермейка... Большая беда...— хрипло выговорил он.

Ермей испуганно глядел на невесть откуда взявшегося Антошку, но страх старался не показывать.

— Сперва поьем чай, потом расскажешь,— подражая взрослым, предложил глухо.— Порядка не знаешь, что ли?

— Какой чай?! — взвыл Антошка и закашлялся. Замотал головой, поднял умоляющие глаза.— Некогда чай пить... Там,— судорожно махнул рукой за плечо,— там русики твоего отца убили... Дедушку, Большого Ефрема-ики, быют...

Ермей дернулся, сшиб рогульку — котелок опрокинулся на угли. Белый толстый столб пара с шипеньем рванулся вверх, ударил в лицо мальчика. Он, выронив карабин, отшатнулся, зажал глаза ладонями.

— Какие русики? — простонал, скрипнув зубами.— За что?

— Обыкновенные... С ружьями,— зло ответил Антошка.— Отец говорит, при колочаках они с Астахом-сыном ходили, бога Сусе Криста люди были. А сейчас не знаю кто: сесеры, тэсеры какие-то...

— Рассказывай!

Антошка, глядя в костер, дрожащим голосом начал рассказывать о том, как подплыли ранним утром к их стойбищу пятеро русских: начальник Арчев, трое мужиков и Кирюшка. Держались они по-доброму, денег много дали, новые деньги — двухголовая птица на них без царской шапки; еще соли дали, топор новый дали, две свечки — не жадные русики. Отца просили, чтобы показал, где Большой Ефрем-ики живет. Очень просили, шибко, сказали, надо, в беду попали, только Ефрем-ики, сказали, выручить может. Отец не соглашался. Нельзя, гово-

рил, Ефрем-ики запретил, рассердится. А когда поели, когда русики его водкой напоили — согласился. Его, Антошку, послал, чтобы в протоках дорогу к стойбищу Сатаров показал. Четверо русики поехали, пятый, Иван, остался. Ждать, сказал, буду, когда вернетесь...

— Чего им от дедушки надо? — резко перебил Еремей.

— На имынг тахи велели отвести, — Антошка тяжело вздохнул. — На эвыт Нум Торыма. А Большой Ефрем-ики... Неживой он уже, наверно... — и, не совладав с собой, всхлипнул.

Еремей запрокинул голову, зажмурился, задержал дыхание и сказал решительно:

— Поешь! Потом некогда будет. — Снял с себя пояс отца, протянул: — Возьми. Ты теперь братом мне стал.

Антошка выдернул из деревянного чехла-сотыпа нож, присел на корточки. Отпластал от живота осетра лоскут нежной, жирной мякоти, вцепился в него зубами.

Всю ночь, не останавливаясь, отдыхая на ходу, когда переходили на размеренный шаг, бежали они к стойбищу.

К ельнику, прикрывающему Сатарват, вышли под утро.

Гибко проскальзывая меж плотно растущими деревьями, крадучись проскочили лесок. Когда впереди посветлело, предвещая открытое пространство, Еремей встревоженно задрал голову, шевельнув ноздрями, — слабо пахло гарью. Прячась за елками, мальчики медленно выпрямились. И остолбенели.

Обжитого, ухоженного, вчера еще такого уютного, стойбища не было: дымясь синеватыми струйками, выставив в небо обгорелые бревна, словно растопырив толстые черные пальцы, догорала избушка с завалившейся внутрь кровлей; рядом со слабо утоптаным кругом земли валялись изодранные, скомканные нюки, поломанные шесты — все, что осталось от чума; вытянув лапы, оскалившись, лежали неподвижно собаки около лабаза, дверца которого была распахнута, отчего темная дыра лаза казалась разинутым в беззвучном вопле ртом; под навесом, на траве, повсюду до самого берега — истерзанная летняя одежда Сатаров, ношенная обувь, раздавленная утварь.

Антошка, вжав голову в плечи, всхлипнул; Еремей, стиснувший зубы так сильно, что буграми выступили

желваки скул, обхватил его за голову, зажал ладонью рот.

— Кто из них главный? — выдохнул еле слышно и указал взглядом на двух мужиков, которые спали на отмели, опершись спинами на туго увязанную праздничную меховую одежду Сатаров.

— Нету главных. Ни Арча, ни Кирюшки, — подтянув к самым губам голову Еремея, шепнул в ухо Антошка. Привстал на цыпочки, оглядел берег. — И лодки русики нет...

А лодка в это время скользила по тихой заводи Куип-лор-ягуна, где совсем недавно останавливался Еремей. Арчев торопился...

Вчера они только к ночи добрались до Куип-лор ягуна. Плыли долго. Кирюшка вначале греб лихо, но вскоре утомился, бросил весла и принялся пригоршнями хватать через борт воду, жадно, запаленно глотать ее. «Давайте вернемся, Евгений Дмитрич, — предложил дерзко, глаз, правда, на Арчева не поднимая. — Малец сам в стойбище придет. Куда он, поганец, денется?!» Нахохлившийся Арчев не ответил, только перевел сонный взгляд с рук напарника на его мокрое лицо и еще плотней закутался в шинель, спрятал подбородок за поднятым воротником. «Ей-богу, лучше вернуться! — уже совсем нагло заявил Кирюшка и, набрав в рот воду, побулькал горлом, сплюнул пренебрежительно. — Или сами погребите хоть маенько. Я не лошадь — надрываться!» — «Что-о-о? — изумленно протянул Арчев. И помолчав, процедил сквозь зубы: — Гребите, Серафимов. Нам надо опередить мальчишку-проводника». — «Господи, да может, он вовсе и не к Еремейке сбеж, — простонал Кирюшка. — Может, в тайге схоронился, а тут пластайся из-за него, как проклятый!» — «Много рассуждать стали, Серафимов, — повысил голос Арчев. — Проморгали остячонка, потому не нойте. Гребите!» — «Эх, дурак я, дурак, — тоскливо вздохнул Кирюшка. — И зачем только признался, что знаю, где этот, пропади он пропадом, Куип-лор...» — «Гребите!» — рывкнул Арчев, и Кирюшка испуганно схватился за весла. Весь остальной путь они молчали.

Лодка ткнулась в берег. Корму занесло к отмели, и Арчев, подхватив котомку, пружинисто выпрыгнул на песок. Поднялся неторопливо по уклончику, увидел в слабом свете луны разбросанные мешки, затухший костер, осетра под корявой, засохшей сосной. Крикнул: «Идите сюда, Серафимов. Кажется, мы опоздали». Кирюшка не-

доверчиво поднял голову. Перевалялся через борт, подошел, оседая на обмякших ногах. Пощупал золу. «Недавно ушел остячонок... Недалеко, знать, отлучился: все барахло свое оставил, даже котелок не взял. Оленей, небось, искать отправился. Кто-то спугнул олешек...— Пригнувшись, побрел за сосну-сухару, забормотал: — Ага, вот тут они паслись. Потом сиганули сюда. Выходит, напугались чегой-то в той стороне...»

Арчев, насмешливо поглядывая на него, провел пальцем по глубоким бороздкам вырезанного на дереве знака сорни най, скосил глаза на осетра, в розовой полости брюха которого копошились черные полчища мух. Увидел на земле книжку. Поднял, брезгливо полистал. «Вы любите сочинения Льва Толстого, Серафимов?» — спросил громко.

Кирюшка, опустив голову, всматривался в ягельник, который, белея, словно светясь в полумраке, уходил далеко в чащу. «Кого? Графа Толстого? — Он удивленно посмотрел на Арчева. Скривился пренебрежительно.— Сложновато-с. Пишет путано-с. И безбожник, говорят. Анафеме предан... Да и умом, думаю, убогий был. На мужика, говорят, молился, деньги, капитал проклинал, царя поносил. Нет, не люблю, хучь и сиятельство!» — «А Еремейка вот любит,— Арчев зевнул, прикрывая рот ладонью.— Какой он к черту сиятельство!.. Мужик. Все дворянство опозорил. Зеркало русской революции! — Отшвырнул книгу.— Ну, что выяснили, Серафимов?» — «Надо подождать остячонка,— уверенно заявил Кирюшка.— Тут следы медвежьи. Выходит, и впрямь олени напугались, вот малец их и ищет... А проводничонка вроде не было. Следов чтой-то не видать... Ну, так что делать? Надо бы подождать. Не Еремейку, так проводничонка. Чтoб перехватить, значит, не дать ему дружка предупредить...» — «Подождем,— неохотно согласился Арчев.— Если шаманенок ушел в стойбище, его там встретят». — «Само собой, встретят,— Кирюшка обрадовался.— А нам ведь все равно отдохнуть надо. Сколь можно не спать!»

Он торопливо сгреб на выжженный круг земли хворост, заготовленный Еремеем, набросал сверху мешков. «Присаживайтесь, Евгений Дмитрич, вздремните немного!»

Пока Кирюшка пристраивал на рогульки котелок, Арчев достал из котомки кружки, копченую рыбу, вяленое мясо, пресные лепешки, оставшиеся от пиршества у Сатаров. Стрельнув взглядом на отвернувшегося Кирюшку,

выхватил серебряную статуэтку, сунул ее за пазуху. И задумался, глядя на знак сорни най, вырезанный на сосне.

«Кушать готово-с, Евгений Дмитрич»,— сладким голосом возвестил Кирюшка и, приторно улыбаясь, показал мизинцем на снедь.

Молча, сосредоточенно поели и легли спать. Арчев поворожался, пристраивая поудобней котомку под головой, поджал ноги к животу, упрятав их под шинель, и, полузакрыв глаза, устался на красное пятно костра. Сквозь дремотное марево видел он себя мальчиком с мягкими русыми локонами, в лиловой бархатной курточке с кружевным отложным воротничком: он залез с ногами в мягкое, удобное кожаное папино кресло и, старательно водя пальцем по желтой, шероховатой бумаге памятных записок прадеда, переплетенных в уже потертую юфть, читал по складам серые выцветшие строчки со смешными загогулистыми буквами: «...и бысть в бытность мою володательным князем земель Кондинских, кои в ближней Югре расположены есть, зело почитаемый предками нашими наипервейший истукан, именуемый вогуличами сурэнъ нэ, а людишками остяцкого племени зовомый сорни най...»

Проснулся Арчев от острого, враз захлестнувшего ощущения страшной опасности—такое бывало с ним, и предчувствие беды никогда не подводило,—но не шелохнулся: подождал, пока успокоится сердце, сделавшее болезненный сбой. Когда боль в груди притупилась, резко открыл глаза.

Прямо в лоб ему был направлен револьвер. В утреннем сумраке лицо Серафимова, с черным пятном бородки, с черными, лихо закрученными усиками, обрамленное черными кудрями, казалось неестественно белым, как восковая маска.

— Что это значит, болван? — еле сдерживая бешенство, спросил сквозь стиснутые зубы.

Шевельнул рукой, хотел привстать.

— Тихо, тихо, не дрыгайся.— Кирюшка прижал ко лбу Арчева дуло так сильно, что заныла кожа.— В вашем ли положении лаяться, гонор показывать? Нехорошо-с, я ведь могу и осерчать...— Изобразил губами улыбку, но глаза оставались настороженными, колючими. Потянул из-под головы Арчева котомку.— Простите великодушно за беспокойство. Мне, милъ пардон, статуэточка та серебряная спонадобилась.

Арчев приподнял голову, двинул руку к поясу. Кирюшка стрельнул по ней взглядом.

— Эте-те, какой вы отчаянный! Оружье ищите? А пугач-то ваш вот он, у меня. Аль не признали с перепугу? — Мелко засмеялся, откачнулся назад, дернув котомку к себе. — Шлепнуть бы тебя, гада, для верности, — сказал зло, — да грех на душу брать неохота... Ничего, тайга сама упокоит. — Отполз, не сводя с Арчева револьвера, вскинулся рывком на колени. — Прощевайте, князь. Я, когда Сорни Най заполучу, да в Париж доберусь, панихидку в вашу память закажу. Где желаете?

— Хорошо бы в Сан-Шапель или в Сакре-Кер, — спокойно сказал Арчев. — Да ведь я православный. Поэтому сходи, не поленись, любезнейший, в русскую церковь на улице Дарю... Вот тебе на расходы.

Медленно сунул руку под шинель, под френч. Достал статуэтку, качнул на ладони.

Кирюшка пораженно заморгал, невольно опустил револьвер, глянул растерянно на котомку. И тут же Арчев с силой метнул ему в лицо статуэтку. Кирюшка вскрикнул, выронил оружие, но не успел еще прижать взметнувшиеся ладони к рассеченной щеке, как опрокинулся от удара прыгнувшего на него Арчева.

— Мразь... лавочник... бакалейщик! — Арчев, еще в прыжке успевший схватить револьвер, уже стоял над бывшим подручным. — Сорни Най тебе захотелось? Один все заграбастать надумал, галантерейщик? Ничтожество!

Он, зверея, с яростью пинал извивающееся у ног тело.

— Пощадите, ваше благородие! — визжал Кирюшка. Обхватил сапог, ломающий ему ребра, принялся целовать его, ловя обезумевшими от ужаса глазами взгляд Арчева. — Пощадите, вместо дворняжки вам стану. Пожалейте, помилуйте!

— Зачем ты мне нужен, скотина? — Арчев брезгливо поморщился и нажал на спуск.

Кирюшка выгнулся, захрипел, завалился на бок и, дернувшись, вытянулся расслабленно.

Арчев сунул револьвер в кобуру, подобрал с травы статуэтку. Упрятал ее поглубже в котомку и не спеша спустился к реке. Бросил мешок в лодку, отвязал ее, оттолкнул, вскочил через борт.

Парамонов, жмурясь от выползшего из-за леса солнца, истомно потянулся, перевалился с левого бока на спину.

— Слышь, Степа,— окликнул, позевывая, приятеля.— А что, ежели их благородие с Кирюшкой нас омманули? Оставили, как Ваньку на тоем стойбище, воздух стеречь, а сами уже клад делят?

— Не, им без нас такую прорву золота не утащить,— сонно отозвался Степан.— Вернутся, куда им без нас?.. Сыщут шаманенка и вернутся... Ох, тошно! У тебя голова не трешшит?

— Трешшит, Степа,— вздохнул Парамонов.— Должно, подмешал чегой-то покойный колдун.

Степан, пошарив рядом, нащупал бутыль, вдавленную в песок. Поинтересовался с ехидцей:

— Стал быть, шаманскую пить не будешь?.. А я хлебу.

Сдвинул фуражку, приподнял голову. И замер.

В него целился из карабина, стоя на взгорке, крепенький, черноволосый, черноглазый парнишка в зеленой, сшитой из кительного сукна, малице. Рядом с этим незнакомым остячком застыл в воинственной позе сгинувший вчера проводничок, сжимая в левой руке аркан, а в правой — топор.

— Еще чего, пить не буду! — всполошился Парамонов.

Перекинулся на правый бок. И увидел мальчиков. Не задумываясь, выбросил руку к винтовке, которая лежала рядом.

Еремей, вильнув стволом карабина, нажал на спуск — брызнули щепки раздробленного винтовочного приклада; мгновенно передернув затвор, сразу же выстрелил во второй раз — пуля, цокнув, ударила в барабан нагана, который был в руке вскочившего на колени Степана. Тот вскрикнул, затряс пальцами, принялся дуть на них.

— Ты, милоч, опусти винтарь-то. И не серчай на нас, мы тут ни при чем,— поглядывая маслено на Еремея, Парамонов с кряхтением встал на карачки.— Не держи на нас зла, голубок. Избушку твою Арчев с Кирюшкой спалили.— Поднялся на ноги, истово перекрестился.— Вот те хрест!.. Мы воспротивились было, да куды там...

— Где Арч и Кирюшка? — свирепо спросил Еремей.

— В Сатарово утекли,— угрюмо ответил Степан.— В Сатарово!

— Сбегли оне. Бросили, значитца, нас,— добавил Парамонов и скорбно, опечаленно вздохнул: — Сели тайком в лодку и... И сродственников твоих увезли.

— Ты! — Еремей направил карабин на Парамоно-

ва.— Свяжи руки этому! — Показал стволом на Степана.— Ремнем своим свяжи!

Тот суетливо откинул полу шинели, вытянул подпояску, бесцеремонно завел за спину руки приятеля, принялся оплести их. Степан воспротивился было, но мальчик навел дуло на него, и мужик смирился.

— А теперь подними руки! — потребовал Еремей, когда Парамонов закончил работу.— Выше! Над головой! — и кивнул Антошке.

Тот стремительно присел — тынзян метнулся из левой руки в правую, свистнул в воздухе. Как только петля захлестнула запястья врага, Антошка, оскалась, откинулся назад, и аркан затянулся туго, надежно.

Еремей, сунув карабин Антошке, в два прыжка очутился около арчевцев — быстро набросил на запястья Парамонова еще несколько витков тынзяна, завязал узлом, а конец аркана пропустил меж скрещенных рук Степана. Оплел, перепутал брезентовый ремешок.

— Да как же тебе не совестно, милоч! — опомнившись, взвыл плаксиво Парамонов.— Ведь мы ж тебе в отцы годимся.

— Заткнись, христосик! — рявкнул Степан и тяжело устоялся на Еремея.— Ну, змееныш, берегись! Ежели жив останусь и ежели встремемся, сам тебя придушу. Раздавлю, как таракана! — Дернулся к мальчику, отчего привязанный сзади Парамонов качнулся, ткнулся лицом в его спину.

Еремей брезгливо отвел лицо в сторону, ощупал Степана, выгреб из карманов шинели горсть патронов. Обыскал и Парамонова. Нагнувшись, подхватил с земли его ремень с подсумками, бросил к ногам Антошки, который держал врагов под прицелом. Поднял винтовку с раздробленным прикладом, ударил им о землю, доламывая, вдавил в песок наган Степана, а его винтовку забросил за плечо. Остановился над тюками, наткнулся взглядом на сплюснутый беличий капюшон своего кумыша, зажатого между золотисто-коричневой малицей деда и черно-серебристой опушкой сака матери. Затем вцепился в веревки, перетянувшие зимнюю одежду Сатаров; пятясь, поволок тюки с меховыми нарядами к чадающей избушке и размашисто перебросил через обуглившуюся стену. Меха слабо затрещали, белый пух лебяжьего сака бабушки и песцовой малицы Аринэ шевельнулся, вздыбился, скрутился спекшимися черными жгутиками; шкуры охватились голубым летучим пламенем, задымились; запахло паленой

кожей. Еремей, крепко зажмурившись, застыл на миг: попрощался с семьей. А может, кто-то еще жив; может, правда увезли в Сатарово?.. Нет, не верится. Круто развернулся и, хрустя берестяными куженьками, обломками деревянной посуды, которые давил, не замечая, прошел к лабазу. Задержался около трупов оскалившихся собак — простился и с ними.

Ворота загона распахнул резко, широко. Олени, сбившиеся в дальнем углу серой кучей, испуганно прыдали ушами, задирали блестящие черные носы, встревоженно принюхиваясь к запаху дыма. Еремей, приблизившись вдоль изгороди к стаду, взмахнул руками: олени заматались, ринулись плотной, колыхающейся массой к выходу, проскользнули на волю и растеклись широким веером в ельник — затрещали ветки, качнулись деревца; прошумело волной уже вдали, и стихло.

Глядя прямо перед собой, Еремей вернулся к берегу. Подобрал на ходу топор, подозвал Антошку.

Вдвоем они прикладами и топором разбили в щепки один из обласов. Второй перевернули днищем вниз, столкнули в воду. Парамонов и Степан исподлобья наблюдали за ними. Мальчики, не взглянув на них, не спеша сели в лодку и отплыли.

— Ну, гаденыш, мы ишшо встренемся! — заорал Степан.

Антошка, сидевший на дне обласа, вздрогнул, съежился.

— Распрямись! — зашипел Еремей. — Пусть видят тебя смелым, пусть знают, что мы их не боимся!

Он мерно взмахивал веслом, голову держал высоко, гордо.

— Я не за себя боюсь, — Антошка расправил плечи. — Я о стойбище нашем думаю. У нас ведь тоже один из этих остался — Иван.

Еремей нахмурился, промолчал, стал грести быстрее, злей.

Степан и Парамонов, пошатываясь, укрепляясь в позе поустойчивей, проводили глазами облас, пока тот не скрылся за стеной кедрача на мыске.

— Ну, развязывай! — Степан, пригнувшись головой к коленям, задрал над спиной руки. — Никто ведь, кроме нас самих, не ослобонит.

Парамонов, дергая зубами хитросплетения тынзяна,

ослабил путы, а затем и развязал их, но вот с брезентовым ремешком ему пришлось повозиться. Тычась носом в запястья партнера, вцепившись зубами в тугие узлы, тянул их, терзал, пытался даже перекусить, пережевать.

— У-у, нуда, затянул, постарался! — Степан свирепел, сжимал пальцы в кулаки, пытался ткнуть ими в нос приятеля. — Выслуживался перед зверенышем, каин. Шкуру свою спасал!

— Не гневись, Степа. Остячонок ведь в лоб мне целил. — Парамонов наконец вздохнул облегченно: — Ну, кажись, все.

Степан, вяло пошевелив кистями, стряхнул ремешок. Посжимал затекшие пальцы, поразглядывал их с легким недоумением. Потом неспешно достал из-за голенища нож, просунул его между связанными руками Парамонова, распластал путы. Поглядывая на стенку избушки, где дотлевал черный, обуглившийся узел награбленного добра, выковырял из песка наган с квадратной дырой вместо барабана, выбитого пулей.

— От-те, язви его, волчонка. Чего натворил! — покачал обескураженно кудлатой головой. — Двух таких здоровенных мужиков остранил. Посадил, можно сказать, голым задом в крапиву... Зачем ты ему про сродственников-то наплел? Быдто увезли их.

— Дык как же, Степушка. — Парамонов хозяйственно сматывал остаток аркана. — Узнал бы, что мы порешили евонную семью, и ухлопал бы нас. — Сунул тынзян в карман шинели. Поднял изуродованную винтовку. — Как думаешь, Степа, получится хучь бы обрез? Аль выбросить?

— Выкинь! Я того щенка голыми руками возьму... — Степан, откинувшись, дотянулся до бутылки. Взболтнул ее, поглядел через остатки розоватого спирта на свет. — Будешь пить шайтановку, ай нет?

— Как не буду, как не буду! — забеспокоился Парамонов...

Они, захмелевшие, сидели у костра, разведенного из сухих, жарко полыхающих щеп обласа, и голодно поглядывали на закопченный казан хозяев стойбища, в котором, исходя аппетитным паром, доваривалась уха из приготовленных Сатарами запасов рыбы, когда за дальним песком вверху по течению показалась медленно ползущая серединой реки лодка.

— Глянь, никак их благородие возвращаются? — Парамонов испуганно вскочил, прищурился подслеповато.

— Он самый... — Степан тоже поднялся, замедленно,

пехотя.— Один, чегой-то. Выходит, прими господи душу раба твоего Кирюшки?

Мужики понимающе переглянулись и направились к берегу: Степан вразвалку, косолапая; Парамонов, опережив его, мелкими, прыгающими шажками.

— С возвращеньцем, вашбродь! — крикнул он медовым голосом.

Арчев с трудом повернул голову и, устало, вразнобой, ворочая веслами, направил лодку к берегу.

Степан вошел по пояс в воду, схватил лодку за нос, дернул на себя, и, перехватывая борта, толкнул к берегу. Арчев обессиленно уронил руки меж колен, свесил к груди голову.

— Где... остячонок?.. Живой?..— заглатывая слова, спросил с частыми всхрипами.— Вы... не покалечили... его?

— Дык чего ему исделается? Живой стервец,— отводя глаза в сторону и делая постное лицо, смущенно начал тянуть Парамонов.

— Сбег шаманенок! — решительно оборвал Степан это несмелое бормотание.

— Что-о-о? — Арчев удивленно посмотрел на него снизу вверх.— Упустили? Не справились с ребенком? Какого-то сопливца не смогли удержать? — Ощерился, вскочил, но снова рухнул на скамью, схватившись за поясницу.— Пропади оно все пропадом: и весла эти, и спина, и вы, дурачье безмозглое! — Ударил в отчаянии кулаком по борту.— Живо за весла!

— Дык, эт самое, вашбродь... Ушица тама преет,— неуверенно повел рукой в сторону костерка Парамонов.— Можя, похлебаем сперва?

Арчев уставился на него бешеными глазами, но не проронил ни слова.

— Слушаюсь! — Парамонов резво прижал руки к бедрам, вскинул бороду, вытянулся в струну. И тут же кинулся к лодке, где уже сидел Степан, проворно вскочил в нее, схватился за весло.

— И это былая гордость сотни Иисуса-воителя?.. Гроза коммунии?..— желчно, сквозь зубы процедил Арчев, развязывая мешок. Достал фляжку, отвинтил крышечку, плеснул на ладонь водки. Морщась, зажал фляжку коленями, брезгливо потер руки.— Вы не мальчишку, вы свое безбедное будущее упустили!

— Поймаем, шаманенка, вашбродь, не сумлевайтесь,— бодро пообещал осмелевший Парамонов.

— Я тому змеенышу сам башку сверну,— откидываясь назад и сильно загребая, заявил Степан.

Арчев, поднесший фляжку к губам, поперхнулся.

— Тупицы! — выкрикнул, откашлявшись. — Мальчишка нам только живой нужен... Если кто из вас хоть пальцем тронет его, пристрелю, как Серафимова.

Мужики, загребавшие умело, сильно, без плеска, отчего лодка ускоряла плавными рывками ход; сделали сбой.

— Я так понимаю: он, шайтаненок, то есть, в тое стойбище заглянет,— подчеркнуто скорбно вздохнул Парамонов. Покосился, выжидательно улыбаясь, на Арчева. — А тама Иван...

— Иван ухлопает мальчика,— закончил Степан. — Вы же, вашбродь, сами приказали не оставлять свидетелей. Откуль Ивану знать, что остячонок вам нужен. Как пить дать, изничтожит малого!

— Дьявольщина, все может сорваться! — Арчев заерзал. И уже не приказал — попросил умоляюще: — Гребите, гребите, братцы...

4

Только-только долбленая лодочка скользнула на травянистый берег, как Антошка с трехлинейкой, а следом и Еремей с карабином метнулись через борт. Привычно, на ходу, вдернули обласок подальше на сушу и, пригнувшись, бросились к стойбищу, огибая, чтобы не шуршать, заросли малины.

На взгорке, где кустарник поредел, осторожно выпрямились и облегченно переглянулись — стойбище казалось нетронутым: двери лабаза на низеньких толстых стойках, избушки тулых хот и сарая кул хот, в котором зимой хранят рыбу, были закрыты; мирно лежал на берегу не успевший еще потемнеть от времени облас Сардаковых. Только непривычно пусто и тихо — ни людей, ни собак, ни оленей.

Антошка неуверенно вышел из кустов, окликнул:

— Ачи! Котты вусын? * — и замер, прислушиваясь.

Дверь избушки тихонько приоткрылась — смутно мелькнуло в темной щели чье-то лицо — и широко, единым махом распахнулась. Через порог вышагнул толстый, с жирным бабым лицом, коротко остриженный мужик в

* — Отец! Где ты? (хант.)

гимнастерке без ремня. В правой руке он держал нож, в левой — необглоданную кость.

— Глянь-кось, живой! — удивился он. Сыто икнул, вытер толстые губы кулаком с ножом. — Ты ведь здешнего хозяина сын, ага?

— Где люди?.. Сардаковы где? — отрывисто спросил Еремей.

— Хозяева-то? Тама вон лежат, — мужик показал костью на сарайчик кул хот. — Преставились, в нижний мир, как вы говорите, ушли...

Антошка взвизгнул, вскинул винтовку и, не задумываясь, выстрелил в мордастого. Тот метнулся было к мальчишке, но бабахнул выстрел Еремея — вылетел нож из руки. Мужик ошалело присел, но тут же резко развернулся, прытко шмыгнул в избушку. И почти сразу же оттуда раздался выстрел. Мальчики упали.

— Почему ты не убил его?! — колотя кулаком о землю, крикнул Антошка. — Почему Иван остался жить?!

— Я хотел убить, — Еремей виновато глянул на его заплаканное лицо. — Не смог. Не могу стрелять в чело-века.

Дверь стала медленно приотворяться. Еремей тщательно прицелился, нажал на курок — пуля вошла в плаху створки, выворотив щепу. Дверь захлопнулась.

— Заряди большое ружье! — приказал Еремей. — Потом поплачешь... Как скажу, беги изо всех сил в кул хот.

Иван пинком распахнул дверь, вынырнул в проеме, вскидывая винтовку. Но поднести к плечу не успел. Еремей, выстрелив, опередил. Пуля ударилась в винтовку, парня толкнуло, опрокинуло. Дверь, спружинив на петлях, захлопнулась так же стремительно, как и открылась. Еремей вскочил на ноги.

— Беги! — прошипел властно.

Антошка, волоча за ремень винтовку, кинулся зигзагами через поляну, юркнул в кул хот. Еремей, держа под прицелом избушку, тоже двинулся, крадучись, к сарайчику.

— Во лупит, гад! Еще угробит сдуру!.. — Иван, упираясь ладонями в пол, сел, потер, кашлянув, ушибленную грудь. И напряжился — заметил сквозь щербину, оставшуюся от пули в двери, как старший остячонок скользнул через поляну к сарайчику.

— Ну, щас заголосят... — Иван тяжело поднялся, пнул винтовку с раздробленным цевьем, проковылял к нарам, где лежал ремень с кобурой. Вынул из нее кольт...

Еремей, пятясь, вошел в сарайчик, выдохнул с облегчением. Опустил карабин, оглянулся и обомлел.

Из-под накиданных кучей старых камышовых ковриков-яканов, тряпья, ветхих драных шкур, на которых валялись одеревеневшие уже трупы собак — Ночки и Быстрого, торчали голые ноги. Неживые ноги.

Антошка окаменело сидел на корточках в углу. Еремей выскочил из сарая. Качнулся, пронзительно закричал:

— Эй, ляль, выходи! Выходи, жирный, я убью тебя!

Иван облизнул губы, задержал дыхание, поднял кольт на уровень глаз и толкнул створку.

Выстрелили одновременно. Иван охнул, схватился за левое плечо.

— Ах ты морда налимья, зацепил-таки!

Дернулся назад и чуть не задохнулся от боли, упал на колени. Увидев краем глаза, что остячонок, пристально всматриваясь, сделал два шажка вперед, заорал:

— Иди, иди сюда, хоре! Иди, косоглазый! Иди, угощу!

— Сам подохнешь. Подожду,— Еремей медленно отступил в кул хот, исчез в полутемном проеме.

— Ладно. Ждать больше нельзя. Иди копай! — приказал Антошке. — Побейся. Нам еще Арча догнать надо.

Антошка, как во сне, поднялся, вышел. И, не пригибаясь, не ускоряя шаг, побрел под уклон к реке. Около одинокой сосны остановился, поглядел пусто на Еремея.

Тот кивнул: можно здесь, приступай! Крикнул:

— Эй ты, в тулых хот, не сдох еще?! Слышишь?!

Иван повернулся, чтобы сесть поудобней, и увидел на стене самострел с мощной, широкой дугой лука, а рядом, в кожаном чехле, толстые, темные стрелы с зазубренными наконечниками. Постанывая, поднялся с пола, утвердился на ногах. И не отрывая глаз от самострела, побрел к нему.

Антошка под сосной вяло нарезал пласты дерна, вяло откидывал их в сторону.

— Быстрей, Антошка, быстрей! — прикрикнул Еремей.

Конечно, могилу рыть необязательно. Убитых Сардаковых можно было перенести в облас, который лежал на берегу, и пустить по реке — дедушка говорил, что предки когда-то отправляли так в последний путь умерших, — но Еремей хотел, чтобы названный, а теперь и единственный

брат, самый близкий теперь человек, хоть немного отвлекся в работе от горя.

Антошка начал проворней рыхлить ножом песок, проворней выгребать его.

— Быстрей, быстрей! — безжалостно подгонял Еремей.

— Во разбазланился... — зло пробормотал Иван. — Страшает небось.

Он, ерзая на коленях около нар, падая лбом на согнутую правую руку, когда все начинало плыть перед глазами, пристраивал напротив двери самострел.

— Нищета безлошадная, — презрительно хмыкал, протягивая сквозь щели между досками ремень, которым оплетал ложе самострела. — Ни единого гвоздя в избе нет!

Покряхтывая, с трудом согнул лук, зацепил крученую из сухожилий тетиву за сучок — спусковой крючок, наложил стрелу. И спустил тетиву. Стрела, прожужжав, с такой силой вонзилась в дверь, что та даже слегка приоткрылась.

Иван снова взвел лук. Протянул к двери длинную нитку из жил, конец которой привязал к спусковому крючку; натянув, обмотал ее вокруг наконечника стрелы...

Еремей, не целясь, выстрелил в воздух. Подождал — ответного выстрела не было. Выстрелил еще раз — тишина.

Антошка, углубившийся по плечи в яму, посмотрел на Еремея, на избушку. Упершись в край ямы, выметнулся наружу. Влетел в сарайчик.

— Пойду посмотрю, а? — спросил быстрым шепотом. — Через верхнее окно. Может, умер Иван?

— Посмотри, — неохотно согласился Еремей. — Только тихо. Вдруг притворяется? Вдруг хитрость какую задумал.

Антошка схватил карабин. Еремей дернулся было, чтобы остановить его, но передумал: как запретишь мстить? Пусть стреляет. У него всего один патрон — может, не попадет, не станет убийцей.

Антошка пристроил карабин за спину и метнулся к избушке.

Еремей положил винтовку на порожек, взял на прицел дверь избушки.

В родном доме — что внутри, что снаружи — знал Антошка каждый сучок, каждую трещинку. Поэтому кинулся к дальнему углу задней стены — сотни раз взлетал

здесь белкой на крышу — и уже ухватился за неровно торчащие торцы бревен, как вдруг чья-то твердая, бугристая ладонь крепко зажала ему рот, а какая-то сила оторвала от земли. Антошка, вывернув голову назад, увидел носастого мужика с лохматой бородой — того самого, которого связывал Еремей, и закрутился, заизгибался.

Парамонов, приотставший от Арчева со Степаном — лодку привязывал, — сильнее стиснул мальчишку, а сам зашарил взглядом по зарослям. Увидел Арчева за кустарником на взгорке — тот передал Степану револьвер, рукой в сторону избушки показал, и скрылся. «Надоть выждать, — решил Парамонов. — Пусть разведуют!»

Еремей, все встревоженный поглядывая на крышу избушки, где должен был появиться Антошка, насторожился: за стеной что-то хрустнуло, прошуршало. Или показалось? Осторожно подтянул винтовку, хотел встать... И застыл, согнувшись, упершись левой рукой в землю — увидел, как к избушке подскочил тот самый здоровенный мужик, которого оставили связанным в стойбище.

Степан переложил револьвер в левую руку, размахисто перекрестился, рванул дверь. И повалился лицом вперед — стрела пробила грудь, вздыбив бугорком шинель на спине, — но, падая, успел Степан выстрелить в того, кто шевельнулся в дальнем углу.

От выстрела Парамонов, слегка вздрогнув, расслабил на миг руки. Антошка впился зубами в палец — мужик охнул, отдернул ладонь.

— Еремей, конта! — пронзительно закричал Антошка. — Коллэ, конта! — Вырвался, оставив в руках носастого карабин. — Ляль юхит! *

Истошный вопль Антошки подбросил Еремея. Он выскочил из сарайчика и тут же выронил винтовку — кто-то облапил сзади, сдал, опрокинул. Еремей рычал, извивался, размахисто бил головой назад, стараясь попасть в лицо врагу.

— Тише, тише, юноша... поспокойней, — насмешливо сипел напавший, но насмешливость сразу исчезла, когда невдалеке бухнул выстрел. — Кто это лупит?.. Твой дружок?

Стрелял Парамонов. Удержав карабин, перехватив его половчей, он, подминая кусты, кинулся за беглецом, и, когда мелькнула в просвете зарослей серая рубашка, стрельнул навскидку. Малец вильнул в сторону и, перебе-

* — Еремей, беги!.. Слышишь, беги!.. Беда пришла! (хит.)

гая от дерева к дереву, стал удаляться. Парамонов, посмеиваясь, поднял не торопясь карабин, прицелился — по науке, с опережением, на полпальца перед бегущим, — и нажал спуск. Боек сухо щелкнул, Парамонов передернул затвор — пусто, кончились патроны.

Антошка, точно споткнувшись, враз остановился, резко развернулся. Выдернул нож и сначала пошел, а потом побежал, все быстрее и быстрее, к мужику. Тот, как от каваждения, как от нечистой силы отмахиваясь карабином, попятился.

— Э, э, идол, не дури! Не дури, говорю... Ты чего это, ирод, удумал?

Запнулся, чуть не упал и вдруг, посматривая выпученными глазами за спину, припустил со всей мочи к стойбищу.

Арчев, навалившийся на Еремея, поднял голову на беспорядочный, панический топот сапог.

— Где шляешься, мерзавец? — спросил раздраженно, когда запыхавшийся Парамонов вытянулся перед ним.

— С бывшим проводничонком, вашбродь, задержавшись, — прищелкнул каблуками, выпятив грудь, доложил тот и опасно стрельнул глазами в сторону зарослей. — Дозвольте мне? — улыбнулся лъстиво, показал взглядом на руки пленника и, когда Арчев благосклонно кивнул, положил, как на строевом смотре, карабин, сделал шаг вперед.

Деловито вынул из кармана шинели обрывки тынзана.

— Вот и сгодились. Вишь, милок, утром ты меня, а вечером — хе-хе — я тебя. — Он проворно и умело стянул ремешками руки Еремея. — Так-то вот: вчерась полковник, ныне — покойник... — Развернул мальчика лицом вверх, усадил его, подпернув за плечи, к стене. — Ну что, голубь? Утречком — герой, а вечером — с дырой?..

— Хватит болтать! — приказал Арчев. Повернулся к Еремею и улыбнулся: — Шутит он, не верь. Никто тебя убивать не собирается. И вообще, ничего плохого тебе не грозит. Если, конечно, будешь послушным. Ты должен всего лишь отвести нас на главное святое место, как это... Эвыт? Имынг тахи? Покажешь Сорни Най — и свободен... Советую согласиться. В противном случае этот вот, — кивнул на Парамонова, который замер по стойке смирно, искоса посматривая на кусты, — будет бить тебя, пока не станешь похожим на ободранного зайца. Верно, Парамонов?

— Так точно, вашбродь! — гаркнул тот. — Исполню в лучшем виде.

— Слышал? Верь мне, этот человек специалист в своем деле. Так что соглашайся, иначе... — Наклонился, добавил с усмешечкой: — Только не делай вид, будто не понимаешь. Льва Толстого понимаешь, а меня, Евгения Арчева, — нет?

— Ты Арч? — взвизгнул Еремей, изучавший ненавидящими глазами этого незнакомца с ввалившимися, обросшими светлой щетиной, точно песком облепленными, щеками, и резко ударил ногой изо всех сил в грудь врага.

Тот, взмахнув руками, опрокинулся, но тут же вскочил, замашисто вскинул для удара руку, но Парамонов опередил — сшиб мальчика, рухнул на него, придавил телом.

— Ах ты, сморчок! — Арчев, не удержавшись, ткнул Еремея носком сапога в живот. Потом, рывком расстегнув, сорвал с него пояс: сухо стукнулись медвежьи клыки, тоненько звякнули медные висюльки. — Все равно покажешь, паршивец, Сорни Най! — Постучал пальцем по орнаменту на сумке-качине. — Покажешь! Займись им, Парамонов!

— Для зачина спробуем шомполами, — решил Парамонов. — Оно привычней.

Он схватил Еремея за шиворот, волоком подтащил к сосне. Поставил мальчика лицом к дереву и привязал за шею, за поясницу к стволу. Все делал уверенно, без суеты, но быстро. Еремей не сопротивлялся, не дергался, не пытался вырвать руки, даже когда Парамонов, развязав их, завел ладони по ту сторону сосны и снова стянул ремешком запястья. Прижавшись щекой к бугристой шершавой коре, смотрел Еремей, не моргнув, на выкопанную Антошкой могилу.

Арчев заглянул в сарайчик, поморщился.

— Парамонов! — окликнул скучающе. — Надо бы с этими что-то сделать, — кивнул на мертвых Сардаковых.

— Слушаюсь, вашбродь! — Парамонов подхватил карабин, приставил его к ноге. — Спытаю вот шаманенка на крепость карахтера и все сполню... Дозвольте начать? — выдернул шомпол, взмахнул им, проверяя гибкость.

— Ваяй, — вяло махнул ладонью Арчев. Без интереса понаблюдал, как подручный вытянул с оттяжкой стальным прутком по спине пленного. После первого удара Еремей вздрогнул, но не вскрикнул, не застонал. — Снял бы с мальчишки малицу, — посоветовал раздражен-

но.— Чего ты из нее, будто из ковра, пыль выколачиваешь.

— Ништо,— весело отозвался Парамонов.— Сукно не сдюжит. Измохратится.

— Ну, тебе видней. Работай.— Арчев, стараясь шагать в такт хлопкам, которыми заканчивался посвист шомпола, прошел к избушке.

Остановился на пороге, широко, циркулем, расставив ноги над трупом Степана. Уперся раскинутыми руками в косяки, подался внутрь избы. Поджал губы, увидев раскиданные по нарам куски вареного мяса, рыбу, обгрызенные кости, черные от грязи, скукожившиеся портянки; поразглядывал тело, скрючившееся в дальнем углу.

— Парамонов! — позвал снова и, когда тот подбежал, попросил брезгливо: — Наведи, пожалуйста, порядок в этом хлеву. Насвинячил Иван, а нам, возможно, придется жить здесь. Пока шаманенок не образумится.

— Наших-то, Степку с Ванькой, с остяками, аль как? — равнодушно спросил Парамонов.

— Сам решай. Тебе с ними возиться.

Сунув руки в карманы шинели, ежась от вечерней прохлады, Арчев направился к Еремею. Остановился за его спиной, склонил голову, качнулся на пятках, разглядывая широкие мокрые полосы, темневшие на зеленом сукне малицы. Еремей тяжело открыл глаза.

— Ну как, юноша, надумал? Покажешь Сорни Най?

— Где дед? Мать, Микулька, Дашка где? — зло спросил Еремей.

— Отведешь на эвыт, скажу.

Еремей глубоко вдохнул и с силой плюнул ему в лицо.

Арчев, передернувшись, скривился и наотмашь ударил мальчика по щеке. Торопливо откинул полу шинели, выдернул за уголок платок из кармана, вытер, гримасничая от отвращения, лицо, ладони.

— Или отведешь меня, или подохнешь. Понял?! — Скомкал платок, швырнул его в яму.— Вот здесь собственноручно закопаю тебя. Живьем! — Дрожащими от бешенства руками достал серебряный портсигар, вынул папиросу. Прикурил, ломая спички, жадно затянулся, наблюдая сузившимися глазами за Парамоновым.

Тот, уже обыскав Степана, сунув за ремень подобранный револьвер, рассовав по карманам добычу — кисет, нож, пачку мятых керенок и советских денег, золоченый нательный крестик покойного,— волок мертвого напарника в сарайчик.

Там, наступая на трупы Сардаковых, втащил тело на самый верх кучи.

— Прощай, Степа, царствие тебе небесное. В рай встрелемся.

Уложив рядом и Ивана, Парамонов вынул из кармана мешочек с трутом, кресалом и кремешком, принялся высекать искры. Размохначенный кончик трута задымился. Парамонов раздул его, подпалил завиток бересты, сунул в шкуры. Огонь затрещал, зарезвился.

Парамонов вышел, закрыл дверь.

— Вот и отвоевались Степан с Иваном... Все суета! — Арчев выплюнул папиросу. — Хорошие были воины, верные... А ты, я думаю, доволен? — Покосился насмешливо на подручного, выдернул у него из-за пояса свой револьвер, сунул в кобуру. — Остаток золота нам достанется.

— Дык, тое золото еще найтить надо, — вздохнул Парамонов, берясь за шомпол. — Иде оно, золото тое?

— Об этом знает только Еремейка. Спроси у него.

В сарайчике ухнуло; под крышей взметнулись длинные гибкие языки пламени, отшвырнув вечерний полумрак. Огонь плеснулся по сухим смолистым стенам — и вмиг сарай превратился в полыхающий куб...

«Советогор», часто шлепая плицами, оставляя за собой черный хвост дыма, бодро плыл серединой реки. Близилась ночь: холодно серебрился в синей выси полумесяц, перебросив от берега к берегу раздробленную волнами белую полоску, которую пароход никак не мог пересечь — та все время оставалась впереди. Сгущались на берегу тени, превращая лес в сплошную черную полосу.

— Что за притча?! Никак пожар? — капитан показал рукой вперед и влево, где за темной стеной деревьев вспыхнуло яркое пятно, выкинувшее в небо световой столб. — Клянусь честью, это в устье Назыма! — Наклонился к карте. — Вот здесь.

Фролов тоже нагнулся над картой.

— Сардакова юрта? — Поднял лицо, посмотрел на далекий огонь. И приказал: — Давайте к берегу, Виталий Викентьевич!..

Еремей вскрикнул, обмяк. Задышал часто и мелко, за-всхлипывал.

— Эт-те-те, сомлел парнишка! — крикнул сокрушен-

но Парамонов. Захватил полой шинели шомпол, вытер его.— От ить какой крепкий попался... Прямо комиссар большевицкий, а не робенок, право слово... Надоть его в себя, в чувство то исть, привести. Водой, к примеру, окатить.

— Так что ж ты стоишь! — взорвался Арчев.— Иди за водой!

— Иду,— смиренно вздохнул Парамонов,— кто ж, окромя меня?

Нагнулся, побряхтывая, потирая поясницу, поднял бестяжное ведро.

Арчев пытливо заглянул Еремею в лицо, раздвинул пальцами веки мальчика — блеснули белки закатившихся глаз. Еремей задышал еще чаще и вдруг забормотал: «Не бей, не бей, русики!.. Покажу Сорни Най, только дедушку с матерью отпусти... Аринэ с Микулькой, бабушку, Дашку не трогай... Покажу...» Арчев сначала растерялся, но сразу же и обрадовался — улыбнулся удовлетворенно. Повернул голову, высматривая в приречной полутьме Парамонова, и удивленно заморгал — подручный исчез.

— Что за мистика? — Арчев отступил на шаг, вынул револьвер.

Резко обернулся, почувствовав за спиной опасность.

Быстрыми, длинными скачками к нему мчался, вскинув нож, проводничонок: свирепый, взъерошенный, с зареванным лицом. Налетел, замахнулся, но Арчев играючи перехватил его руку, и Антошка, заорав, кувыркнулся. Не рассчитавший усилия Арчев тоже упал, подмяв под себя мальчика. Тот бился, пытался вцепиться зубами в горло врага.

Долго и терпеливо выжидал Антошка, когда самый главный убийца останется один. Погнавшись было за бородатым мужиком, он остановился, как только увидел Арчева: бородатый — трус, никуда не денется. Сначала — Арчев! Но с двумя не справиться, поэтому Антошка затаился в кустах, умоляя Нум Торыма, чтобы тот хоть ненадолго оставил Арчева одного. Глотая слезы, кусая кулак, сжимающий нож, смотрел Антошка, как привязывали Еремейку к сосне, как хлестал его бородатый шомполом, и не кинулся на мучителя — сдержал себя. С трудом, с огромным усилием, но сдержал. Когда же запыхался кул хот, Антошка лишь мельком взглянул на сарай. Подумалось горестно: вот, как оказывается, суждено уйти в нижний мир родным — через огонь, но мысль эта тут же

вытеснилась другой, вызвавшей досаду,— светло стало! Теперь трудней будет незаметно подкрасться. И больше Антошка глаз от Арчева не отрывал. Задышался от слез, изгрыз в кровь кулак, наблюдая, как истязают Ермейку, но не шелохнулся — ждал, ждал... И вот наконец-то Арчев остался один — бородатый пошел с ведром к реке. Антошка выскочил из кустов...

— Смотри-ка, какой отчаянный! А злой-то, злой... — Арчев, посмеиваясь, легонько надавил на горло Антошке. — Отдохни немного, успокойся.

Что-то сильно дернуло за воротник, отшвырнуло в сторону. Арчев крутнулся на спине, взбешенный, рванулся, чтобы вскочить. И оцепенел: на него были направлены винтовки.

— Бросьте оружие! — потребовал властный голос. — И встаньте.

Арчев медленно повернул голову к приказавшему — кожаная потертая тужурка, кожаная фуражка со звездочкой, низко надвинутая на лоб, жесткое худое лицо: Фролов! Из губчека. Начальник отдела по борьбе с терроризмом и политическим бандитизмом.

— Лихо сработано, — Арчев усмехнулся, отбросил револьвер.

Тяжело встал, тяжело поднял руки, когда крепенький парень в провонявшем мазутом бушлате, сорвав пояс Еремея и передав его Фролову, принялся ощупывать. Арчев зыркнул по сторонам, понял — не убежать: слишком много людей, даже если не считать тех, что окружили. По всему стойбищу рыскали в красноватых бликах догорающего сарая безмолвные, а оттого казавшиеся особенно зловещими чоновцы. Двое заглянули в избушку, скрылись в ней; один нес из зарослей найденный в лодке вещмешок; еще двое поднимали ошеломленного проводничонка; трое осторожно и бережно отвязывали от дерева Еремея; четверо вели от реки напуганного, съежившегося Парамонова. Поставили его перед Фроловым.

— Чья работа? — хмуро спросил тот и показал на Еремея, который, поддерживаемый бойцами, откачнулся от дерева и вяло открыл глаза.

— Дык... — Парамонов виновато вильнул взглядом в сторону Арчева. — Их вот благородие приказали, — и скорбно, подчеркнуто громко вздохнул.

— Расстрелять, — не повышая голоса, приказал Фролов.

— За что?! Я ж приказ сполнял. Рази за это можно

жизни лишать, рази то по справедливости?! — торопливо, боясь, что не дадут объяснить, убедить, закричал Парамонов, не отрывая от Фролова выпученных от ужаса глаз.

И вдруг увидел вместо этого чекиста другого советского начальника, последнего, убитого им, Парамоновым. Тоже в кожане тот, сатаровский, представитель совдепа был, смотрел так же холодно и безжалостно, даже когда он, Парамонов, стволом винтовки поднял ему голову, сунув дуло под подбородок, и заглянул в самые зрачки: очень уж хотелось хотя бы на донышке их увидеть страх и тоску предсмертную. Не увидел, не дождался...

— За участие в контрреволюционном мятеже, за изверство... — прозвучал негромко голос Фролова.

— Погодьте, родимые! — заверещал Парамонов, рухнул на колени и протянул к чоновцам трясущиеся руки. — Погодьте, сердешные! Я откуплюсь за жись свою... — торопливо выдергивая из карманов кредитки, начал швырять их под ноги бойцам. — Тута и ваши, советские, есть и настоящие, царевы еще! Берите, берите, не жалко!..

— ...именем народа, именем рабоче-крестьянской социалистической республики!..

— Господи-и-и! — Парамонов, откинувшись, задрал к небу бороду, вскинул руки. — К тебе иду, прими мя, господи, раба твоего верного...

Нестройно хрустнул залп. Парамонов скрючился, заваливаясь на бок, и тело его скользнуло в яму.

Два бойца подхватили Еремейку на руки и понесли к реке, где сразу же после залпа выплыл под всеми парами с низовья «Советогор». Антошка, заглядывая Еремею в лицо, сострадающе морщась, семенил рядом, но около шлюпок, которые уже подогнали к отмели, развернулся, кинулся к избушке.

— Что же вы со мной медлите? — насмешливо спросил Арчев, глядя вслед проводничонку, юркнувшему в темный проем двери. Перевел взгляд на чоновцев, которые прикладами забрасывали яму с телом Парамонова. Притворно зевнул. — Или меня засыпать не будете?

— Вас тоже расстреляем, — пообещал Фролов. — Только позднее, вместе с другими главарями. После показательного процесса... Где еще ваши?

— Там, — Арчев кивнул на догорающий сарай. — Не торжествуйте, борьба еще не окончена! Будет и на нашей улице праздник! — и стыдливо отвел глаза от Фролова: выкрик прозвучал визгливо.

— Я думал, вы умней,— Фролов отвернулся.— Ведите его, Матюхин.

От стыда, что выглядел в глазах чекистов смешным, Арчев стиснул зубы, мотнул досадливо головой.

— Чего башкой вертишь?! — боец ткнул дулом винтовки в спину.— Не удерешь, не мечтай.

— Дум спиро, сперо *, — огрызнулся Арчев.

— Чего? Я тебе покажу думу про Спирю! — Второй боец, Матюхин, щелкнул затвором.— Никакой Спиря тебе не поможет... А ну, руки за спину! И шагай!

Услыхав про «Спирю», Арчев вспомнил и про Спирькину карту, и про... Кто знает, может, еще не все потеряно?.. Он угловато усаживался в шлюпку, когда примчался запыхавшийся Антошка.

— Вот, вочирем, меми пупи ингх! ** — сунул растерявшимся чоновцам два берестяных туюска.— Ермайку мазать надо... — Торопливо забросил руки за спину, принялся показывать, что следует натирать спину, и даже зажмурился, изображая блаженство.— Ермайка хорошо будет!

Фролов подхватил его под мышки, вскинул над бортом, усадил рядом с Арчевым. Антошка, обомлевший от стремительного полета, смолк, вытаращил глаза, но как только оказался на скамье, отшатнулся от соседа. Рванулся, пытаясь выпрыгнуть из шлюпки.

— Прости, не подумал,— Фролов прижал мальчика к себе, погладил по голове.— Извини... А на берег тебе не стоит. Ну что ты там один делать будешь? — Наклонился к Антошке, посмотрел ему в глаза.— Поехали с нами?.. Станешь за другом — или кто он тебе, брат? — ухаживать. Мы лечить его будем, а ты помогать. Хочешь?

Антошка, соглашаясь, быстро и сильно закивал.

— Ну вот и договорились,— Фролов опять высоко поднял его, передал гребцам, те — чоновцам, которые на носу придерживали за плечи Еремея.— Кстати, как звать-то тебя?

— Антошка Сардаков,— скороговоркой отозвался мальчик, опустившись на корточки перед Еремеем и заглядывая ему в лицо.— А он — Еремей Сатар! — пояснил с гордостью.— Его дед — Большой Ефрем-ики.

— Внук Ефрема Сатарева? — Фролов удивленно посмотрел на Еремея, потом — изучающе — на Арчева.

* — Пока дышу, надеюсь (лат.).

** — Желчь, сало медведя (хант.).

Шлюпка скользнула вдоль низкого борта «Советогора», на котором слитным пятном шевелились те, кто были оставлены в резерве. Они, вцепившись в короткий трап, спустились к самой воде, склонились через фальшборт, радостно встречая прибывших. Но те на веселье не откликнулись. Молча подняли Еремея, молча протянули его вверх. И сразу угасло оживление на палубе. Еремея приняли, сомкнулись над ним плотной массой, которая тут же отхлынула от борта.

Антошка подхватил туюски, взлетел по трапу и бросился вслед за уносившими Еремея.

Те прогромыхали по железным ступеням, которые вели неглубоко вниз, в глубь парохода. Протопали по неширокому коридору, освещенному керосиновым фонарем под потолком. Девушка в красной косынке, которая шла впереди, распахнула последнюю, самую дальнюю в коридоре дверь.

Антошка, расталкивая бойцов, шмыгнул в эту дверь, притаился за изголовьем узкой кровати, на которую положили лицом вниз Еремея, и настороженно огляделся: еще одна кровать у другой стены, кожаная лежанка, русский рукомойник, рядом шкаф, второй, белый шкафчик над столом у круглого окошка, тут же — портрет самого главного советского начальника, такой же, какой показывал Сардаковым Ефрем-ики.

— Ну, чего столпились?! Видите, мальчику и так дышать нечем!

Девушка в красной косынке, раскинув руки, принялась вытеснять в коридор бойцов.

— Может, надо чего для мальчонки, а? — чоновцы, отступая под напором девушки, просительно смотрели на нее. — Ты, Люся, только скажи...

— Надо лишь одно — чтобы вы не мешали! Хотя нет, принесите ведро горячей воды!

— Воды... Кипятку для остячонка! Живо! — донеслось из коридора, и сразу же послышался беспорядочный удаляющийся топот.

— Ну, чего стоишь? — удивилась Люся, повернувшись к Антошке. — Сними с него одежду, — показала взглядом на Еремея. Быстро подошла к белому шкафчику, открыла дверцу, стала вынимать и выставлять на стол склянки с мазями, жидкостями, раскладывать бинты, корпию. — Не понял?.. Ярнасал илы вые! Паста вые! Тунгымтэ? *

* — Сними с него одежду! Побейте! Понял? (хант.)

— Тунгымтэ...— Антошка поставил на краешек стола туески, которые прижимал к груди. Объяснил: — Вот во-чирем, пупи ингк.— Опустил голову, глянул на девушку исподлобья. С трудом подбирая слова, сказал по-русски, уверенный, что так его лучше поймут.— Я боюсь снять Ермейка рубаху. Ермейка больно будет.

— Ах да... Какая же я стала!..— Люся виновато улыбнулась.— Надо дожидаться воды... Посиди пока.

Не успел Антошка присесть на лежанку, как в дверь робко постучали.

Антошка подскочил к двери, распахнул. Увидел бойца с ведром, чоновцев, а в просвете между ними — Арчева, который шел под конвоем в глубине коридора. Но на него Антошка глянул рассеянно — некогда! Схватил двумя руками дужку ведра и, приседая от тяжести, отворачивая от пара лицо, засеменил к койке Еремея.

Арчев тоже заметил мелькнувшего проводника и хотел было остановиться, чтобы послушать, что говорят о здоровье внука Ефрема Сатарова чоновцы, но один конвоир уже открыл дверь в каюту капитана, а другой не сильно подтолкнул Арчева в спину.

Фролов на миг поднял глаза от бумаг, разложенных на столе, кивком показал на стул у стены.

Арчев сел, покосился на конвоиров, вставших слева и справа, забросил ногу на ногу. Обхватил сцепленными пальцами колено и скучающе посмотрел на чекиста, потом — насмешливо — на капитана, который, выпрямившись, поджав губы, сидел рядом с Фроловым.

— Арчев Евгений Дмитриевич,— потирая лоб, начал Фролов.— Родовой дворянин, князь, тридцати двух лет от роду... Если не ошибаюсь, предок ваш был вогульским князем?

— Что из того? — Арчев оскорбленно дернул верхней губой.

— Спросил я вас о вогульских предках лишь потому, что, возможно, у вас есть в этих краях какой-то свой, личный, интерес. А?.. Ладно, продолжим. Учились вы в первом Московском императрицы Екатерины Второй кадетском корпусе, затем закончили Александровское военное училище, служили в корпусе жандармов... Кстати, как это вы — князь! — и в охранку! Зачем?

— Затем, чтобы вас, хамло, в узде держать, в наморд-

нике! — неожиданно вспыхнул Арчев. — Удовлетворены ответом?

— Что это вы взвились? — Фролов удивленно посмотрел на него. Откинулся к спинке стула, качнулся, поизучал недолго пленника. — Понимаю. Наверно, не я один, но и люди вашего круга таким выбором были удивлены? Донимали расспросами, досаждали?.. Думаю, в жандармы вы подались, чтобы на фронт не попасть.

— Как вы смеете?! — Арчев стрельнул глазами на капитана, хотел вскочить, но конвоиры удержали за плечи. — Я награжден шашкой — почетным оружием, статут которого «За храбрость»!

— Храбрость мясника, — презрительно буркнул Фролов. — Шашку вы получили за рьяное участие в карательной экспедиции Астахова-младшего. За расстрелы безоружных. — Поднял голову, поглядел жестоко, не мигая. — Вы знаете, что губернский съезд Советов объявил амнистию тем мятежникам, которые добровольно сложат оружие в течение двух этих недель. Поэтому, когда настигнем остатки вашего так называемого отряда, а это произойдет не сегодня завтра, вы в ультимативной форме напомните об этом своим головорезам. Дабы избежать напрасного кровопролития.

— Я?! — Арчев всем видом своим изобразил величайшее изумление. — Никогда! Пусть льется кровь. Ваша! Везде и всегда! Чем больше, тем лучше!

— Ясно. Бойтесь идти к своим живодерам, — Фролов насмешливо покачал головой. — Знаете, подручные не простят, что вы сбежали от них... К слову, зачем это вам понадобилось стойбище Сатаров?

Арчев, мелко подрагивающий ногой, перестал выстукивать каблуком дробь. Выгнулся назад, потягиваясь.

— Я устал и больше разговаривать с вами не желаю. Прикажите меня увести! — потребовал капризным тоном.

— Я тоже не желаю с вами разговаривать, да придется, — Фролов нагнулся, достал из-под стола серебряную статуэтку, поставил ее с легким стуком перед собой. — Скажите, откуда это у вас?

— Семейная реликвия, — Арчев искоса взглянул на фигурку. — Это своего рода талисман. Я всегда держу ее при себе. Работа изящная, вещь выполнена со вкусом... Да вам этого не понять.

— Отчего же. — Фролов взял статуэтку, покрутил так и этак, отчего серебро матово блеснуло в свете керосино-

вой лампы.— Афина Паллада, уникальная античная работа. Вероятно, из греческих колоний Причерноморья. Это-то я понять могу. А вот как понять, что вы, эстет, любитель изящного, и так истязали мальчика?

— Эстеты, любители изящного всегда наказывали строптивое быдло,— Арчев, не отрывая взгляда от серебряной фигурки, криво усмехнулся.— Вспомните хотя бы «Записки охотника» или «После бала».

— Значит, мальчик был строптив? — Фролов наклонился к статуэтке, принялся внимательно разглядывать копьё, даже пальцем легонько погладил его.— Чего же вы от него добивались? — Взглянул на Арчева. Подождал ответа — не дождался, и опять опустил глаза на статуэтку.— Объясните, что означают эти зарубки на копьё?.. Количество убитых медведей? Не знаете?.. Надо будет у Еремея спросить, уж он-то наверняка ответит. Второй вопрос... — Вытянул из нагрудного кармана батистовый лоскут с вышитой картой. Положил на стол, разгладил ладонью.

— Я солгал,— Арчев вцепился в колени, смяв брюки.— А лгать перед кем-нибудь, и особенно перед вами, считаю для себя унижительным... — Кашлянул в кулак.— Статуэтку я действительно взял в стойбище Сатаров.

Фролов покивал: так, так, мол, продолжайте. Положил на стол пояс Ефрема-ики и, поглядывая то на орнамент сумки-качина, то на карту Спирьки, спросил:

— Объясните: для чего на вашей схеме нарисован родовой знак Сатаров? Может, между этим знаком, статуэткой и пыткой мальчика есть прямая связь? А? Ведь серебряная фигурка на остяцком языке называется скорей всего «им вал най». А тамга Сатаров — «сорни най»... Что же вы хотели узнать у Еремея, а?

— Если так интересно, спросите у него.— Арчев уперся ладонями в колени, резко встал.— Вы мне надоели. Больше отвечать не намерен.

Конвоиры вцепились ему в плечи, чтобы снова усадить.

— А я и не собираюсь вас больше ни о чем спрашивать,— сказал Фролов брезгливо.— Теперь с вами будет разговаривать следователь... Уведите!

— Глаз с него не спускайте! — громко и неожиданно хрипло, от долгого молчания, судя по всему, приказал капитан. Добродушное лицо его было суровым, бледным и словно бы усохшим.— Этот злодей, как я понял, тот еще шельма. Убежит, чего доброго!

Арчев, уже у двери, обернулся, улыбнулся.

— Напрасно тревожитесь,— глядя в глаза капитана, сказал, кривя рот.— Пароход я не покину, даже если будете гнать. Доберусь с вами до города, а вот уж там-то уйду...

— В тюрьму,— желчно уточнил капитан.— А откуда...— поднял глаза к потолку, развел ладони,— к праотцам, как говорится.

— Что ж, на миру и смерть красна.— Арчев, пристально глядя на него, засмеялся.— Если дело дойдет до такого финала, я ведь не один к стенке встану. Всех, кого знаю не знаю выдам, чтоб умереть в компании.

— Топай, топай.— Конвоир подтолкнул его.

— Что это за «сорви лай» или как там? — Капитан облегченно выдохнул, расслабился, когда за пленником закрылась дверь. Достал платок, вытер круглые щеки, лоб, глубокие залысины. Засунул платок за ворот кителя, промокнул шею.— Очень уж господин атаман встревожился, когда вы об этой самой «сорви лай» упомянули.

Фролов, поставив на колени мешок Арчева, выкладывал из него на стол содержимое: исподнее белье, толстую книгу «Историческое обозрение Сибири», светло-коричневые собольи шкурки, чистые портянки, икону Георгия Победоносца, плоскую шкатулку из моржового бивня. Встряхнув мешок, высыпал на стол десятка два патронов.

— «Сорни най»? — переспросил, думая о своем.— «Сорни» значит золотой, золотая. «Най» имеет два значения: огонь и молодая красивая женщина.— Поднял крышку шкатулки, из которой встопорщились, вздыбились фотографические снимки.— В местном пантеоне Сорни Най — добрая, веселая юная богиня.— Взял двумя пальцами, словно боясь обжечься или испачкаться, верхнюю фотокарточку, принялся хмуро разглядывать ее.

— Красивая, молодая... Золотая,— задумчиво повторил капитан.— Золотая богиня... Золотая Баба? — И изумленно воззрился на Фролова.

Тот поднял голову, взглянул на капитана, прищулив в раздумье глаза.

5

Два больших, широких дощаника, тяжело осевших в воду, еле-еле ползли по течению рядом с берегом — обвисли в безветрии серые паруса,

медленно и понуро шагали по отмели лошади, тащившие на веревках эти громоздкие лодки. Иногда веревки ослабевали, провисали, но тут же снова рывком натягивались; дощаники, дернувшись, разворачивались носами к берегу, и тогда дневальные лениво, нехотя, отпихивались шестами, чтобы удержать лодки по курсу.

Белобрысый, худой и длинный, с тонкой мальчишеской, кадыкастой шеей, Сергей Ростовцев, оставшийся старшим после того, как Арчев, как только отряд покинул Сатарово, исчез ночью с четырьмя бойцами, полулежал в дощанике на куче мешков, поглядывая со смешанным чувством гадливости и страха на соотрядников. Те, еще не очухавшиеся от вчерашней попойки, валялись расхристанные, полуодетые на грудах награбленного добра, дремали, сонно поругивались, жевали, пили, поплевывали под ноги, вяло играли в карты, расплачиваясь чуть ли не аршинными квадратами мятых, неразрезанных листов керенок — пуды этой бросовой бумаги нашли в подвалах бывшего отделения страхового общества «Саламандра», когда громили обосновавшийся там Губженотдел, и прихватили, чтобы дурачить инородцев.

Ростовцев стиснул зубы, отвел глаза от лохматого, с мятым лицом мужика, который блевал, свесившись через борт. Отряд, еще недавно, при Арчеве, скором и крутом на расправу, бывший слаженной, дисциплинированной дружиной боевиков, разваливался на глазах, превращался в бандитствующий сброд. И ему, Ростовцеву, надо быть вместе с этими мерзавцами, другого пути нет. Сбежать, как Арчев? Но у того есть проводник, Серафимов, и трое преданных до гроба мужиков, бывалых, битых, тертых, которые и в огне не сгорят и в воде не потонут. Одному бежать — верная гибель в тайге или, если удастся выйти к людям, в застенках Чека.

Он удержал вздох, посмотрел на берег, где верхом на лошадях, тянувших лодки, сгорбились Урядник и Студент, задержал взгляд на Козыре, который гарцевал на вороном жеребце Арчева. «С Козырем можно бы уйти,— шевельнулась несмелая мысль.— Этот проходимец помог бы вывернуться. Рискованно, правда, открываться ему...» Вспомнилось, как рассвирепел Козырь, когда обнаружилось, что Арчев исчез, как поклялся, что пришьет любого, кто вздумает по примеру князя рвануть в камыши, потому как по закону можно выходить из дела только в фартовый час, а не когда фортуна отвернулась...

«Надо бы сменить верховых»,— подумалось лениво,

но Ростовцев отогнал эту мысль. Прикажешь — не послушаются: хмыкнут, сплунут, а то к черту или куда подалее пошлют, и вконец потеряешь авторитет. Пусть сами разбираются, сами выясняют отношения, сами грызутся. У них есть Урядник, он наведет порядок, да и Козырь лишнего не переработает.

Ростовцев закрыл глаза. Скорей бы доплыть до поворота — там течение посильней, да и ветер должен быть — можно отцепить лошадок... Что ждет в Березове, в глухой дыре, где гнили в ссылке Меншиков, Долгорукие, Остерман и даже некоторые из нынешних правителей Совдепии? Скорей всего, большевики и там установили свою диктатуру. Даже в такой глухомани не удастся скрыться, отсидеться. Полный разгром от Барабинска до Обдорска, разгром сокрушительный. А ведь как хорошо все начиналось — Тюменская губерния полностью, часть уездов Омской, Челябинской, Екатеринбургской губерний охватились восстанием: полное впечатление стихийного праведного народного гнева. И мало кто знает, как много пришлось потрудиться руководителям эсеровского «Союза трудового крестьянства», подготавливая мятеж, какую последовательную, целенаправленную, ежедневную, а точнее еженощную, работу проводили их агенты, эмиссары и уполномоченные в деревнях и селах, как умело науськивали мужиков и баб, чтобы те отбивали подводы с хлебом, направляемые в город, а потом расправлялись с коммунистами и теми, кто приезжал, чтобы разобраться в беспорядках — вот вам и спонтанный, неорганизованный бунт землепашцев! А какие безотказные лозунги были выдвинуты: «Долой продразверстку!», «Свободу торговле!», «Хватит диктатуры пролетариев, да здравствует диктатура хлеборобов!», «Крестьянская Сибирь — крестьянам!», «Вся власть — пахарям!». Били на то, что уставший от хлебных поборов крепкий сибирский мужик, всегда живший сытно и вольготно по сравнению с нищей Россией, а теперь лишенный даже маломальского запаса, как бы получал поддержку. Он и попер — «Да здравствуют Советы без коммунистов!» — крушить комитетчиков. И после победы все было продумано руководителями и предусмотрено. Правительство в лице Крестьянского Совета Федеративной уездной республики, избавившись от большевиков, но сохранив сельские Советы и волисполкомы, чтобы не оттолкнуть население, решительно заявило в своих манифестах, что о возврате земли помещикам не может быть и речи — благо помещи-

ков здесь и в глаза не видывали,— равно как не может быть речи и об отмене восьмичасового рабочего дня на фабриках и заводах. Пусть потешатся пролетарии, хотя они не землепашцы, не хозяева жизни, деревне до их забот дела нет, деревня и без них, дармоедов, проживет, а вот они без деревни — подохнут. И дохли уже. Все предусмотрело правительство крестьянской республики, все отладило, восстановив четкую, разумную общественную систему по образцу прежнего, благословенного государственного устройства: возродило привычные учреждения по охране порядка, права и законности, объявило полную свободу торговли, предпринимательства и собственности. Так почему же продержались они всего полтора месяца? Почему мужики после Десятого съезда этой распроклятой большевистской партии не захотели в боях с Красной Армией умирать за новую, свою, без коммунистов, без пролетарской диктатуры, власть?

— Кончай клопа давить, братва! — стегнул по ушам вопль Козыря. — Кругом арш! Равнение на добычу!

Ростовцев открыл глаза, увидел, что все на дощаниках и верховые на берегу, развернувшись, смотрят вверх по течению, откуда, отчаянно выталкивая из трубы частые, плотные клубки дыма, резво приближался низенький, широкий в палубе пароходошко.

— К бою! — радостно скомандовал Ростовцев. Еще бы: такая удача! Захватив пароход, можно будет прорваться сквозь любые совдеповские засады. Обернувшись на миг к берегу, заорал: — Руби веревки! — И снова к тем, что в дощаниках: — Выгребай на середину! Да побыстрей, побыстрей, каналы. Упустим ведь!

Но арчевцы уже вывернули дощаники от берега, навалились на весла, чтобы перерезать путь «Советогору».

Пароход вдруг сбросил скорость, да так резко, что, казалось, даже осел на корму: взбурлилась вода под гребным колесом, дым окутал надстройки. А когда рассеялся, открыл стоящего у борта в полный рост высокого человека в кожаной куртке — тень от этого смельчака, изгибаясь, ломалась на взбаламученной воде.

— Эй вы, сдавайтесь! — властно крикнул он в медный, поблескивающий рупор. — Тот, кто бросит оружие, попадет под амнистию. Гарантирую жизнь и свободу.

— А-а, собака! — взвизгнул Ростовцев. — Это же Фролов!

Прыжком нырнул к пулемету, упал за щиток, полоснул длинной очередью. Фролов исчез.

И сразу же с «Советогора» сухой скороговоркой отозвался пулемет красных. За ним другой — тоном повыше, голосом позлей, понервней. Заметались, то пересекаясь, то расходясь, то приближаясь, то отдаляясь, частые фонтанчики между дощаниками и берегом. С лодок ответили беспорядочной винтовочной пальбой, застрекотал еще один пулемет арчевцев, потом и третий.

— Назад, назад, мужики! Отходим! Чекисты! — прорывались сквозь треск выстрелов панические крики. — Шевелись, стервы, гребите! Не видите, что ль, — сам Фролов!

Лодки развернулись к берегу, но, словно наткнувшись на невидимую стену, круто вильнули вдоль сплошного частокола фонтанчиков, отсекающих от суши.

— Прощай, братва! — заорал Козырь. — Бог не фрайер — выручит! — Упал грудью на холку жеребца. Глянул из-под локтя на верховых. — Рвем отсюда!

Уткнулся лицом в гриву, отпустил поводья, дал шенкеля. Конь, вытянув морду, поджав уши, бросился крупным наметом в чашу.

Привыкшие тянуть лодки флегматичные рабочие лошадки, знающие лишь размеренный спокойный шаг, тоже проявили неожиданную прыть. Подгоняемые ездовыми, которые, испуганно оглядываясь, чмокали, колотили пятками, коняги, вспомнив, видимо, молодость, устремились неумелым коровьим галопом вслед за жеребцом...

Козырь поджидал отставших в низкорослом сосняке.

— Ну, сявки-сявочки, вывернулись! — Он сдавленно засмеялся, когда подъехали ездовые. Почесал острый, выступающий далеко вперед подбородок. — Из какой мясорубки вырвались, самого Фролова провели, а!.. Ты чего закис, Студент? — ткнул в плечо всадника в пенсне и потасканной тужурке с золочеными пуговицами. — Хватай воздух, дыши глубже. Живы ведь, короли-валеты! Живы, Студент, чуешь?

Тот посмотрел на него через покривившееся пенсне.

— Нехорошо как-то получилось... Своих в беде бросили.

— Вот так ляпнул! — поразился Козырь и даже покачнулся в седле. — Ты что? Смерти захотел? Могу помочь, — потянул из-за спины винтовку. — Выручим его, Урядник? — Весело посмотрел на краснолицего, кряжистого мужика с густой, аккуратно подстриженной рыжей бородой. — Выделим девять грамм из общей пайки для этого недоумка?

Урядник насупился, нахмурил брови.

— Наши-ваши, глупость одна. О себе думать надо. Что делать-то теперь станем, господа хорошие?

— Как что делать? — удивился Студент. С недоумением уставился сквозь блеснувшие стеклышки пенсне на Урядника. — Поедем в Березово!

— Вот и видно, что ты — дура зеленая, — снисходительно решил Козырь. — Сразу ясно, тебе еще ни разу на хвост не сажались. Стой, зараза! — Дернул повод, успокаивая затанцевавшего, заперебивавшего ногами коня. Предложил уверенно: — Надо валить туда, откуда пришла эта лайба с чекушниками. В Сатарово надо — самый козырный ход! Там нас никто не ждет. Кроме того, что ты жрать собираешься? А в Сатарове комиссары харчей небось для узкоглазых оставили — прорву!

— Что ж, есть резон. — Студент серьезно и глубоко-мысленно кивнул. — Это убеждает, это логично. Как повашему, Урядник?

— Одобряю, — важно заявил тот. — Я думаю, пароход далее, в Березово, направится. А нам, полагаю, с краснюками не по пути.

Козырь хмыкнул и вдруг вытянулся на стременах, поднял указательный палец, призывая к тишине.

— Слышь, перестали хлестаться! Все, спеклись братишки, хана им пришла... Сейчас чекисты в кустах шмон проведут и за нами в розыск!

Пригнулся, пустил коня галопом. Урядник и Студент, тоже пригнувшись, оглядываясь встревоженно, поскакали вслед за ним.

Держа под прицелом бандитов, чоновцы приближались на шлюпках к дощаникам. Выловили Ростовцева, которого свои же выбросили в воду за то, что он продолжал отстреливаться, когда все уже побросали оружие и задрали руки вверх; помогли забраться в шлюпку еще несколькими арчевцам — тем, что за борт попрыгали от страха.

Ростовцев первым взобрался по трапу на палубу «Советогора».

Мельком взглянул на чекистов, на девушку в алой косынке, на черноволосого, большеголового остячка в серой рубаше, перехваченной ремнем с ножом, на крепыша в кителе и фуражке речника — судя по всему, капитана, и задержал взгляд на Фролове, легендарном и страшном. Но тот на него, Ростовцева, и не глядел. Прищурившись от солнечных бликов, игравших на воде, на-

блюдал за бойцами, которые перегружали из дощаника в шлюпку винтовки, зеленые патронные ящики.

— Я так полагаю, что вы — Ростовцев Сергей Львович, — не повернув головы, сказал Фролов. — Бывший инспектор губземотдела, а во время мятежа заместитель Арчева. Верно?

— Абсолютно справедливо. — Ростовцев, храбрясь, прищелкнул каблуками, попытался развязно улыбнуться. — Заместитель по политико-идеологической работе. Так сказать, комиссар по вашей терминологии.

— Чего это вы ёрничаете? — Фролов покосился на него. — Не охладился еще в воде пыл? Или от страха?

— Вы не смеете подозревать меня в трусости! — фальцетом выкрикнул Ростовцев. — Никто не давал вам права...

— Да бросьте вы, — Фролов махнул рукой. Оглядел других пленных, которые сбились в кучку около трапа. — Этого, — мотнул подбородком в сторону Ростовцева, — в «каюту стюартов», остальных в общую.

Пленные, топоча по палубе, потянулись под конвоем на корму, где в пустующем кубрике машинной команды и кочегаров были еще в городе сколочены многоместные двухъярусные нары. А Ростовцева конвоиры повели к двери под мостиком.

— Да, Матюхин! — окликнул Фролов. — Найдите им что-нибудь сухое. Пусть переоденутся.

Ростовцева втокнули в каюту, с силой захлопнули дверь.

Арчев, стоявший у окна с решеткой, обернулся.

— Евгений Дмитриевич! — обрадовался Ростовцев, с изумлением глядя на обросшего светлой короткой бородкой командира. Дернулся было к нему, но тут же остановился, точно споткнулся. Вскинул надменно голову. — Простите. Мы незнакомы. С предателями не хочу иметь ничего общего.

— Дать бы вам по физиономии, чтобы выбирали выражения. — Арчев, прислушиваясь к топоту в коридоре, который доносился глухо, как из-под воды, потянулся, зевнул. — Погубит вас язык, Серж. Язык, апломб и глупость. — Подошел к койке у стены, поднял с нее шинель. — Снимите с себя мокрое тряпье, подпоручик. И наденьте хотя бы вот это... А то простудитесь.

— Пошли вы к черту с вашей заботой! — Ростовцев оттолкнул его руку. — Ненавижу вас! Вы изменили отряду, изменили нашим идеям, нашему святому делу ос-

вобождения России! — Направился было ко второй койке, у противоположной стены, но Арчев решительно преградил путь.

— Немедленно переодеваться! — рявкнул по-командирски. — Не хватало, чтобы вы из этой конуры еще и свинарник сделали... Смотрите, какие лужи!

Ростовцев, невольно вытянувшийся от окрика, глянул под ноги, отступил на шаг. Нехотя принялся раздеваться.

— Подчиняюсь, поскольку вы старший по возрасту и... — ехидно улыбнулся, — и по стажу заточения. Подчиняюсь, хотя и перестал вас уважать. Так и знайте. Ваше вероломство...

— Простите, Серж, — сказал Арчев насмешливо, — но вы или близорукий фанатик, или дремучий дурак. Не перебивайте! — Вскинул требовательно ладонь, когда задохнувшийся от оскорбления подпоручик резко поднял голову. — На что вы надеялись?! Забыли разве о Корнилове, Деникине, Юдениче, Колчаке, Врангеле?

— Это все не то! Они пытались реставрировать отжившее, непопулярное прошлое, а мы... Мы предлагаем качественно иное: крестьянскую республику!

— Слова, слова, слова... Я сам не раз повторял и готов повторить эти слова перед мужиками. Но сейчас-то мы одни, Серж. Какое качественно иное? Старый товар в новой обертке, как говаривал покойный Серафимов. Нет, шер ами, качественно новое предложили именно большевики. Поэтому взяли они власть, к сожалению, прочно и надолго. Боюсь, что навсегда.

— Их успехи временны! — Ростовцев, запахнувшись в шинель, суетливо заметался, оставляя босыми ступнями мокрые следы. — С нашими лозунгами мы непременно победим, а уж тогда...

— Глупец! Юнкеришка желторотый! — взорвался вдруг Арчев, следя бешеными глазами за бывшим своим заместителем. — А под какими лозунгами вы устраивали кровавые бани в Ярославле и Рыбинске, на Украине и в Белоруссии, в Семиречье и на Кубани? Под какими лозунгами атаманствовали в Гуляй-Поле и под Саратовом, в Тамбовщине и Кронштадте? И что же?.. Чем все это кончилось? Где ваши Петриченко, Сапожков, Махно, Антонов?

— Махно и Антонов еще не разбиты! Их поражение случайное, временное. Они опять соберутся с силами и продолжат борьбу.

— Вы тоже надеетесь собраться с силами? — яз-

вительно поинтересовался Арчев.— Ваше поражение тоже временное?

— Разумеется,— Ростовцев выпрямился, горделиво отставил тонкую белую ногу.— За нами основная российская сила — хлебобороб, землепашец!

— Бросьте обольщаться, подпоручик. Теперь-то уж мужик за нами не пойдет, то бишь за вами... Не уподобляйтесь глухарю на току. Откройте глаза и внимательно прочитайте решения Десятого съезда этой самой Эркапе. А еще лучше — последние постановления Совнаркома и Вэсээнха... Да не стойте же вы, как памятник самому себе, не будьте смешным!

Ростовцев смутился, торопливо подтянул ногу, глубоко засунул руки в карманы шинели.

— Это вы не будьте смешным,— буркнул обиженно.— Сами прочтите внимательно и решения и постановления. Неужели вы не видите, что коммунисты отступают? Новая экономическая политика, введение натурального налога, разрешение продавать излишки хлеба. Все говорит о том, что...

— Все говорит о том, что нам — то есть вам! — нечем больше пугать крестьянина, нечего ему обещать... Сядьте! — Арчев показал на вторую койку.— Почему я должен смотреть на вас снизу вверх?..— И когда Ростовцев, хмыкнув, опустил на тюфяк, продолжил брюзгливым тоном: — Большевики отобрали у нас, миль пардон, у вас, даже самого распоследнего, темного и лопоухого лапотника. Вы кричали: «Долой продразверстку!», а ее уже нет, отменили. Вы кричали: «Свобода торговли!» — пожалуйста, торгуйте. Что теперь кричать будете? Чем помяните мужика?

— Почему вы все время выделяете «вам», «у вас»? — спросил Ростовцев.

— Потому, подпоручик, что я выбываю из игры. Надоед мне этот балаган до изжоги.— Арчев сцепил пальцы, хрустнул ими. Забросил ладони на затылок.— Скоро, милый Серж, я буду далеко отсюда. Уйду туда, где нет ни чекистов, ни Совдепов. Доберусь на этой лоханке до города, а там...— присвистнул, взмахнув рукой, и даже зажмурился, заулыбался счастливо.

— Неужто вы верите, что это реально? — с надеждой спросил Ростовцев и, когда Арчев не ответил, а лишь усмехнулся, поинтересовался: — И куда же вы? На восток? К Семенову? К Унгерну?

— Я пока из ума не выжил.— Арчев презрительно

фыркнул.— Если Семенова и барона еще не шлепнули, то скоро шлепнут. Как и вас, кстати.

— Как меня? — Ростовцев судорожно проглотил слюну, отчего острый кадык на тонкой шее дернулся.— А вас, что же...

— Я, мон анфан тэррибль, собираюсь жить долго. Долго, вкусно и красиво... Уеду в Париж, сниму скромную, из трех-четырёх комнат, квартирку. Где-нибудь на рю де ля Пэ. Буду по вечерам гулять в Монсури, потягивать сабли в Мулен Руж или в Фоли Бержер, обнимая субреточку-гризеточку. И буду посмеиваться над вашими дурацкими идеями, над этой нелепой, дикой и грязной страной, где я имел несчастье родиться...

— Хотите пополнить ряды клошаров и умереть с голоду под мостом Александра Третьего? В Париже полно нищих и без вас.

— Вот именно — без меня! Без меня, шер ами,— Арчев хрипло засмеялся.— Каждому парижскому нищему я буду подавать в светлое воскресенье по сантиму.— Нагнулся к собеседнику, выдохнул, сменяя в торопливом шепоте слова: — Потому что у меня будет Сорни Най!

— Что, что у вас будет? — не понял Ростовцев, пораженный горячечным бормотанием бывшего командира, его остановившимися, остекленевшими глазами.

Арчев вздрогнул. Улыбка исчезла, будто ее сдернули с лица.

— Ничего, кроме денег,— сказал глухо.

И встревоженно поглядел на вход — скрежетнул замок, дверь открылась. Мрачный Матюхин швырнул к ногам Ростовцева солдатские шаровары и гимнастерку.

— Переодеваться! — приказал раздраженно.— А это,— шевельнул носком ботинка мокрую одежду,— на палубу. Сушить... Вы,— указал пальцем на Арчева,— приготовьтесь к прогулке.

Ростовцев суетливо переоделся, смущенно поглядывая на Матюхина, который, прислонившись к косяку, смотрел куда-то поверх голов пленных.

— Я готов,— Ростовцев подхватил в охапку мокрые белье.

Матюхин выпрямился, пропустил вперед Ростовцева и Арчева, прикрыл за ними дверь.

В коридоре пленных чуть не сбил с ног остячонок, вприпрыжку бежавший навстречу. Увидев Арчева, он отскочил к стене, схватился за нож у пояса. Оглянулся растерянно на Фролова, шагавшего следом.

— А этого куда? — Фролов кивнул на Арчева.

— Вместо прогулки. Заодно уж чтоб... — объяснил Матюхин.

— Отныне на прогулку только вместе со всеми, — жестко потребовал Фролов. — Пусть бандиты видят своего главаря, пусть поразмышляют. И запомните: впредь — все только по распорядку. Распорядок — закон!

— Так я хотел... — начал Матюхин, но Арчев перебил его:

— Э-э... гражданин Фролов, скажите, пожалуйста, как здоровье Еремея? Сами понимаете, если ребенок умрет, это усугубит мою вину. А так... хотелось бы рассчитывать на снисхождение.

— На снисхождение? — поразился Фролов. — Вы чудовище, Арчев. И наглец! — Побуравил его взглядом, сказал сквозь зубы: — Впрочем, не вижу причин скрывать. Еремей поправляется...

Еремей пришел в себя как только начался бой — стрекот пулеметов, беспорядочные хлопки выстрелов, которые, зародившись где-то далеко-далеко, вдруг в единый миг приблизились, превратившись в громкий, резкий гул, вызвавший необъяснимую тревогу. От этой-то тревоги Еремей и очнулся. Вскинул голову, застонал, когда по спине жаром полыхнула боль, и чуть опять не потерял сознание. Взглянул на себя — и обомлел: весь, до пояса, был туго укутан широкими белыми полосами материи, сквозь которую проступали кое-где темные пятна. Роняя обессиленно голову на подушку, успел Еремей охватить взглядом странное, незнакомое помещение с зеленоватыми стенами, русской лежанкой, русским умывальником, с оконцем. Увидел портрет Ленина-ики, такой же, как в родной избушке, и облегченно вздохнул.

Покряхтывая, опустил с постели ноги и, шатнувшись, встал. Пол слегка покачивался, дрожал. Еремей, раскинув руки, побрел к выходу. Вцепился в дверную ручку, рванул — заперто. Но уже не смог устоять на ногах...

Когда Люся, перебинтовав раненых, и своих, и пленных, открыла дверь в каюту Еремея, то чуть не споткнулась о скрючившегося на полу мальчика. Отпрянула, охнула, зажав рот ладонью.

Антошка, который крутился рядом, скользнул из-под локтя девушки, упал на колени перед названным братом.

— Ермайка, лилынг вусын? — захныкал слезливо, не решаясь прикоснуться к нему. — Ермайка-а-а...

— Живой, живой. Дышит. — Люся присела рядом, бережно просунула руки под мышки Еремея, приподняла его. Приказала: — Бери за ноги!

Они отнесли Еремея к кровати, уложили на живот. Сквозь бинты на спине мальчика проступили яркие алые разводы. Люся протянула руку, и Антошка, уже выдержавший из чехла нож, всунул рукоять в ладонь девушки. А сам метнулся к шкафчику над столом. Открыл дверцу, быстренько выставил банки и склянки, схватил один из туюсков. Вернулся к Люсе.

Та осторожно отдираала бинты, комковатую, в лепехах коросты корпию. Показала на пятна и полосы, мокро розовевшие на коже Еремея. Антошка щедро зацепил из туюска жир, смазал им раны друга.

Еремей глубоко, со всхлипом вздохнул и открыл глаза.

— Нунг варыхлын?! * — восторженно закричал Антошка. Принялся тормозить, дергать Люсю за рукав. — Ермайка вырыхлын, видишь?

Еремей сонно посмотрел на него, перевел взгляд на девушку.

— Ты кто? — спросил с усилием.

— Я твой друг. Люся Медведева, — она заулыбалась, радостно взглянула на Антошку. — Ну, теперь выздоравливает... — Медленно стянула с головы косынку, тряхнула головой, оправляя волосы.

— Мед-ве-де-ва, — тихо повторил Еремей. — Медведь — это пупи? — И, когда Люся подтверждающе кивнула, повеселел. — Я из рода пупи, ты из рода пупи... Ты сестра мне. И Антошке. Антошка брат мой... Сестра?

— Выходит так, — девушка рассмеялась. Повернула голову к Антошке. — Ницы командир нок кынцылын? ** Он просил сказать, когда Еремей очнется.

Мальчик стремглав кинулся к двери.

Еремей насмешливо поглядел ему вслед и посерьезнел. Уткнулся подбородком в подушку, обхватил ее, прищурился, пристально вглядываясь в портрет на стене.

— Это Ленин, — пояснила Люся, проследив за его взглядом.

— Знаю, — отрывисто сказал Еремей. — Дед много го-

* — Ты проснулся (очнулся)? (хант.).

** — Может, поищешь командира? (хант.).

ворил про Ленина-ики. Он всегда за бедных.— Помолчал.— Даже в тюрьме за это был. Правда?

— Правда,— кивнула Люся. Присела на краешек кровати.— И в тюрьме был, и в ссылке... А когда царя свергли и новая жизнь началась, враги народа хотели убить Ленина. Стреляли в него.

— В Ленина стреляли? — Еремей рывком повернулся к ней.— Кто?

— Эсеры... — зло ответила Люся.— Такие же, как Арчев.

Еремей тяжело засопел, прижался щекой к подушке и закрыл глаза.

— Кожаный начальник — хороший русики. Умный,— сказал твердо.— Арча убил.

— Арчева не расстреляли,— тихо возразила Люся.— Он под арестом.

Еремей широко раскрыл глаза, посмотрел недоверчиво, с подозрением.

— Зачем жить оставили? — спросил, еле сдерживаясь. Не совладал с собой, сорвался на крик: — Арч злой. Арч ляль! Убивать любит...

Дверь широко распахнулась. Ворвался сияющий Антошка, кинулся к Еремею, но, наткнувшись на его взгляд, растерянно замер. Оглянулся на сосредоточенного Фролова, который с ремнем и сумкой Ефрема-ики в руках шел следом.

— Зачем Арча пожалел, кожаный начальник? — крикнул Еремей. Хотел подняться, но Люся властно прижала его за плечи.— Арчев всех Сардаковых убил, всех Сатаров убил. Зачем жалел его?

— Ну здравствуй, сынок. На поправку пошел? — Фролов не спеша взял из-под стола табурет, поставил в изголовье постели.— Молодцом...— Сел, подпернул кожаную тужурку, положил ремень Ефрема-ики на колени.— Как спина?

— Зачем Арча живым оставил? — упрямо повторил Еремей.— Нельзя Арчу жить. Много смерти принесет.

— Больше не принесет. Успокойся...— Фролов осторожно положил руку ему на плечо, улыбнулся.— Теперь Арчев никому зла не причинит. Да и за прошлое ответит сполна... Судить его будем. По закону. Открыто. Перед всеми людьми. Перед всеми, кого...

— Его здесь судить надо! — возмущенно перебил Еремей.— Он здесь убивал. В тайге! В тайге, по закону тайги судить надо.

— Этот зверь везде убивал. Поэтому судить будем в городе. На людях, при свидетелях его злодейств.

— А вы, мальчики, должны рассказать о нем на суде,— серьезно сказала Люся.— Все рассказать: как его люди вели себя, что говорили. Что сделали с вашими родными...

— Ладно! — оборвал ее Еремей.— Судите Арча в городе. Пока суд ждать будем, где нам жить надо? В тюрьме?

— Почему в тюрьме? — поразился Фролов.— Вы же свидетели...

— Дедушка при царе был в тюрьме.— Еремей вздохнул, посмотрел на Фролова, который пристально изучал его лицо.— Дедушка тоже этим... свидетелем был.

— Да как ты можешь такое говорить?! — возмутилась Люся.— Когда это было? При царизме!

— Жить можете у меня,— предложил Фролов, не отрывая задумчивого взгляда от Еремея.— Правда, я дома редко бываю,— смущенно и виновато улыбнулся.— Придется вам самим хозяйничать, но, думаю, справитесь.

— Нет! — возразила Люся.— Мальчики будут жить со мной. Вернее, с нашими ребятами. Там много-много детей: и русских, и вогулов, и остяков. Хотите?

Антошка вопросительно поглядел на Еремея.

— Мы с Люсей жить будем,— сказал тот твердо.— Люся — сестра. Она из нашего рода, рода медведя. Братьям и сестрам надо вместе, так говорил дедушка...

— Дедушка... — задумчиво повторил Фролов.— Послушай, сынок.— Откашлялся, отвел взгляд от Еремея.— Ты сказал, твой дедушка сидел в тюрьме. Когда это было, а?

— Весной, когда царь Микуль перестал царем быть.

— Весной семнадцатого. Так! — Фролов с силой потер лоб.— Ну удружил я твоему деду, ну и удружил! — Вцепившись в колени, покрутил головой, качнулся вперед-назад.— Ты уж прости меня. Не думал я, что так получится,— взглянул виновато на Еремея.

Тот, сморщив в раздумье лоб, смотрел непонимающе.

— Знал я твоего деда,— пояснил Фролов. Увидел, что мальчик все еще недоверчиво глядит на него, поднял пояс Ефрема-ики.— Это ведь ремень твоего деда? И сумка его, правильно?

— Его ремень,— тихо сказал Еремей.— И качин его.

— Ну вот, все сходится! — Фролов откинулся к спин-

ке стула, вздохнул тяжело, горестно и горько.— Это ведь из-за меня твой дедушка в тюрьму попал. Он рассказывал тебе, что его посадили за то, что помог бежать русскому? — и когда Еремей подтверждающе кивнул, Фролов сморщился, точно от боли.— Это я был...— Помолчал, добавил глухо:— Твой дедушка меня от смерти спас... Эту сумку я хорошо запомнил.— Погладил жесткий ворс на качине, провел пальцем по орнаменту.— Вот по этому знаку и запомнил. Это ведь только ваша там-га? Или она есть и у людей другого рода?

— Нет,— решительно и даже возмущенно отрубил Еремей.— Наша метка, только наша. Сорни Най. Сатар пусив...— Насупился, задышал быстро, прерывисто.— Качин мать привезла, когда деда в тюрьму взяли.

— Так это мать твоя была! — удивленно воскликнул Фролов.— Она рассказывала, как подобрали русского и отвезли в город?

Еремей кивнул. На ресницах его набухли слезы. Он крепко зажмурился, отвернулся, уткнулся в подушку.

— Успокойся, сынок, успокойся...— Фролов положил ладонь на затылок мальчика.— Скажи, чего добивался Арчев от дедушки? За что бил тебя?

Еремей, крепясь, скрипнул зубами.

— Велел показать Сорни Най,— буркнул сквозь слезы.

— Еремейка плюнул в Арча,— заявил с гордостью Антошка.— Прямо вот сюда! — показал себе на щеку.

Фролов покосился на него, сунул руку в оттопыренный карман тужурки.

— А что такое Сорни Най? — спросил осторожно и медленно вытащил из кармана серебряную фигурку.

Еремей настороженно повернул голову. Увидел статуэтку, стремительно выхватил ее из рук Фролова, прижал к груди, прикрыл плечом.

— Это большой огонь. Когда у Назым-ях много радости, сильно большой костер делают,— неохотно, сквозь зубы, объяснил он.— Когда Медведя праздник, тоже делают костер — Сорни Най.

— И все? — подождав немного, спросил Фролов.

— Больше ничего не скажу! — твердо ответил Еремей, смело и даже дерзко, с вызовом, глядя в глаза Фролову.

Тот в задумчивости почесал наморщенный лоб, хотел, видно, еще о чем-то спросить, но Антошка, плутовато поглядывая на него, торопливо потянулся к уху Люси, за-

шептал что-то умоляющим голосом. Фролов выжидательно, а Еремей с подозрением посмотрели на него.

— Просит, чтобы разрешили бывать в машинном отделении,— смущенно сказала Люся.— Он уже ходил туда, с Екимычем познакомился, но сегодня пришел капитан, заругался, выгнал. Вот мальчик и просит, чтобы вы поговорили с капитаном: пусть позволит ходить к Екимычу.

Фролов сдержанно улыбнулся. Он не раз видел Антошку в самых неожиданных местах: то около котлов, где мальчик, вытаращив глаза, смотрел, как бушует в топках пламя, как голый по пояс дневальный, попавший по наряду кочегарить, швыряет огромной лопатой уголь, то в лазарете, где Люся делала перевязки легкораненым и выхаживала двух бойцов, раненных тяжело, но чаще в кают-компани — наблюдающим за бойцами, которые чистили оружие, притихшим в уголке во время политбеседы или скромненько присевшим на край скамьи во время занятий ликбеза — вытянувшись, положив аккуратненько ладошки на колени, Антошка, не шелохнувшись, моргал от прилежания, шевелил губами, беззвучно повторяя слова вслед за великовозрастными учениками, измученными уроком. Бойцы относились к нему по-дружески. Фролов, незаметно наблюдая за Антошкой, радовался в душе — все не один на один со своей бедой ребенок. Встречал парнишку и на мостике — Антошка, прижавшись лицом к стеклу, расплющив в белую лепешку нос, оцепенело смотрел на рулевого, на колесо рогатого штурвала, за долгие годы отполированного ладонями до костяного блеска.

Капитан на мальчика внимания не обращал, поэтому странно и неожиданно было, что он выгнал Антошку из машинного отделения.

— Вообще-то на пароходе слово капитана — закон. Но я попробую уговорить Виталия Викентьевича, чтобы сменил гнев на милость.— Фролов притянул к себе Антошку, обнял его. Подавшись вперед, легонько стиснул руку Еремея.— Отдыхай, сынок, набирайся сил.

Вставая, положил на постель ремень Ефрема-ики, показал взглядом на серебряную статуэтку:

— Можно будет в городе показать ее ученым людям? Они очень обрадуются...

Еремей вздрогнул, испуганно сунул фигурку под подушку.

— Ну что ж, нельзя так нельзя.— Фролов вздохнул.—

Выздоровливай поскорей,— и слегка подтолкнул Антошку к двери.— Идем!

В пустом коридоре он заглянул в распахнутую настежь дверь каюты-камеры Арчева и Ростовцева. Там никого не было. Задержал взгляд на шинели Арчева, которая комом валялась на койке — непорядок!

Поднялся на палубу, прошел на корму, где около одежды, развешанной на паровой лебедке, топтался Ростовцев и где, заложив руки за спину, скучающе прохаживался от борта к борту Арчев. Выводной, прислонившись к фальшборту, наблюдал за ним; другой выводной, охраняющий общую камеру, стоял у кормового кубрика рядом с Матюхиным, который, слушая его, поглядывал то на пленных, то на капитана.

— Росиньель, росиньель, птит'уазо,— негромко напевал капитан на мотив песенки «Соловей, соловей-пташечка...», наблюдая, как за кормой крепят к пароходу дощаники,— ле канарие шант си трист, си трист! Эн, де, эн, де иль нья па де маль! Ле канарие шант си трист, си трист... *

— Я вижу, у вас отличное настроение,— весело заметил Фролов.— Никогда не слышал, чтобы вы пели.

Капитан вздрогнул от неожиданности, повернулся и тут же дружелюбно заулыбался.

— А почему настроение должно быть плохим? — Он мелко, счастливо засмеялся, поколыхивая круглым животиком.— Банда разгромлена, экспедиция окончена, возвращаемся домой. Чего лучше? — И, поглядывая за борт, опять замурлыкал.— Росиньель, росиньель птит'уазо... Подхватывайте! — предложил, лукаво глянув на Фролова.

— Рад бы, да французского не знаю,— тот сокрушенно развел руками.— Разве что по-русски? Да и то не сумею: ни слуха, ни голоса.

— Жаль,— огорчился капитан и мечтательно протянул: — Сейчас бы сюда нашу славную Люсю. Она-то бы уж поддержала.

— Хотите послушать «Соловей-пташечку» еще и по-остячки? — усмехнулся Фролов.— Люся, по-моему, тоже не знает французский.

— Можно и по-остячки. Получился бы замечательный интернациональный дуэт.— Капитан весело рассме-

* — Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет! Раз, два, раз, два, горе не беда! Канареечка жалобно поет! (франц.).

ялся. И, сразу оборвав себя, грозно рявкнул, свесившись через борт: — Трави, травы конец!.. Хочешь, чтоб при «стоп!» эти посудины разбили друг друга? — Выпрямился, опять запел: — Росиньель, росиньель, шерш дан капот, ле канарие шант си трист, си трист... Росиньель, росиньель, шерш дан ля пош... *.

— У меня, Виталий Викентьевич, небольшая просьба под ваше хорошее настроение.— Фролов смущенно кашлянул, оглянулся, подтолкнул вперед Антошку, спрятавшегося за его спиной.— Вы запретили этому мальчику быть в машинном отделении...

— Я? — Капитан удивленно округлил глаза.— Ах да...— вспомнив, напустил на себя строгий вид.— Было дело, признаюсь. Турнул его. Там, понимаете ли...— пошевелил пальцами в воздухе, прищелкнул,— там, понимаете ли, всякие части вращаются. Опасно! Долго ли до беды?

— И все-таки разрешите ему бывать в машинном отделении,— несмело попросил Фролов.— Мальчик будет осторожен,— нагнулся к Антошке.— Ты ведь будешь слушаться Екимыча-ики? Если он скажет: «Туда нельзя!», не полезешь?

Антошка, не отрывая испуганных глаз от капитана, кивнул.

— Хорошо, позволяю,— беспечно махнул рукой капитан и уточнил торопливо: — Но только под вашу ответственность!

— Дуй к своему Екимычу! — Фролов чуть подтолкнул Антошку и, когда тот, просияв, побежал к двери в машинное отделение, сказал задумчиво: — Глядишь, со временем, может, станет первым остяцким механиком. А нет, что ж... все на время забудет о своем горе.

— Еще из-за остячат у вас голова не болела,— фыркнул капитан,— придумали себе заботу! — Но, увидев, как неприязненно поджались губы Фролова, перешел на деловой тон: — Разрешите полный вперед? Задержались мы что-то.

— На пароходе вы начальник. Если пора — командуйте.— Фролов достал из нагрудного кармана массивные серебряные часы, прикрепленные цепочкой к петле клапана. Рассеянно глянул по привычке на надпись: «Верному бойцу революции т. Фролову Н. Г. за храбрость. Начдив 51 Блюхер, октябрь 1919 г.». Щелкнул

* — Соловей, соловей, ищи в шинели, канареечка жалобно поет... Соловей, соловей, ищи в кармане... (франц.).

крышкой, посмотрел на циферблат.— Долгонько они у вас прогуливаются! — поднял недовольный взгляд на выводного.

Тот начал оправдываться, что ждал-де, покуда одежда вот этого — кивнул на Ростовцева — высохнет, но Фролов не дослушал. Позвал:

— Матюхин! — И, когда тот подскочил, потребовал: — Впредь распорядок не нарушать.

Матюхин украдкой показал кулак выводному. Тот засуетился:

— А ну топайте в камеру, гидры!..

— Все на борт! — гаркнул капитан за корму. И направился не спеша к мостику.

Поднявшись в рубку, он постучал по переговорной трубе. Склонился к ней, буркнул вовсе уж не по-командирски:

— С богом, Екимыч...— И дернул ручку машинного телеграфа.

Екимыч, сухой, жилистый, сидел с Антошкой у верстака, попивая чай не чай, а так, настоящий на мяте кипятка, без сахара, без заварки. Когда из переговорной трубы раздался стук, старик сорвался с табурета, прижался ухом к раструбу.

— Ага, понял,— доложил капитану. Подмигнул мальчику поверх круглых, в железной оправе, очков, так нравившихся Антошке, прямо-таки завораживающих его.— Ну, хлопчик, отчаливаем. Сиди, и ни с места!

Погрозил темным пальцем, с большим выпуклым, как створка раковины, ногтем. И, приволакивая ноги, кинулся к машине.

Антошка зачарованно понаблюдал, как Екимыч перебрасывает какие-то тяжелые, блестящие рычаги, крутит посверкивающие штурвальчики. Когда Екимыч нырнул в маленькую дверцу, что вела в кочегарку, Антошка развернулся к верстаку. Протянул руку, погладил любовно масленку, гаечные ключи, отвертки, потрогал пилки по металлу, разбросанные по обитой жестью столешнице, и опять рывком повернулся к машине — в ней что-то сыто и сильно чавкнуло, охнуло с шипением; в больших грязно-желтых трубах заворчало, заклекотало.

— Вот и кончилась наша эпопея,— проговорил Ростовцев, услышав над головой приглушенный толщей верхних помещений гудок.— Теперь каждый прожитый час будет приближать нас к расстрелу.

Он, горбясь, принялся как-то боком, рывками, вышагивать от запертой двери к окну и обратно.

— Как знать...— вяло отозвался развалившийся на койке Арчев. Сунул руку в карман шинели.— Пути господни, да и нас, грешных, неисповедимы.

— Какое там «неисповедимы»! — выкрикнул Ростовцев.— С нами все ясно.— Схватился за решетку окна, прижался к ней лбом.— Ждет нас с вами, любезнейший Евгений Дмитриевич, так называемая революционная кара.

Арчев, снисходительно глядевший ему в спину, выдернул из кармана руку, быстро посмотрел на зажатую в кулаке плоскую пачечку пилок по металлу...

6

У подножия поросшей могучими соснами горы лошади остановились и, как ни колотили их ездоки, взбираться по крутому склону не насмеливались, чувствуя, видимо, что не хватит сил,— пятились, вздрагивали.

— У, падла бесконвойная! — Козырь ткнул кулаком в холку жеребца. Нехотя спешил. Обернулся к спутникам: — Придется, братва, ножками,— и начал взбираться в гору.

Урядник и Студент, скакавшие без седел, охлупкой, и оттого измучившие и себя, и лошадемок, тяжело сползли на траву. Постанывая, потирая отшибленные зады, потащились за Козырем.

На вершине они, прячась за деревьями, перебежками приблизились к краю откоса. Залегли, глянули на Сатарово, увидели уйму людей, красный флаг над самым большим домом. Посмотрели друг на друга: Урядник многозначительно, Студент с легкой растерянностью, Козырь удрученно.

— Рыбу коптят, гады! — Он шевельнул ноздрями, принюхиваясь. Поморщился страдальчески.— Хавать охота, моченьки никакой нет!

— Придется потерпеть до ночи,— рассудительно заметил Урядник. Степенно огладил бороду, потом слегка взбил ее снизу, от горла.— Сколь же здесь краснюков осталось, интересно знать? И остячишек чтой-то больно густо.

— Что? И аборигены здесь? — удивился Студент. Поправил пенсне, близоруко прищурился, вглядываясь

в далекий для него поселок.— Неужто и вигвамы поставили?

— Поставили, поставили свои шалаши,— Козырь сплюнул сквозь зубы.— Значит, надолго... Во, твари! От нас прятались, как барыги от мильтонов, а для комиссаров стараются.

Ханты, как только ушел пароход, как только Никишка-ики рассчитался по старым долгам, а молоденький новый начальник в красных штанах пообещал, что будет хорошо платить за мясо и рыбу, развели бурную, ошеломившую чоновцев деятельность. Часть мужиков, не мешкая, ушла берегом, чтобы через два-три часа появиться в обласах, полных рыбы. Женщины споро и без слов принялись эту рыбу разделявать, солить, вялить, коптить в избушке-копильне. Мужики развернулись и опять уплыли ставить сети. Старики и подростки исчезли в тайге, но вскоре вернулись, гоня перед собой, к восторгу Латышева, оленье стадо. Еще одна группа хантов, самая малочисленная, скрывшаяся из Сатарова первой, вернулась только утром и привезла на нартах три туши сохатых. И лосей, и оленей, которых пригнали старики, женщины тоже стали привычно и буднично солить, коптить, вялить. Впрочем, не все женщины. Несколько молодых тоже ушли из поселка и вернулись лишь на следующий день. И тоже с оленями, запряженными в нарты, на которых лежали туго набитые мешки кедровых орехов, стояли коробка с крупной брусникой, с отборной клюквой. И этих оленей отдали Латышеву на убой. «Погодите, сердешные,— взмолился дед Никифор.— Вдруг да не хватит товара расплатиться!» — «Ничо, Никишка-ики. Бери опять в долг. Потом расплатишься. Кожаный начальник, красные штаны не обманут...»

— Однако, многовато чекистов,— задумчиво протянул Урядник и снова огладил бороду.— Шесть голов уже насчитал. А сколь их по избам или в том вон амбаре? Неведомо.

— Что это они тащат? — Студент хмыкнул.— Бахрома какая-то. Что за бахрома, не пойму.

— Рыба это, слепень ты четырехглазый! — раздраженно буркнул Козырь.— Копченую тащат. А я бы сейчас и сырую слопал. Как остячишка. Не побрезговал бы, век воли не видать!

— Пируют, господа чекисты,— ненавидяще процедил Урядник.— Вон как нажрались, даже покачивает от сытости...

А бойцы и правда пошатывались — слишком уж опьянял одуряющий, вызывающий спазмы в желудке, нежный, аппетитный запах копченых муксунов, которых несли в амбар, продев сквозь жабры рыбин тонкий шест и положив концы его на плечи. Шест прогибался, гирлянда муксунов неравномерно раскачивалась; чоновцы сбивались с шага.

— В лад шагай, Семен, — оглянувшись, попросил передний, совсем еще мальчишка. — Иль выдохся уже?

— Такой-то груз я с утра до вечера таскать согласный, — худой и хлипкий Семен оскорбленно запыхтел.

Пружинящими мелкими шажками вбежали они в амбар с распахнутыми настежь створками дверей, где вдоль стены громоздились штабеля потемневшей уже клепки. Остановились около высоких козел, меж которыми висели на сушилах густые ряды копченой рыбы. Присели, хакнули, выпрямились, уложили и свой шест концами на козлы.

Старик Никифор и Латышев, вгонявшие крышку в бочку, на округлом боку которой было написано углем «Лось. Солонина», даже не взглянули на вошедших. Только Егорушка, важно стоявший рядом с дедом и державший деревянный молоток, посмотрел на чоновцев.

— Вот эдак надо, мил человек, ровнехонько, плавно, без перекоосу, — ворковал Никифор. Выхватил молоток из рук Егорушки, принялся мелко поколачивать по окружности крышки. — Полностью с тобой согласен, дорогой товарищ, что остяк — человек мирный и добрый. Не вояка! — продолжая, видимо, разговор, весело выкрикивал он. — А уж жалостливый, сострадательный к чужой беде — прямо диво... Обруч давай! — приказал вдруг подчеркнуто властно. — Беседа — беседа, дело — делом!

Латышев торопливо поднял с земли гибкое деревянное кольцо, протянул старику. Тот накиннул его на горловину бочки и опять запостукивал молотком, то по обручу, осаживая, то — решительней, размашистей — по крышке.

— У остяка первая заповедь: помоги! — Голос деда Никифора вновь стал ласковым, журчащим. — Помочь ближнему — это для него закон незыблемый. Последние портки, последнюю рыбешку, последнюю пылинку мучицы страждущему отдаст, даже ежели сам опосля этого

одной корой питаться будет. Очень душевный народ. И доверчивый — до невозможности.

Латышев качнул бочку, поставил внаклон. Подскочили бойцы-рыбоносы, бережно положили ее, откатили в угол к полудожине других.

— Доброта — дело хорошее, — охлопывая ладони, отрывисто и с явным неодобрением заметил Латышев. — Но не всегда... — Подошел к следующей бочке с торчащей из нее крышкой. — Как, к примеру, остяки будут классовую борьбу вести, если у них такие... — сдвинул к переносице белые брови, задумался, подбирая слово, — такие... непротивленские взгляды? — Выдернул крышку, протер внутреннюю сторону солью, пригоршней захватив ее с холстинки на земле. — Ладно... До классового самосознания они не доросли, допускаю. — Начал пристраивать крышку. — Но как же остяки при таком... мировоззрении с Ермаком воевали?

— Оне-то? — Старик лукаво усмехнулся, поперебирал пальцами бородавку. — А оне и не воевали. Татары сибирские да вогулы те, может, и беговые были, а остяки — не-е-е... — Принялся помогать Латышеву вгонять крышку. — Когда Ермак-то Тимофеич Кашлык, или другому Искер, столицу Кучумову то исть, брал, остяки после первых же выстрелов, не сражамшись, утекли... Егорка, киянку!

— Как же так? — удивился Семен. — Ведь Ермак к ним пришел навроде поработителя. Неужто остяки ему не сопротивлялись?

— Ну ты и ляпнул! — возмутился напарник. — Чего ж им за Кучума, за угнетателя-то воевать?!

Они сидели рядышком на бочке и бережно, вытянув из общего кисета по щепотке табачной пыли, вожаденно свертывали самокрутки, но от вскрика молодого чоньца табачные крохи с его бумажки сдуло, и он чуть не взвыл от огорчения.

— Верно, милый, — старик принял от внука деревянный молоток, начал отстукивать крышку бочки, потом обруч. — Бьет Ермак эксплуататора Кучума, вот и ладно, вот и довольны остяки... Однако тут вот, в Сатарове, дали оне казакам бой. Энтот вот пупырь — самое святое место ихнее было, — показал рукой в дверь, на гору с белой стеной обрыва, в промоинах-оврагах которого залегли уже вечерние тени. — По-остяцки такое место называется «эвыт». Самые главные ихние боги тут жили. Оттого и защищали остяки горушку. Кто ж свою

святыню — хучь русский, хучь татарин, хучь остяк — просто так, без бою, отдаст?

— Видел я те остяцкие святыни, — пренебрежительно фыркнул Семен. — У них кругом боги: озеро — бог, большой камень — бог, дерево повыше да поздоровше — бог...

— Святыни, боги! — раздраженно перебил молодой напарник. — Какая разница: камень ли, разрисованная ли доска, которую чтут христиане? Все едино — религия. — Говорил он желчно, с завистью поглядывая на Семена, который с удовольствием курил. — А религия — это опиум для народа. И дураку ясно!

— Опиум? Это верно, — охотно согласился Никифор. — И насчет идолов остяцких согласен. — Отошел на шаг, полюбовался на бочку. — Однако водил меня как-то, давно еще, дружок мой Ефрем Сатаров на малый имынг тахи, на малое святое место, значит. Так вот там я видел божков человекоподобных: деревянных, железных, медных... А одна фигурка была даже серебряная. Навроде богини-воительницы... Оттаскивай, ребяташки!

И посеменял к следующей, последней незакупоренной бочке.

— Серебряная — это хорошо, — соскочив на землю, заулыбался Семен. — Серебро можно в фонд голодающих сдать... На, дерни пару раз, — протянул окурочек приятелю. — Все не так в животе сосать будет.

Молодой боец схватил то, что осталось от самокрутки, жадно затянулся — раз, другой — и затряс кистью: огонек сигарки обжег пальцы.

— Лучше, если б та фигурка золотая была, — растирая подошвой упавшие искры, весело, довольный, что удалось курнуть, заметил он. — Золото дороже. Больше еды купить можно.

— А у остяков и золото есть, — вдруг встрял Егорушка. — Деда, расскажи им про золотую, — попросил старика, сделав умильное лицо. — Про золотую матушку остяцкую расскажи. Про Сорни Най Ангкхи.

— Да ты уж сто раз слышал эти байки про Золотую Бабу, — притворно сердито отмахнулся Никифор, но исподтишка выжидательно и с надеждой взглянул на чоновцев, которые, откатив, ворочали бочку, на их юного командира: может, попросят рассказать?

— Золотая Баба? — переспросил Латышев. Покрутил в руках обруч, сжал несильно, проверяя упру-

гость.—Что-то я слышал о ней. Да и читал что-то, вроде.

— Ну-ка, ну-ка,— оживился Никифор,— что читал? Очень интересуюсь этим вопросом. Может, чего нового скажешь?

— Да я еще таким вот читал,— Латышев, нагнувшись, распрямил ладонь невысоко над полом и начал отнекиваться: — Чего я расскажу? Не помню ничего.— Но увидев лицо старика с приоткрытым от внимания ртом, с глазами прямо-таки пытающими, почесал затылок, сказал неуверенно, с усмешечкой: — Было, значит, написано то ли в «Русском богатстве», то ли в «Мире божьем», то ли в «Ниве», не помню,—что есть в здешних краях, в Югре, одним словом, золотая скульптура какой-то женщины. Один знаменитый историк забыл вот только его фамилию, считал, что скульптуру эту вывезли из Киева, когда Русь крестить начали.

— Писал о том, что Золотую Бабу вывезли из Киева, Карамзин Николай Михайлович,— внушительно пояснил дед Никифор и осуждающе поджал губы: как-де можно забыть фамилию такого человека, да еще и называть его «каким-то историком»?

— Ага, он,— согласился равнодушно Латышев, насаживая обруч на бочку.— Ну вот. Написано было еще, что впервые о той золотой богине упоминается в летописи, когда какой-то архиерей помер. Что жил, мол, тот архиерей среди нехристей, которые молились воде, камням, деревьям. И среди прочего Золотой Бабе.

— Новгородская Софийская летопись о кончине в одна тыща триста девяносто восьмом годе Стефания Пермского,— уточнил Никифор и поглядел внушительно сначала на чоновцев, которые, заинтересовавшись, подошли вплотную, потом — на Латышева.

— Чего еще читал?

— Еще? — Латышев, припоминая, наморщил лоб, посмотрел в потолок.— Поп какой-то о ней говорил. Давно, то ли во времена Ивана Грозного, то ли до него.

— Митрополит Симон в тыща пятьсот девятом годе,— с удовольствием уточнил Никифор.— Святой отец попрекал пермяков, что те поклоняются Золотой Бабе.— И уже почти насмешливо, с издевкой спросил: — Чего еще помнишь?

— Да ничего больше! — взорвался Латышев.— Помню только, что иностранцы какие-то о ней говорили.

— Иноземцы? — довольный Никифор аж просиял. — Иноземцы писали, а как же! О Золотой Бабе упоминали, — он раскрыл ладонь, принялся перечислять, сгибая пальцы, — поляк Меховский, германец Герберштейн, литовец Вид, англичанин Адамс, француз Тевэ... Итальянцы Барберини да Гваньини. — Старик принялся загибать пальцы на другой руке. — Окромя них — Мюнцер, Дженкинсон, — вскинул кулачки, — Бельфорэ, Меркатор и прочие.

Дед Никифор резко опустил руки, поглядел победно на чоновцев, на Латышева и даже на Егорушку.

— Серьезное дело, — удивился молодой боец и натянуто улыбнулся.

— Не больно-то, — с сожалением возразил Никифор и вздохнул. — Шибко уж не похоже описывали ее чужеземцы. Да и на картах своих рисовали по-разному. Кто — нагишом, кто — в одежке, кто — быдто сидит она, кто — быдто стоит, кто — с дитем на руках, кто — с двумя. Ежели интересуетесь, я вам покажу книжку, где все это расписано и нарисовано. — Помолчал, глядя сквозь распахнутую дверь на улицу, где уже густели сумерки. Пожевал старческими губами, быстро и пытливо посмотрел на слушателей, словно раздумывая, продолжать ли, и добавил сокрушенно: — Герберштейн так тот и вовсе пишет, что она старуха, у которой в утробе виден парнишка, а в нем — еще один. Сын, значит, и внук.

— Ха! — поразился Семен. — Как это он в статуе ребят разглядел?

— А он эту Золотую Бабу и не видел никогда, — нехотя признался Никифор. — По рассказам описал... — Опять вздохнул, глубоко, опечаленно. — Да и прочие, о которых я говорил, не видели ее.

— Значит, все это брехня! — твердо решил Семен. — Бабушкины сказки!

— Ну почему бабушкины сказки? — неуверенно возразил его напарник. — Скорей уж мифы, легенды... — Посмотрел многозначительно на старика, уверенный, что поразил его образованностью. — А в каждой легенде есть доля правды...

— Брехня! — еще решительней заявил Семен.

— Может, и так, — вяло согласился старик, поглядывая то на Латышева, который, не обращая внимания на спор, старательно постукивал молотком по крышке бочки, то на внука, почти слезно глядевшего

на деда и порывавшегося что-то сказать: — Только знайте: были у остяков золотые кумиры. Были! — И даже притопнул в сердцах. — Одного идола — Ас-ики, рыбьего бога то исть, видел шибко ученый человек Григорий Новицкий. Он в позапрошлом веке помогал тобольскому и всея Сибири митрополиту Филофею крестить местных людишек... — Старик оживился, голос его стал звонким. — Энтот самый Новицкий так описывал Ас-ики: бысть же сей бог рыб доска некая... — Никифор полузакрыв глаза, покачиваясь, загундосил, нараспев, по-церковному, — нос, аки труба жестяна, очесы стеклянны, роги на голове малые, покрыт одеждой червленою, а грудь его — золотая!

— Вот видишь: грудь золотая! — радостно повернулся напарник к Семену.

— Ну и что?! — упрямылся, не сдавался тот. — Врал ваш Новицкий. А если и не врал, то за два столетия от этого рыбьего бога не только золотой груди, носа жестяного не осталось.

— Промежду прочим, жил Ас-ики во времена Ермака на энтой горе, — перестав подвывать, внушительно заметил Никифор и повел рукой в сторону двери. — О том сказывал мне давнишний мой дружок Ефрем Сатаров. И еще сказывал он, что и доньше цел тот Ас-ики и что он, Ефрем, часто с ним видится.

— Врет твой Ефрем, — хмуро, хотя и не очень увренно, объявил Семен.

— Ефрем Сатар врет? — ахнул Никифор и даже отшатнулся, замахал возмущенно ладошкой. — Окстись, милый, опомнись. Ефрем за всю жизнь даже вот настолько не слукавил, не схитрил, — сжал пальцы в щепотку.

Егорушка звонко рассмеялся, показал на бойца пальцем:

— Ефрем-ики врет?! Ну и сказанули вы, дяденька.

— Ах, что б тебя, варначонка! — Никифор притворно строго затопал сапогами, замахнулся на внука, который, вильнув из-под руки деда, отскочил к двери. — Рази ж можно над старшим смеяться да еще перстом в него тыкать?! — И, повернувшись к Семену, смущенно, но и чуть-чуть снисходительно улыбнулся. — Однако ты, милаша, и впрямь несусветное про Ефрема Сатара брякнул.

— Значит, говоришь, цел идол с золотой грудью? —

вдруг громко спросил Латышев.— Интере-есно! — Бросил молоток на крышку бочки.— Баста на сегодня, шабаш! Перекур.

— А может, у него грудь вовсе и не золотая? — достава кисет, с вызовом засомневался Семен.— Может, медная или бронзовая?

— Э нет, разлюбезный Фома Неверующий,— с ласковой ехидцей пропел старик.— Остяки золото от меди завсегда отличат.— Он, мелко перебирая ногами, обошел бочку по кругу, подергал обруч, постукивая по крышке, нажимая на нее.— Тот же Новицкий писал, что рядом с Ас-ики был у остяков другой бог: Гусь Медный, всякой по воде плавающей птицы покровитель. Оченно различают оне медь от золота. Не дурней нас с тобой, друг ты мой ситный!.. Хорошо сработал, комендант, славно,— сухо похвалил Латышева и, снова сменив интонацию на ласковую, елейную, продолжил: — Золото для остяка особое значенье имеет. Оне при договорах, аль когда клятву дают, завсегда с золота воду пьют в знак нерушимости своего слова. Верят еще, что вода та волшебная. Выпьют-де, и все им тогда нипочем, ништо с ними приключиться не может.

— Ну ладно, допускаю, какие-нибудь золоченые тарелки, из которых они воду пили, может, и были,— снисходительно согласился Семен, слюнявя сигарку.— Может, и рыбий бог с золотой грудью был, но чтоб скульптура, целиком отлитая из золота?... Не-е, не верю.

— Ах ты, господи! — Никифор в отчаянии хлопнул себя по бедрам.— Хошь, я тебе расскажу быль истинную про золотого остяцкого кумира? Не про Ас-ики, про другого. Хошь?

— Отчего не послушать,— насмешливо согласился тот.— Рассказывай, пока курим. Разрешите побалагурить минут пяток, товарищ командир?

Латышев, сгорбившись над зажигалкой, пощелкивая ее колесиком, пожал неопределенно плечами.

— Расскажи, деда, Расскажи,— обрадовался Егорушка. Он, заложив руки за спину, прислонился к косяку двери, глядя туда, где в белом лунном свете темнели конусы чумов на берегу, переливались блики на почерневшей и, казалось, ставшей намного шире, реке, скользили тенями ханты, сбивающиеся в кучки вокруг бледно-желтых, подмигивающих костерков.

— Ну ин ладно, так уж и быть,— произнес Никифор с видом человека, который согласился рассказывать

только после настойчивых уговоров. И начал, не отрывая глаз от зажигалки, колесиком которой все чиркал и чиркал Латышев: — Дело было еще при Ермаке Тимофеече. Оченно оголодали казаки после зимовки в столице Кучумовой. Надо было припас пополнять, иначе — смертушка неминучая. Вот и отправилась ранней весной ватага вниз по Иртышу под водительством лихого есаула Брызги. С великими боями одолев татарские улусы на Аремзянке, дошли оне до владений князька Нимняна, Демьяна по-русски. Батюшки, что за диво?! — Голос старика, журчавший плавно, ровненько, взвился в изумленном вскрике. — Вот те раз! Обычно мирные, остяки воспротивились, дали бой. Не подпускают к крепости, что вот на этакой же горушке, как наша. — Никифор глянул в дверь, и бойцы тоже невольно посмотрели туда. — Трое ден стояли казаки у Демьянового городка и не могли взять его...

Егорушка тоже рассматривал обрывистую гору. Глаза его расширились — показалось ему, что вместо высвеченных луной стволов сосен увидел он частокол остяцкой крепости.

— Каждый штурм отбивали инородцы, — продолжал дед Никифор. — Да с такой удаley, будто заранее знали, что нипочем их не одолеть... — Достал из кармана лоскут, высморкался в него. — Стали казаки совет держать: как быть дальше? И отступать нельзя: конфузно, вся Кучумова орда голову поднимет, непокорствовать начнет. И взять Демьяново городище не могут. Вот незадача... — Он помолчал, глядя на то вспыхивающие, то затухающие огоньки самокруток, и понизил голос почти до шепота. — А надо сказать вам, что был в обозе казаков чуваш один. Его Кучум когда-то из Казани привез. Этот чуваш мало-мальски по-русски лопотал, ну и служил у наших навроде толмача. Ране-то, до прихода Ермака, чуваш энтот часто бывал у остяков, язык ихний выучил. Ну те и доверяли ему.

Егорушка, зная, что будет дальше, прикрыл глаза, оставив лишь узенькую щель, сквозь которую звездчато переливались костры хантов.

— Энтот чуваш и поведал казакам, что в Демьяновском городке есть золотой идол. Идол тот сидит в золотой же чаше. В нее остяки воду наливают, а потом пьют. Оттого и страху не ведают. Верят оне тому идолу, сказывал чуваш, страсть как. Пока он-де с ними, остякам черт не брат, царь не сват... Напросился чуваш в горо-

док.— Дед Никифор вздохнул и повел рассказ бойкой скороговоркой: — Доложусь, сказал, тамошним защитникам, что переметнулся, дескать, к ним. Разузнаю, говорит, что и как. Долго ли, мол, обороняться будут? Может, сказал, и идола того стащу, ежели не шибко чижолый. Остяки-то без свого кумира что дети малые. Переполошатся, сдадутся...

Егорушка улыбнулся, представив, как приободрились казаки.

— Ну, стал быть, сделал чуваш, как обещался: проник в крепость,— доложил Никифор.— И золотого ихнего истукана видел. Остяки как раз советовались с ним. Поставили кумира свого на стол, серу с салом вокруг него возожгли. И вопрошают через шамана: обороняться или сдаваться? И через шамана же тот им отвечивал: будя драться, мужики! Побьют вас русские, право слово, побьют! Чуваш-то поддакивает, а сам все на ус мотает. К золотому истукану ему, понятно, даже приблизиться не дали — куда там! Пуще глаза берегли святыню иноплеменцы. Но и то, что выведал хитрован,— шибко добрая весть. Под утро вернулся он тайком к казакам, рассказал про все, что видел-слышал...

Латышев неодобрительно хмыкнул; Семен с напарником переглянулись.

— Как только пошли наши на приступ, разбежались остяки,— заканчивая, забубнил без выражения Никифор.— Растеклись по своим стойбищам, в тайгу запрятались. Ну и золотого бога свого, знамо дело, утащили... Вот такая история.

— Да-а, занятная байка,— усмехнулся Семен.— И что же, казаки не искали больше того золотого истукана?

— Как не искали? — возмутился дед.— Повсюду искали. Ведь ежели б оне тем идолом завладели, как бы их остяки почитали, сам подумай! Провианту, ясаку натащили бы — страх! Однако не нашли, пропал идол.— Никифор меленько засмеялся.— Забыли даже, что провизию заготовлять надо, принялись рыскать по тем местам, где наипервейшие инородческие капища. И в Рачево городище ходили, и в Цингалинские юрты, и в Нарымский городок, и здесь побывали. Сказывал ведь я про тутошний бой. Не забыл?

Семен, глубоко затянувшись, кивнул.

— То-то,— назидательно проворчал старик.— А отсель оне двинулись на Белогорье, где само главное остяцко святилище было... Егорий, как тама у господина Мил-

лера сказано? — не отрывая глаз от Семена, выкрикнул вдруг Никифор требовательно и самодовольно.

Егорушка набрал полную грудь воздуха, зажмурился и выпалил:

— В древние времена было там место поклонения некой знаменитой богине, которая вместе с сыном восседала на стуле нагая. Ей остяки приносили жертвы и дары, за что она оказывала им помощь на охоте, в рыбной ловле и во всех их делах! — Мальчик перевел дух, снова вздохнул поглубже и снова затараторил: — Эта богиня при приближении казаков приказала себя ухоронить, а самим остякам спрятаться. Что и было исполнено, и когда казаки высадились на берег, то не нашли там ничего, кроме пустых юрт. И пробыл Брязга на том месте три дня!

— Во! Три дня! — восторженно выкрикнул Никифор. — А чего казакам три дня делать, ежели все местные людишки разбежались?

— Кто такой этот Миллер? — громко спросил неожиданно для всех Латышев. — Почему ему надо верить? — Он тоже глубоко затынулся, его лицо осветилось, на дсда Никифора глянули едкие, насмешливые глаза.

— Миллер кто такой? — Никифор растерялся и даже руками слегка развел, словно поражаясь, что такого человека не знают. — Ба-альшой ученый энто Миллер. На службе русской академии состоял. В одна тыща семьсот сороковом годе первое научное описание Сибири сделал. До невозможности обстоятельный немец. Все архивы городов сибирских перелопатил, однех документов да бумаг разных несколько возов вывез. — Помолчал, шмыгнул носом. — Можно ему верить. Все верят.

— Но ведь этот самый Миллер не пишет, что богиня золотая, — Семен, поплевав в ладонь, затушил об нее окурк. — Может, то и не Золотая Баба вовсе была.

— Верно, милок, не пишет, — Никифор тяжело, огорченно вздохнул. — Он, промежду нами, и не верил в тую Золотую Бабу — Сорни Най. — И опять тяжело вздохнул. — Однако уверенно говорит, что был какой-то золотой кумир, который прятали от Ермака. Ермак-то Тимофейч тоже ведь искал то чудо золотое. На многих мольбищах побывал, а находил токмо пустые кумирни в капищах да напуганных баб с детишками...

— Ну ладно, побалакали и хватит, — перебил Латышев. Бросил под ноги красную точку окурка, растер подошвой. И приказал: — Савостин, сменишь часового!

Молоденький чоновец тоже торопливо затушил окурок. Вытянулся, одернул гимнастерку. И Латышев гимнастерку под ремнем оправил.

— Я — к осякам. Посмотрю, хватит ли бочек. Может, всех оленей пока забивать не надо. А вы, Никифор Савельевич, и ты, Семен, завтра, как станет светло, будете упаковывать это, — повел рукой в сторону еле видимых в полумраке жердей с гирляндами рыбы.

И вразвалку вышел из темного амбара в светлую дверь.

— Надо бы Ермаку поласковой, — задумчиво сказал Савостин, глядя в удаляющуюся спину командира, который твердо шагал по белой от луны траве. — По-мирному надо было. Зачем на людей страх нагонять.

— Это ты про осяков, что ль? — решил уточнить Никифор. — Не, оне его не боялись. Оне за Золотую Бабу боялись. Ее, стал быть, защищали, а так не враждовали с нашими, не-е... Дружно жили с русскими, полюбовно. Да вот, к примеру, — тихо засмеялся, покрутил не то с осуждением, не то с восхищением головой. — Пелымские шаманы шибко не хотели, чтоб Ермак Тимофеич на Русь уходил. Ну и наволховали ему, быдто нет евонной дружине пути назад, быдто погибнут все, ежели за Урал пойдут. Хитрили, понимаешь ли, чтоб остался, значит Ермак, чтоб от Кучума их оборонял.

— Ну уж! — возмутился Семен. — Станет Ермак каким-то шаманам верить!

— Поверил — не поверил, не знаю, — Никифор хитро, с усмешечкой взглянул на него, — однако не пошел ведь назад к Строгановым, под Кашлык возвратился. Шаманы, оне тоже не дураки. Хошь чего внушить могут, особливо ежели в глаза, не моргнув, уставятся. — Почесал щеку, посмотрел с сомнением на чоновцев, будто размышляя: говорить ли? Решился. — Окромя того, хитрости всякие знают. Семен вот Ульяныч Ремезов, тезка твой, — дернул головой в сторону Семена, — пишет, что когда шаманы Ермаку-то в Чендыре колдовали, то... А ну-ка, Егорий, огласи! — потребовал весело у внука. — У тебя память цепче, точней скажешь.

— По знаку главного волхва подручные его схватили оного волхва под руки и, крепко связав, бросили на-земь, — не задумываясь, принялся чеканить Егорушка. — Опося чего схватили длинный нож и проткнули тем ножом брюхо связанного волхва насквозь. Колдун же сей не токмо жив остался, но смеялся и, приказав развязать

себя, выдернул из брюха своо нож окровавленный. А для вящей славы своей набрал в пригоршню кровь, что текла из него, принялся к великому смущению и удивлению казаков кровь ту пить и мазать ею лицо свое... Во, дяденьки, к вам небось идут! — Показал пальцем на бойца в буденовке и с винтовкой за спиной, который неторопливо брел от чумов к амбару. И снова зачастил с удовольствием: — Опосля того волхв откинул шкуру, прикрывавшую тело его, и показал брюхо без следов ранения, хотя казаки воочию видели, как нож проткнуло оно брюхо и конец ножа торчал из спины.

— Маненько в слогe напутал, — с укоризной заметил дед. — Всяких разных слов от себя наставлял. Но изложил правильно. Молодец!

Чоновцы, выйдя из тени в прозрачную светлую полосу лунного света, лившегося в дверь, поджидали приближающегося товарища. Никифор увидел снисходительно-скептическую ухмылочку Семена, огорчился.

— Опять не веришь?! — выкрикнул, сдергивая с гвоздя массивный кованый замок. — Миллеру не веришь, Ремезову не веришь! Экой ты, право, скупной, без удивления в душе! — Раскинув руки и несильно нажимая на спины Семена и Савостина, подтолкнул их наружу. — Да об этом шаманском чуде не один Ремезов, многие ученые сообщали, — негодовал, поглядывая на Семена и закрывая тяжелые скрипучие двери. — И все до тонкостей, до последней тютельки сходится. — Старик, вставив дужку замка в кольца, с усилием, с натугой повернул огромный ключ,

— Принимай пост, Савостин, — подойдя, устало сказал небритый пожилой караульный. Медленно стянул с плеча винтовку, протянул молоденькому чоновцу. — Значит, так. Главный объект — этот склад, — показал взглядом на амбар. — Проверь замок... — Подождал, пока Савостин, прижав винтовку к бедру, подергал левой рукой замок. — Потом — коптильня. Она не заперта. Заходи туда, поглядывай, чтоб чего не загорелось ненароком. — Опять помолчал, и лишь когда Савостин понимающе кивнул, продолжил: — Двенадцать оленей под твоим приглядом. За ними особенно приглядывай. Карауль. Ну и наш сон тоже, — он улыбнулся. — Все, кажется... Пост сдал.

— Склад под замком, коптильня, двенадцать оленей, казарма, — быстро повторил Савостин и, выпятив грудь, отрапортовал: — Пост принял.

— Казарма, говоришь? Пусть будет так...

— Айдайте ко мне,— Никифор встал на пути, раскинул руки.— Айда, мил человек, я тебе тую книжку про шаманов покажу. Сам увидишь — все чистая правда!

— Э нет, дедуля,— засмеялся Семен и погрозил шутиливо пальцем.— Мне через два часа друга менять,— кивнул на Савостина.— Надо поужинать да хоть маленько отдохнуть. А с тобой разве отдохнешь? Заговоришь до смерти. Завтра покажешь, Никифор Савельевич, книжку. Успеем еще, времени у нас с вами впереди много...

— Угмонятся они когда-нибудь или нет?! — Козырь, посматривая на чоновцев, на старика с мальчишкой, которые топтались около амбара, зло выплюнул скорлупу кедрового орешка.

Опавшие шишки собрал где-то хозяйственный, обстоятельный Урядник. Подполз к Козырю, высыпал из фуражки, буркнул: «Лузгай — и ни с места! Наблюдай, считай, запоминай, кто в какой избе спит... А мы со Студентом лошадок на водопой сводим. Жалко лошадок. Ежели что, то стреножим их, попастьись пустим». «Э-э,— переполошился Козырь.— Не вляпайтесь, не засыпьте. Остяки народ ушлый». — «Ничего, не бойсь. Мы далече отведем... Не усни, смотри».

Прошуршал мох, прошелестела трава, и Козырь остался один.

Пощелкивая орешки, не отрывал он глаз от поселка: копошились у костров близ чумов ханты, прохаживался между ними чекист в остроконечном красноармейском шлеме и с винтовкой, другие чекисты носили мясо и рыбу в коптильню. Те двое, что скрылись в амбаре, больше не появлялись.

За избами, за амбаром, за чумами стали густеть тени, но на открытом пространстве в ярком свете луны все было видно как днем.

Из амбара вышел кто-то тоненький, в гимнастерке, в красных галифе и направился не спеша к берегу. Слилс с силуэтами у бочек. Ханты поубавили прыть, сбились вокруг костров в темные пятна; чекисты, помогавшие разделявать, солить мясо и рыбу, теньями потянулись к просторной избе наискосок от дома с красным флагом и тоже сгрудились — у котла, вмазанного в глиняную летнюю печку, под которой весело переливался костерок. Лишь

тоненький в галифе и тот, с винтовкой, за которым Козырь следил особенно внимательно, задержались ненадолго. Но и они разошлись: тоненький двинулся к чекистам, а вооруженный — к амбару. В дверях появился дед с мальчиком и те двое, что тащили из копильни рыбу. Один из них принял от подошедшего винтовку. «Так, охранник один,— отметил Козырь.— А тот, красноштаный, выходит, командир,— и презрительно выпятил губы.— Желторотик какой-то...» Дед, прижимая к груди ладони, не то доказывал что-то чекистам, не то упрямился их.

— Ну, разбазарились,— рассвирепел Козырь.— Жрать-спать, что ли, не хотят?..

— Чего бубнишь? — прошипел кто-то сзади.— Или бредить от голода начал?

Козырь испуганно оглянулся и облегченно перевел дух — свои!

Студент, посверкивая стеклышками пенсне, беззвучно засмеялся, рухнул справа. Слева не торопясь лег Урядник.

Ждали недолго. Чекисты поужинали быстро и так же быстро ушли в избу. Высветились изнутри окна, поплыли по стеклам тени, но вскоре свет погас. Лишь в подслеповатом, крайнем слева оконце — там была, наверно, кухня или чулан, превращенный в дежурку, — остались отблески слабого огонька. Разбрелись по чумам и ханты. Часовой, вышагивавший рядом с избой, подошел к котлу летней печки, заглянул внутрь.

— Ну, с богом, православные! — Урядник встал на колени, истово, широко перекрестился и на карачках отполз от обрыва.

За первой же сосной проворно, по-молодому, вскочил на ноги.

— Ты,— ткнул в грудь Студента,— к деду за ключами. Получишь ключи, трахнешь, чтобы не шумел,— голос был властный, резкий.— Я — на караульщика. Ты,— развернулся к Козырю,— на крыльцо к краснюкам. В случае чего лупи в гущу. На,— отцепил от ремня гранату, сунул, не глядя, ему в руки.

И бегом вниз по склону, оскальзываясь на хвое, хватаясь за ветки, за стволы деревьев, падая, поднимаясь и снова падая.

В поселочке они разделились.

Часовой удалялся к невысокому ельничку рядом с чумами, где изредка, не враз, позванивали, побрякивали оленьи колокольчики и ботала.

Студент, выставив перед собой револьвер, длинными скачками бросился к крыльцу дома с красным флагом. Козырь, прижимая к бедру винтовку, кинулся было следом, чтобы, обогнув дом сзади, выскочить с другой стороны, прокрасться к избе чекистов, но, заметив, что Урядник наблюдает из-за угла амбара за часовым, вдруг резко затормозил, развернулся, вильнул к двери коптильни, юркнул внутрь. Притаившись за створкой, взглянул на Урядника — тот медленно забросил винтовку за спину, вытянул из-за голенища нож и замер. Козырь радостно оскалился, торопливо сорвал с жерди ближнюю рыбину и вцепился в нее зубами.

А Студент, не сводя глаз с часового, взметнулся на крыльцо, дернул с силой дверь, холодея от страха, что она окажется запертой, и влетел в сенцы. Быстро, без стука закрыл дверь, вытер кулаком лоб и, сложив губы трубочкой, бесшумно выдохнул. Затем на цыпочках прокрался к двери. Широко распахнул ее, прыгнул через порог, присел на широко расставленных ногах, поводя из стороны в сторону револьвером.

— Кто здесь? — Никифор приподнял голову от подушки. Всмотрелся в худого угловатого чужака с длинными растрепанными волосами, с поблескивающими стекляшками на глазах и, узнав, охнул. — Господи, спасе пресветлый, воля твоя, опять вы!

— Тихо, дед, тихо. — Студент выпрямился. — А внук твой где?

— У красных армейцев. — Старик встревоженно сел на постели. — Чего надоть-то?

— Харчи надо, дед, — Студент, не сводя с него револьвера, медленно двинулся к печке. — Ну и еще, что поценней... Орда меха не натащила?

— Нету пушнинки, сердешный, нету, золотой мой. — Дед со страхом смотрел, как бандит приближается к печке. — Я тебе другого добра дам. Много дам! Тута советские люди были, так чего-чего тока не привезли. — Он проворно скинул ноги на пол, бросился, путаясь в завязках обвисших подштанников, к одежде, разложенной на спинке кровати. Принялся перетряхивать, ощупывать жилетку трясущимися руками. — Вот, возьми ключ. Щас, щас, найду. Все забирайте, все отдам... Да иди ж ты сюда! — взвыл, чуть не плача, когда увидел, что Студент протянул руку к занавеске на печи. — Чего тама топчеси? На, на бери, — протянул в дрожащей ладони ключ. — Сам подойти не могу, ноги отнялись.

— А ты не герой, дед! — Студент самодовольно захотал.

И тут на улице хлопнул выстрел. Студент, пригнувшись, метнулся сквозь полосу лунного света, падавшего из окна, прижался к простенку, выглянул осторожно на улицу. Увидел: разметав ноги, задрав к небу рыжую бороду, откинув правую руку с белой полоской ножа, а скрюченными пальцами левой вцепившись в землю, лежит Урядник, а к нему крадучись, держа винтовку наизготове, приближается часовой.

За спиной что-то прошуршало. Студент, резко оглянувшись, заметил, как колыхнулась занавеска на печи, как метнулся с лежанки мальчонка, и не целясь выстрелил в пятно рубашки, белевшей уже в двери. Промаялся. Заметил через окно, что часовой и уже высыпавшие из избы-казармы чоновцы, круто повернулись на револьверный выстрел, на детский вопль: «Ляля! Есеры!»

Студент ощерился, в два прыжка очутился около оцепеневшего, съевшегося старика. Дернул его за грудки, развернул, схватил за шиворот, вытолкал в сени, пинком открыл дверь и, прячась за деда Никифора, визгливо, истерично закричал:

— Не подходите! Застрелю старикашку! — Пошарил взглядом по сгрудившимся у крыльца чоновцам. — Старшой, покажись! Брось оружие и покажись!

Латышев, прижимавший к себе, поглаживавший, успокаивая, Егорушку, слегка отодвинул за спину мальчика, сделал шаг вперед. Отстегнул кобуру с маузером, положил на землю. Выпрямился. Оправил гимнастерку и, отставив ногу, заложил пальцы за ремень. Сказал негромко, с ненавистью:

— Слушаю тебя, бандитская морда.

Студент высунулся из-за деда Никифора, но, столкнувшись взглядом с лютыми, беспощадными глазами командира чоновцев, опять спрятался за спину старика. Потребовал надрывно:

— Прикажи приготовить мне мешок с продуктами! И пусть твои красные опричники отойдут к осяткам! Мешок отдашь деду. Мы с ним дойдем до леса, и там я отпущу старика. А ты со своей сворой не сделаешь и шага за мной, понял? А то старикашке каюк! Понял?!

Козырь, подскочивший после первого выстрела к двери и поглядывавший сквозь щель на улицу, чуть не подавился — он ни на миг не прекращал жевать; все так же жадно, безразборчиво грыз, рвал зубами рыбину. «Ах

ты гнида, ах ты паскуда чахоточная! Один удрать взду-мал, дешевка?» Слегка приоткрыл дверь, просунул ствол винтовки, прицелился.

— Сыночки, родненькие, пожалейте меня! — плакси-во взвыл Никифор, оседая на обмякших ногах. И упал, если б Студент не удержал за ворот.— Ради внука молю, пожалейте! Убьет ведь меня энтот изверг, ни за что убьет. Отдайте вы ему снесь, все, чего просит, отдайте. Пушай, ирод, подавится. Не ради себя, ради Егорушки прошу...

Козырь, слегка смещаясь то влево, то вправо, ловил на мушку Студента, но того почти не было видно: маячи-ла, моталась в прорези прицела белая, в исподнем, над-ломленная в поясе фигура старика.

— Эх, дед, дед, не в масть ты влип! — Козырь, задер-жав дыхание, нажал спуск.

Никифор дернулся вперед и стал сползать с крыльца. И тут же раздался еще один выстрел. Студент, держав-ший за шиворот старика и невольно склонившийся вме-сте с ним, взмахнул руками, откинулся назад, ударился затылком о дверь и расслабленно упал рядом с дедом Никифором.

Чоновцы стремглав развернулись на выстрелы: неко-торые бросились плашмя на землю, другие, сжавшись в комок, отпрыгнули, кинулись зигзагами к коптильне.

Дверь коптильни распахнулась, вылетела винтовка. А следом медленно вышел в лунный свет Козырь с вы-соко поднятыми руками,

7

Маленькое веселое солнце на-чало уже сползать к острым вершинам елей, когда «Со-ветогор», лихо дымя, вышел на рейд Сатарова.

— Лево руль! Круче лево! — приказал капитан штур-вальному.

Потянулся к проволочной петле гудка и отдернул ру-ку: вспомнил, что в прошлый раз было запрещено пода-вать сигналы. Посмотрел на Фролова, который, прижав к глазам окуляры бинокля, не отрывал глаз от берега, встревожился — такое жесткое, напряженное лицо было у командира. И тоже перевел торопливо взгляд на берег.

До поселка было еще далековато, но капитан раз-глядел и чумы на берегу, и красный флаг над домом, и синеватый дымок коптильни. А чуть повыше, на взгор-ке,— плотную шеренгу людей, которая отсюда, с паро-

хода, казалась темной полоской. Разглядел и Латышев, узнал его по малиновым галифе. Латышев поднял руку — выросли над шеренгой тоненькие штрихи винтовочных стволов; опустил резко руку — до рубки докатился слабый раскат залпа.

— Дайте гудок! — приказал Фролов. Повел биноклем в сторону берега. — Кажется, на этот раз Никифор...

Капитан сделал опечаленное лицо. Потянул за проволочную петлю — плеснулся густой, стонущий рев.

Еремей, услышав далекий залп, а потом долгий, страшный вой, от которого заложило уши, поднял голову от подушки, поглядел встревоженно в окно. Сел, постанывая, на постели. Удивился, увидев, что на нем белые тонкие штаны с веревочками у шиколоток, но задумываться над этим не стал. Выпрямился, качнулся и, вытянув руки, подбежал, шлепая босыми ступнями, к окну. Увидел на берегу чумы, а возле них свои, родные, в малицах машут руками, бегут к реке.

Торопливо осмотрелся, подковылял к шкафу около умывальника, распахнул створки, увидел гимнастерку и черное пальто — «Ернас, сак Люси!» — сдернул гимнастерку с крючка, принялся надевать. Измучился, покрываясь то холодным, то жарким потом, пока натянул эту военную рубаху.

То, что его малицу и ернас пришлось разрезать, а потом сжечь, он знал. Но штаны-то и обувь должны были остаться... Озираясь, Еремей подошел к столу, глянул мимоходом в окно — ханты вместе с русскими вытягивали на берег две большущие лодки; около шлюпки стоял одетый по-теплому Егорка, внук Никифора-ики. Рядом с ним — Люся, Фролов; от дома шел, руки назад, худой русики, за ним — двое с винтовками.

Еремей бросился к кровати, приподнял матрас — может, сюда положили одежду, пока ничего не помнил? Откинул подушку. Весело, солнечно блеснула Им Вал Эви. Мальчик любовно поднял ее, подержал на сдвинутых ладонях, всматриваясь в суровое, требовательное лицо дочери Нум Торыма: «Обиделась, наверно, что под голову положил». Отвел взгляд от статуэтки, увидел на стенке приветливые глаза Ленина-ики, обрадовался — решил поставить Им Вал Эви на стол, прямо под портретом, — пусть будет почти как дома!

И снова зыркнул в окно, но ничего, кроме суматохи на берегу, не увидел — ханты таскали из больших лодок тюки в амбар. Прижался щекой к стеклу, скосил, насколько

ко мог, глаза, разглядел парня с винтовкой и красной тряпочкой на рукаве, какого-то начальника в фуражке, который смотрит в черные трубки; рядом с этим важным кругленьким русику топчется Антошка, на черные трубки завистливо поглядывает. Над бортом парохода показался тот, который шел, заложив руки за спину, под приглядом двух бойцов. Вылез на палубу. Следом — хмурый Егорка. За Егоркой — Люся...

— Шагай на корму, контра! Отвоевался, бандюга! — Матюхин ткнул дулом винтовки в плечо Козыря.

— Нет, нет, этого к Арчеву, — приказала Люся. — А то, чего доброго, начнет пленных баламутить... А офицери-ка — в общую.

— Но позвольте! — Капитан отвел широким жестом бинокль от глаз и всем своим видом изобразил величайшее изумление. — Ведь этот мерзавец, — указал подбородком на Козыря, — менее опасен, чем бывший офицер. Почему же Ростовцева, командира бандитов, воссоединяют с шайкой, а рядового члена изолируют?

— Приказ Фролова, — сухо ответила Люся.

Она согласна была с Фроловым, что хладнокровный убийца, рецидивист-уголовник с дореволюционным тюремным опытом, будет намного опасней в общей камере, чем интеллигент с его идейными благоглупостями, опровергнутыми самой жизнью, и могла бы объяснить это капитану, но ведь не при этом бандите.

— Выполняйте, — распорядилась Люся, и когда Козырь двинулся к двери, на которую указал Матюхин, поманила к себе Антошку: — Познакомьтесь, — и положила руку на плечо Егорушке.

Но Антошка лишь коротко взглянул на русского мальчишку и жалобно заныл, осмелев в присутствии Люси:

— Капитан товарищ, дай глядеть в трубки, — лицо его сделалось просительным, хотя черные глаза оставались бойкими и немного хитрыми. — Дай, капитан товарищ, а? Шибко охота.

Капитан раздраженно скривился, но, перехватив взгляд девушки, улыбнулся, протянул Антошке бинокль.

Козырь же, привычно закинув руки за спину, бодренько, бочком, сбежал по ступеням трапа в коридор. Прижался к стене, пропуская какого-то странного, пошатающегося босоногого остячка в длинном черном женском пальто, подпоясанном ремнем с ножом и меховой сумкой. Поглядел с недоумением на конвоира, но тот, глядя в спину парнишке, который, с трудом переставляя

ноги, стал подниматься по трапу, был, судя по всему, поражен не меньше.

Люся, увидев в дверях Еремея, ахнула, бросилась к нему, схватила за плечи.

— Ты зачем встал? — Она несильно потрянула его. — Разве ж можно так? С ума сошел?

— Лежать плохо. Долго болеть буду, — Еремей нахмурился. — Ходить надо.

— Еремейка! — Антошка радостно подскочил к нему, стал совать в руки бинокль. — На, глянь! Так — маленький-маленький, — показал на берег. — А так, в трубке, большо-о-ой! — Развел руками, привстал на цыпочки. От того, наверно, что у него оказалась русская чудо-игрушка, он и объяснить пытался по-русски.

Но Еремей отодвинул ладонью бинокль.

— Егорка, здорово. — Сдержанно улыбнулся. Подождал ответа. — Слышь, Егорка, здорово, говорю. Не узнал, что ль?

— Чего не узнал, узнал... — буркнул наконец Егорка, не поднимая головы.

— О, да вы знакомы, — обрадовалась Люся. — Вот и замечательно. Быстрее сдружитесь. Или вы уже друзья?..

— Что это за чучело? — спросил Козырь, когда Еремей, поднявшись по ступеням, скрылся.

— Сам ты чучело! — обозлился часовой, отпиривший замок.

Матюхин распахнул дверь, приказал:

— Ростовцев, на выход!

— Что, уже? — тот вскочил с постели, засуетился. — Прощайте, Арчев... Молитесь за меня!

— Будет вам комедию ломать! — Арчев поднялся с кровати. — Никто вас до суда не расстреляет... Ну, здравствуй, Козырь, — потянулся, раскинув кулаки. — И ты влип! Как же тебя угораздило?

— Не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз! — ерничая, пропел Козырь. Оглядел без интереса каюту. — Я — что... Мне не привыкать... Ты-то, командир, спалился — вот потеха. Я, как услышал на палубе, что ты здесь, чуть не откинулся от радости. Неужто, думаю, и наш ротмистр гнилой припух? — Хмыкнул безбоязненно в лицо потемневшему от гнева Арчеву, повернулся к Ростовцеву, который, вытянув длинную, кадыкастую шею, застегивал верхнюю пуговицу кителя. — Как живешь-можешь, соловушка голосистый, кенарь желторотенький? — Игриво схватил подпоручика за бока.

— Не прикасайся ко мне, мразь! — завопил тот. Взмахнул ладонью, чтобы вклеить пощечину, но Козырь перехватил руку.

— А ну прекратить! — рявкнул от двери Матюхин. — Сцепились! Пауки в банке.

Козырь нехотя отпустил руку своего недавнего командира, вытер пальцы об его китель. Подошел к окну, подергал решетку.

— Ничтожество, скотина, плебей! — задыхаясь, массируя запястье, выкрикивал Ростовцев. — Негодяй!

— Закрой хлеборезку, — скучаяще посоветовал Козырь, — а то кишки простудишь... Заблеял, барашек идейный, — и, когда Ростовцев, клокоча от негодования, выскочил из каюты, когда захлопнулась за ним дверь, повернулся к Арчеву. — Ну что, передернул картишки да неудачно? Теперь все ставки у Фролова, а ты — без взяток. Тебя именем Рэсэфэсэра, — выкинул указательный палец, прижмурился, будто целясь. Щелкнул языком, закатил глаза. — И вся любовь!

Арчев, опять развалившись на постели, не мигая смотрел на него.

— Хватит валять ваньку, — сказал раздраженно. — Гляди!

Засунул ладонь под тонкое солдатское одеяло, поперебирал там пальцами и вытянул руку с зажатými в кулаке пилками. Показал взглядом на окно.

— Вхожу в долю! — не задумываясь, выкрикнул Козырь. Стрельнул вороватым взглядом на дверь и, сморщившись, захихикал. — Ну и пентюхи, вертухаи липовые. Даже волчок не прорезали!.. — Оборвал смех. — А этому... чистоплюю сопливному вы ничего не сказали? Гадом буду, заложит!

— Неужто я похож на идиота? — подчеркнуто оскорбился Арчев. — В таком деле нужен опытный, бывалый человек. Такой, как ты. Я рад, что тебя поместили ко мне, — изобразил губами улыбку. — Ростовцев же... — и пренебрежительно отмахнулся ладонью. — Откройся ему, через минуту по лицу Сержа обо всем догадался бы самый тупой надзиратель...

А Ростовцев в это время топтался около кормового кубрика, с любопытством и завистью поглядывая по сторонам. Ему очень не хотелось уходить с палубы: яркий солнечный день, легкий прохладный ветерок, трепавший полотнище алого флага и доносивший с берега слабые запахи хвои, смолы, дымка, копченой рыбы; высокое,

светлое, без единого облачка небо, серо-голубая река с рябью мелких волн; суeta чекистов, которые, не обращая на пленного внимания, играючи подхватывали и укладывали в штабеля подаваемые из дощаника рогожные кули; пыхтение, покряхтывание, поскрипывание паровой лебедки, поднимавшей над бортом оплетенные веревками бочки и плавно опускавшей их в квадратный зев трюмного люка, откуда папахивало сыростью, железом, пылью, мышами; громкие окрики, смех, беззлобная перебранка, лязг, стук, всплески воды, визгливый гвалт чаек-халеев — жизнь!

Часовой с забинтованной шеей, в кургузой шинельке, в неумело накрученных обмотках долго возился с замком. Наконец дверь открылась, Матюхин бесцеремонно втолкнул Ростовцева в кубрик.

— Если еще будешь так копаться, получишь внеочередной наряд в кочегарку! — Матюхин погрозил кулаком часовому. — Замок должен открываться — р-раз, и готово! Погибнут ведь люди, если — тьфу-тьфу! беда какая — пожар или тонуть начнем. Смотри у меня!

И, бухая сапогами, побежал к трапу — туда подплывала и уже разворачивалась бортом шлюпка. Вскинул руку к козырьку, вытянулся, чтобы доложить командиру, который поднимался на палубу, что никаких, мол, происшествий не было, но Фролов опередил:

— Вольно, вольно... Идите, занимайтесь делом. — Увидел Еремея, обрадовался: — О, сынок, уже встал на ноги? Молодцом, молодцом... Только не рано ли?

— Я то же самое твержу. Не слушается, — Люся мотнула головой. — Упрямства — на десятирех!

Говорила она резко, с осуждением, но губы с трудом удерживали улыбку — на палубе появился, молодецкато взметнувшись по трапу, Латышев. Он улыбки сдерживать не стал.

— Ну вот и я, — встал рядом с девушкой, уперся ладонями в планшир, качнулся взад-вперед. — Наверно, соскучилась уже?

— Я? По тебе? Завидная самоуверенность! — Люся смутилась и, слегка покраснев, быстро взглянула на капитана, на Фролова.

Тот, сделав озабоченный вид, перегнулся через фальшборт.

Понаблюдав, как пристраивается на место разгруженного дощаника другой, тяжело осевший под грудой бочек и мешков, и, выпрямившись, предложил:

— Пойдемте-ка, ребята, посмотрим, как кран работает.

Капитан понимающе улыбнулся Фролову, показав взглядом на Люсю и Латышева, и, мурлыча под нос «Соловей, соловей, пташечка...», не спеша направился к трюмному люку.

Латышев напряженно глядел перед собой. Ладонь его медленно скользнула по планширу, накрыла руку девушки — ее пальцы дрогнули, сделали робкую, неуверенную попытку освободиться и замерли, вцепившись в крашенный брус. Люся опустила голову, притихла и несмело, украдкой посмотрела на друга. Увидела его курносый, с крепко стиснутыми губами, с насупленными белесыми бровями профиль, и тут же всплыло перед глазами это же лицо, но в коросте ссадин, с черными ямами глазниц, с сухой серой кожей, так плотно обтянувшей череп, что на щеках бугорками проступили зубы. Впрочем, не лучше выглядели и другие узники баржи смерти, захваченной у Кучумова Мыса настолько дерзким налетом, что палачи не успели расправиться с обреченными. Многие смертники выглядели даже страшней, но этот, в синяках от побоев и пыток, со слипшимися от крови, отросшими уже в застенках волосами, казался самым несчастным, потому что был самым юным, почти мальчишкой. И так жалко его стало, что Люся — она помнит это — не удержала слезы. А у парнишечки — и это Люся помнит — дрогнули веки, стали медленно, тяжело раздвигаться, и глаза, сначала пустые, бессмысленные, стали наполняться каким-то непонятным страданием — вспомнил, видно, истязания; парнишка-смертник потянулся к ней. И потерял сознание. Это было страшно: страшно, что молодое, только-только входившее в силу юношеское тело было так изувечено, изуродовано; страшно, что, придя в себя, он не смог избавиться от недавних кошмаров; страшно, что жизнь, еле-еле угадываемая в нем, может угаснуть... Потом его увезли в лазарет, и Люся встретилась с ним только месяц назад в чоне.

— Сколько тебе было в девятнадцатом? — хмурясь, спросила она.

— Шестнадцать, — не повернув головы, отрывисто сказал он. — А что?

— Так, вспомнилось... Мне тогда было пятнадцать.

Латышев понял, что она имеет в виду какой-то определенный день года, и догадался — какой. И тоже вспомнил тот день. Крепко, почти до боли, сжал пальцы девушки.

ки... В тот день он, открыв глаза, увидел, как из кровавого марева, пропитанного болью, всплыло, словно пришедшее из дотюремных снов, синеекое заплаканное девчоночье лицо, такое измученное, сопереживающее, что захотелось тотчас же утешить, успокоить ее, и он, попытавшись улыбнуться, потянулся к ней, чтобы утереть с ее щек слезы, но снова провалился в темень. Очнувшись уже в лазарете и страшно огорчился — думал, что больше никогда не увидит заревавшей девчонки, лицо которой, чем больше проходило времени, тем, как ни странно, вспоминалось все отчетливей. И вот месяц назад он пришел в горком комсомола, потребовал, чтобы дали какое-нибудь дело, и был рекомендован инструктором во Всевобуч, где ему поручили заниматься с чоновцами строевой и огневой подготовкой. В губчека, где находился городской штаб чона, и встретил ее. Он сразу узнал девушку. И она узнала его. Обрадовались. Но тут же и растерялись, смутились, не зная, как держаться, что говорить. Поинтересовались: «Как ты?», «А как ты?» Оказалось, что все как у всех: фронты, бои, работа. Она с пятьдесят первой дивизией добивала Колчака, потом воевала под Каховкой, где все бойцы были награждены подаренными московскими рабочими красными рубашками, из которой она, Люся, после того как прорвались сквозь проволочные заграждения Турецкого вала на Перекопе, сумела выкроить только вот эту косынку; под Юшуньским укреплением была контужена, демобилизовалась и приехала в Петроград, чтобы учиться в университете... «Ого! Молодчина, хвалю!..» Но в городе не было ни родных, ни знакомых, поэтому решила вернуться в Сибирь: здесь однополчане, друзья, которые, кстати, и рекомендовали ее в Чека, в отдел по борьбе с детской беспризорностью. «А учеба? Ты решения Третьего съезда комсомола знаешь?» — «Да, да, конечно. Я учусь. Самостоятельно. А университет пока подождет — дел много. Ты-то ведь не учишься». — «Это точно, дел много», — согласился он и, чтобы уйти от этой темы, потому что решения съезда относились, конечно же, и к нему, торопливо начал рассказывать, что и он успел еще поучаствовать в боях с Колчаком, и опять в разведке; потом остался в Забайкальской дивизии Народно-революционной армии Дальневосточной республики, был ранен под Верхне-Удинском в схватке с бандитами Унгерна, снова попал в лазарет, а оттуда был откомандирован на родину для полного и окончательного восстановления здоровья... После первой

встречи они старались держаться вместе. Вместе попали и в отряд Фролова: она — медсестрой и переводчицей, он — командиром отделения.

Выпрямившись, молча — о чем говорить, когда все ясно? — стояли они у борта, вглядываясь в прошлое, пытаясь угадать будущее; стояли, не шелохнувшись, пока не услышали рядом деликатное покашливание Фролова.

Латышев вздрогнул, отдернул ладонь от руки девушки.

— Что, разгрузили уже? — спросил деловито и покраснел: глупее вопроса нельзя было и придумать, если видишь пустой дощаник, который медленно плывет вдоль борта к трапу.

— Вам, товарищ Латышев, придется задержаться в Сатарове, — строго и официально сказал Фролов. — Сейчас главное заготовка, заготовка и еще раз заготовка. А у вас это отлично получается...

— Да при чем тут я?! — пораженно округлив глаза, выкрикнул Латышев. — Это Никифора Савельевича заслуга, — виновато взглянул на Егорушку, который стоял неподалеку и с тоской смотрел на поселок. Снизил голос почти до шепота: — Никифор Савельич и торговать умел, и с остяками договориться мог. Местные знали его...

— Никифора Савельевича нет! — жестко напомнил Фролов.

Латышев опустил голову, сдержал тяжелый вздох.

— И сколько я здесь пробуду? — поинтересовался уныло.

— Постараюсь сразу же прислать опытного хозяйственника. Если же не удастся... — Фролов опять покашлял, прочищая горло. — Словом, остаетесь в Сатарове пока не прибудет смена. Начальству во Всевобуче я объясню ситуацию.

— Бондаря пришлите, — угрюмо пробурчал Латышев. — Ну и клепки можно. Лишняя не будет... Как же я со здешними жителями объясняться стану? — Недоуменно поднял плечи, задумался. И вдруг лицо его прояснилось. Заулыбался, подмигнул незаметно Люсе. — Разрешите товарищу Медведевой остаться со мной. Переводчиком.

— Нельзя! У товарища Медведевой в городе работы по горло. До свидания.

Протянул руку, прощаясь. Латышев торопливо пожал ее. Переступил с ноги на ногу, поглядел расстроено на Люсю.

— Ну вот... что поделаешь, приказ: мне — здесь; тебе — в городе.

— Я приеду, — твердо пообещала девушка. — Отпущусь через губком и приеду. Обязательно!

Фролов постарался скрыть скептическую улыбку. Поглядывая на солнце, которое сползло уже к самой кромке леса, не сильно, но настойчиво похлопал Латышева по спине, подталкивая к трапу: пора, пора, дескать. Кивнул капитану.

Тот быстро поднялся на мостик, скрылся в рубке.

Натужно взревел гудок. Сипло охнул, зашипел паром брашпиль, запостукивали зубья его шестерен; взбурлилась вода вокруг якорной цепи, и цепь медленно — звено за звеном — поползла в клюз.

Латышев скользнул в дощаник; тяжелая, широкая и длинная лодка, лениво отделившись от парохода, стала неуклюже выруливать носом к берегу. Латышев, широко раздвинув ноги, прочно стоял на корме, размахивал прощально руками. Замахали руками и ханты на берегу, и чоновцы, и Фролов с Люсей, а сильнее всех Антошка. Даже Еремей неуверенно вскинул ладонь. Только Егорушка на шевельнулся — насупился еще больше, глядя на поселок.

Гребные колеса «Советогора» шевельнулись, погрузили, как бы нехотя, плицы в воду, потом поднатужились, прибавили прыти — поплыли плавно и берег с хантами, и дощаник с гребцами и Латышевым, и поселок с красным флагом над домом деда Никифора; развернулось, осталось за спиной солнце, готовое уже скрыться за деревьями.

— Пойдем, пойдем, чего покажу, — дергая Егорушку, засуетился Антошка. Повернулся к Еремею, выкатил восторженно глаза. — Мынси, Ермейка! Алы нецынгка чиминт тахи энта вулы! * Ма-ши-на.

И, топоча голыми пятками, бросился к двери в машинное отделение. С трудом открыл ее, исчез в проеме.

— Пошли посмотрим, — Еремей потянул за руку Егорушку...

Когда Люся появилась на верхней площадке трапа машинного отделения, Екимыч уже показал ребятам свое хозяйство.

— Почаевничаем? — предложил он неуверенно, потому что какой же это к шутам чай: ни заварки, ни сахара,

* — Пойдем, Ермейка! Такое нечасто увидишь! (хант.).

один кипяток. — Или займемся динамо-машиной? — спросил у Антошки. — Может, и наладим, а то без электричества шибко худо...

— Динама! Давай, Екимыч-ики, динама! — Антошка даже запританцовывал от радости. — Чай — потом, чай — вода. Больно надо вода хлебать!..

— Я думала, они отсюда смотрят, — Люся топнула по решетке, — а они... Ну-ка быстро подниматься! Ужинать пора. И — спать!

Еремей и Егорушка переглянулись, направились нехотя к трапу — Егорушка медлил потому, что ему было все равно, где быть, куда идти, а Еремей не спешил, чтобы не делать резких движений, не тревожить занывшие опять раны.

— А тебе что, особое приглашение? — крикнула Люся Антошке. — Смотрите, какой вахтенный механик нашелся. А ну — марш в каюту!

Когда шли коридором, ребят остановил Матюхин. Сунув в руки Еремея и Егорушки кружки с кипятком, прикрытые тоненькими ломтиками хлеба, стал отмыкать дверь. Распахнул ее, гаркнул:

— Вечерний кофий, ваши благородия!

Арчев, как всегда в наброшенной на плечи шинели с поднятым воротником, поджидал чай, привалившись плечом к косяку. Оказавшись внезапно глаза в глаза с внуком Ефрема Сатарова, непроизвольно отшатнулся. Обрадовался и хотел даже улыбнуться ему, но не осмелился — глаза Еремея жестко кольнули его. Кружка в руке дрогнула, плеснула.

Матюхин принял от него и Егорушки чай, быстро сунул в руки Арчева. Тот резко обернулся к вольготно развалившемуся на постели Козырю, приказал взглядом: смотри!

Козырь недоуменно глянул за спину командира, увидел в дверном проеме любопытствующего Антошку, который сунулся было в каюту. Но Матюхин отдернул мальчишку в коридор, захлопнул дверь.

— Видел остячонка? — быстрым шепотом спросил Арчев и, когда напарник кивнул, потребовал: — Запомни его. Этот малый нам понадобится.

— Запомню, — Козырь зевнул. — Я эту рожу видел уже. Около трапа. — Взял протянутую кружку и хлеб. Покрутил ломтик, понюхал. — Ну и пайка! Самое то, чтобы копыта отбросить.

— В городе отъешься! — раздраженно оборвал Ар-

чев. Сел на свою кровать, сгорбился.— Как думаешь, не слышно будет, когда начнем пилить?..— показал взглядом на оконную решетку.

— Не бойтесь, здесь глухо, как в одиночке.— Козырь, отхлебнув кипятка, пренебрежительно сморщился.— Да и ширкать-то будем в лад этой тарахтелке. Во старается, дура! — Каюту заполнял громкий, властный, толчками наплывающий снизу и сбоку, шум машины.— Под такую музыку не только пилками баловаться, динамитом работать можно... Уйти-то мы уйдем,— протянул задумчиво.— А дальше какой расклад?

— Я же сказал, выдам тебе вознаграждение и... живи — не хочу! — рассерженно отозвался Арчев. Увидел, что партнер раздумчиво, с недоверием покосился на него, счел нужным улыбнуться.— Хороший куш отхватишь, верь слову офицера и дворянина!

Козырь сложил трубочкой губы, выпятил челюсть, поразмышлял.

— Чует мое сердце, бортанете вы меня,— он неглубоко, но сокрушенно вздохнул.— Хапнете все один и смое-тесь за кордон.

— Я? За границу? — Арчев всем видом своим изобразил возмущение.— Что я там, на чужбине, не видел? Что там оставил? Я русский! Русский патриот! Мне без России жизни нет! — И гулко постучал кулаком по груди.— Россия для меня все!

Козырь, озадаченный таким неожиданным взрывом чувств, всмотрелся в лицо командира: не дурачит ли?

— Нет, никуда я из России не поеду! — твердо заверил Арчев. И мечтательно пообещал: — Переберемся мы с тобой в центральные губернии, где нас никто не знает. Откроем свое дело. Торговый дом, например. «Арчев и Козырь»! Звучит?

— «Арчев и Шмякин», — поправил Козырь. И тут же улыбка его превратилась в желчную ухмылку.— Как же... откроем! Так и позволят нам совдепы торговать.

— Эх, Козырь, Козырь, не следишь ты за жизнью,— снисходительно посожалел Арчев, скобля ногтями щетину под подбородком.— Наступает свобода предпринимательства, свобода личной инициативы. Большевики сдались, ясно? — Запахнул в шинель, откинулся к стене. Светлые глаза его смотрели зло.— Оставили себе заводы, шахты, железные дороги — что потяжелей. А все остальное, что полегче,— деловым людям на откуп: пользуйтесь! Производите, торгуйте,— живите!

— Да слыхал я про этот нэп,— Козырь пренебрежительно поморщился.— На тупарей доверчивых рассчитано. Только раскроют фрайера свои капиталы, как комиссары их — р-раз! — и прихлопнут!

— Ну нет, коммунистам верить можно,— убежденно возразил Арчев.— Если они сказали: не тронут — значит, не тронут!.. Со временем, пожалуй, и не выдержит частник конкуренции, а пока...

Но договорить не успел. Скрежетнул замок, дверь открылась:

— Посуду! — потребовал, появившись на пороге, Матюхин и нетерпеливо поманил к себе пальцем Козыря. А когда тот, сорвавшись с постели, отдал и свою, и арчевскую кружки, пожелал с нескрываемым удовольствием: — Беспокойной вам ночи, господа! Пусть приснится трибунал! — Вытянулся на цыпочках, снял с крючка над дверью фонарь: — Отбой!

— Э, э, ты, ухарь,— Козырь попытался ухватить чоповца за руку.— Ты чего делаешь, жлоб? Порядков тюремных не знаешь? Свет — положено...

— Не лапай! — Матюхин стукнул кружками по его руке.— Свечку еще на вас, контриков, изводить?.. Вот вам свет,— показал на белое от лунного сияния окно с четкими квадратами решетки.— Спать! Отбой!

И, выйдя, громко бухнул дверь. Опять скрежетнул замок.

— Ну, гад, потолкуем на воле,— зашипел Козырь, помахивая ушибленной рукой.— Встретимся еще, тварина пролетарская!

Прошел сквозь прозрачный, косо упавший на пол лунный свет, рухнул на койку.

— Когда рванем-то? — спросил глухо.

— Надо подойти поближе к городу... Я скажу когда.— Арчев не спеша разделся, развесил аккуратно одежду на спинке кровати. Забрался под одеяло, лег на спину, уставился в потолок.

Козырь раздеваться не стал. Не поднимаясь с постели, поочередно упираясь носками в пятки, скинул со стуком сапоги, стряхнул портянки. Густой запашище разлился по каюте. Арчев заворочался, натянул до глаз одеяло.

— Не, торговый дом мне не в жилу,— решил вдруг Козырь.— Приказчики воровать начнут, надо будет морды кулаком полировать — хлопотно, морока. Вот портерную я бы купил. Самую шикарную. Портерная — фарто-

вое, козырное дело. Пиво рекой, раки, соленый горошек, сухарики, вобла, бильярдная. Накурено не впрокорот. Мамзели крашенные, расфуфыренные хихикают, повизгивают, к клиентам липнут: «Красавчик, поднеси лафитику». А в задней, потаенной от сыскарей, комнатуле...— Козырь аж застонал от удовольствия.— А в задней каморочке— для души: буби-черви, пики-трефы. Хочешь— в шестьдесят шесть или в двадцать одно, хочешь— в вист или покер. Ах ты, мать моя старушка, жизнь— малина, я садовник... Красота!

— Будет, будет тебе портерная,— негромко пробубнил Арчев.

Козырь закрыл глаза, протянул нараспев:

— А назову я свое заведение «Пиковая Дама»!

— Назови лучше «Сорни Най»,— сонно, еле слышно, посоветовал Арчев.

— Чего, чего?— удивился Козырь. Приподнял голову от подушки.— Сор ни... чего? Какой сор?

— Это я так, к слову,— дернувшись, словно очнувшись, недовольно отозвался Арчев. Помолчал, но понял, что напарник ждет разъяснений:— Помнишь, в девятнадцатом был у нас в отряде остячишка Спирька? Проводник. Так вот он даму пик называл «сорни най».

— Спирька... Спирька...— Козырь задумался.— А, вспомнил! Этот охламон завел нас еще в какую-то глухомань, где старые шаманские амбары стояли.— Он опять опустил голову на подушку.— Сорни най... сорни най... Точно, частенько Спирька так бормотал. Только что это значит, а?— Повернул лицо к Арчеву.— Может, сорни най— ругательство остяцкое, может, похабщина ихняя? А я— вот так фунт!— матюги нерусские на вывеске и напишу! Не вляпаться бы с этим названием, Евгений Дмитрич, а?

Но Арчев не отозвался. Он тихохонько и мирно посапывал, наблюдая сквозь прищур за Козырем.

8

Еремей сразу, словно и не спал вовсе, открыл глаза. Увидел неумело заправленные койку и русскую лежанку-диван— значит, Антошка давно встал, убежал к Екимычу и Егорку с собой увел. Посмотрел на окно: солнце поднялось уже высоко. Оно белым квадратом лежало на стене, лучисто играло на копье, на ободке щита, на гребне шапки Им Вал Эби.

Еремей нахмурился: вспомнил, как гаркнул вечером на Егорку, когда тот без уважения взял дочь Нум Торыма за голову, чтобы посмотреть — не пустая ли внутри? — и чуть не выронил: литая, сплошная фигурка была тяжелой. Сейчас Еремею стало не по себе от того, что кричал на внука Никифора-ики. Ничего бы с Им Вал Эви не случилось, она простила бы русики за непочтительность, она умная, добрая, понимает, что у Егорки горе, и только порадовалась, наверно, что впервые за весь вчерашний день у белоголового человечка из чужого племени ожили глаза, появилась улыбка — оттого, что он, одинокий, маленький русики увидел ее, Им Вал Эви.

Еремей повернулся на бок. Спина заныла, но не так игольчато-остро, как вчера, когда Люся меняла повязки.

Вчера Еремей крепился. Как тяжело ему было, как замирало сердце, когда его горячими струями обтекала боль, но виду не показывал — выпил, не торопясь, вместе со всеми в большой комнате кружку чая, съел, как и все, тоненький ломтик русского, ноздреватого хлеба; не торопясь, прошел в свою каюту, снял черный сак Люси, стянул гимнастерку. В голове звенело так, будто в самое ухо влетел огромный комар. Люся ахнула, увидев спину, властно уложила его в постель, срезала сдвоенными ножичками с кольцами, куда суют пальцы, бинты. Потом она и суетившийся рядом Антошка смазали спину чем-то приятно-прохладным, отчего разлился по телу усыпляющий, убаюкивающий покой. Еремей полуприкрыл веки. И вот тут-то Егорка, который, как только увидел Им Вал Эви, не спускал с нее глаз, взял фигурку. Сжал в пятерне, приподнял ее, развернул ногами кверху. И Еремей резко крикнул: «Не бери! Нельзя!»

Он смущенно поглядел на дочь Нум Торыма и тут же отвел глаза — показалось, что серебряная богиня смотрит на него недовольно и сурово. Казнясь, подумал, что огорчил ее, что дедушка им, Еремейкой, был бы недоволен за обиду, нанесенную Егорке, вспомнил и возмущенное лицо Люси, когда рывкнул на внука Никифора-ики, — вот и Люсю огорчил, а ведь она хорошая, настоящая сестра из рода пупи, и Фролов хороший, и сердитый Матюхин хороший, и Екимыч хороший — все эти русики хорошие, а значит, и в городе, пока придется там жить, будет, может, не так страшно и тяжело. И он попытался вообразить свою жизнь в городе, но ничего не получилось — слишком уж непредставимым, неведомым было

все, что ждало впереди. Это неведомое тревожило, пугало даже, хотя и манило новизной. И все-таки страшно — будет все чужое, все непривычное.

С этими тревожными мыслями он и заснул. А когда проснулся, увидел на табурете, который стоял возле изголовья, свои штаны, выстиранные, какие-то непривычно гладенькие, без складок и морщин. Сверху аккуратно толстым квадратом лежал такой же, как у капитана, китель, только серый от старости и стирок; на нем белая, с легкой желтизной, пахнущая мылом, рубаша.

Еремей не удивился — ведь его малицу и ернас пришлось выбросить, вот русики и отдали свое, что же тут особенного? Почти без мучений оделся — все оказалось немного великоватым, просторным; обулся — нашел под стулом свои нырики. Достал из-под подушки дедушкин ремень, туго застегнул его на животе, привычно поправил кацин и нож, чтобы были под рукой. И вышел.

Молоденький часовой, в таком же, как у Еремея, кителе, только зеленом, одиноко и лениво расхаживающий по коридору, поднял голову. На отрывистое: «Где Антошка с Егоркой? Не видел?» — махнул рукой в сторону выхода: «Туда, вроде, ушли», а на вопрос: «Где Люся?» — показал глазами на дверь, за которой слышались голоса. Здесь Еремей уже был вчера — чай пил вечером. Решительно дернул ручку, прочитав сначала на табличке — «кают-компания».

Плотно сдвинутые столы, за ними бойцы, сосредоточенные, серьезные; Люся стоит у стены, на которой черный квадрат с полустертыми белыми буквами. Сестра из рода пупи уверенно объясняла что-то, взмахивая ладонью. Оглянулась на дверь — рука замерла, брови удивленно поползли вверх — покачала неодобрительно головой. Погрозила Еремее пальцем, и кивком, взглядом показала, чтобы входил, сел и не мешал, а сама, лишь на мгновение смолкнув, продолжала напористо:

— Новая экономическая политика, или сокращенно нэп, — вовсе не поражение, а перегруппировка сил. Да, декретами Вэсээнха от пятого и седьмого июля разрешено сдавать в концессии некоторые предприятия и организовывать новые со смешанным и даже чисто частным капиталом. Но партия и рабоче-крестьянская власть оставили за собой ключевые, командные высоты экономики: тяжелую промышленность, транспорт, внешнюю торговлю...

Еремей бесшумно прошел в дальний конец кают-ком-

пании, где бойцы, не отрывая глаз от Люси, потеснились, уступая краешек скамьи. На мальчика посмотрели мельком и рассеянно — все внимание рассказу Люси.

— Когда страна выйдет из разрухи, основные, ведущие отрасли хозяйства, которые остались в руках и под контролем государства, позволят развернуть успешное наступление на частного во имя победы социализма. И победа эта будет скорая, полная и окончательная. Частник не выдержит соревнования с государственными предприятиями. Они, имея мощную сырьевую базу, мощную технику, станки, оборудование, будут производить товаров больше, лучше, дешевле. И тогда частник — что?..

— Разорится! — убежденно рявкнул здоровяк рядом с Еремеем и бухнул кулаком по столу. — По миру пойдет частник!

— Вот именно, — Люся улыбнулась. И поспешила уточнить: — Хотя по миру он, если не дурак, не пойдет. Его предприятие вольется в государственный сектор, а сам он пополнит ряды рабочего класса.

— И тогда не будет доходов несправедливых, — здоровяк опять стукнул кулаком по столу. — Каждый будет получать по труду. — Оглядел уверенно всех за столом. — Верно я мыслю, товарищ Медведева?.. А то обидно, если одни будут работать и жить на жалованье, а спекулянты разные, не работая, жиреть начнут. Лучше рабочего человека станут жить. Для них, что ли, революцию делали?

— Не будет этого, не будет! — Люся так решительно тряхнула головой, что волосы взметнулись светлым, золотистым облаком. — Никогда не будет, чтобы при социализме какие-нибудь прохиндеи, тунеядцы, ловкачи жирели, бездельничая. — Она даже зажмурилась от негодования. И опять широко раскрыла ясные, синие глаза. — Только люди труда есть и будут хозяевами жизни. Все лучшее — человеку труда! Кто не работает — тот да не ест!

— Я вот что хочу спросить, — раздувая ноздри, пронзительно выкрикнул бледный от волнения парнишка. — Когда же наконец начнется мировая революция? — Он смотрел сурово, требовательно. — Чего европейский пролетариат копается? Сколь ждать-то можно? Надо бы нам двинуть туда, помочь.

Люся быстро начала объяснять... Еремей слушал ее, хотя и не понимал ничего. Но он горделиво поглядывал на бойцов, которые внимали Люсе, почти затаив дыха-

ние, и сдержанно, самодовольно улыбался: вот такая уменная у него старшая сестра!

— Встать! Смирно! — выкрикнула вдруг Люся и, когда бойцы вскочили, повернулась к двери, в которой стояли Фролов, капитан и Матюхин. — Товарищ командир...

— Вольно, вольно, — Фролов вскинул руку, прерывая доклад. Снял фуражку, нацепил на крюк вешалки у двери. Пригладил ладонью волосы. — Сколько в расходе? — поинтересовался у Матюхина.

— Двадцать один арестованный, двое часовых, трое в лазарете, трое в кухонном наряде, двое в кочегарке, — выпятив квадратную грудь и вскинув подбородок, бойко доложил Матюхин. — А также штурвальный и машинист с масленщиком. — Увидел удивленные глаза командира, пояснил: — Масленщик — остяцкий мальчик Антон. Зачислен на вахту по просьбе Екимыча.

— Понятно. После обеда все, кроме группы ликбеза, на хозработы. В распоряжение Виталия Викентьевича, — Фролов кивнул на капитана и, сдержанно улыбаясь, направился к Еремею.

— Добрый день, сынок. Совсем, гляжу, окреп, — Фролов, усаживаясь рядом с Еремеем, смущенно кашлянул. — Я заходил к тебе, ты спал по-богатырски. Значит, самое страшное позади...

Но Еремей не слушал его. Он, пораженный, наблюдал за Егоркой, который в белой, сбившейся волной на ухо шапочке, в белой куртке вынырнул из маленькой двери, откуда вчера выносили чай, и выкладывал перед бойцами из таза деревянные, потертые, обкусанные, или тускло-белые, металлические, ложки.

Приблизившись к Еремеем и кинув к его руке ложку — самую большую и самую блестящую, — Егорушка буркнул, перехватив удивленный взгляд друга:

— Чего пялишься?.. Мы непривыкшие задарма есть. Отрабатывать надо...

— Ах ты... лукавый твой язык! — Люся, которая шла вслед за ним, подавая бойцам по небольшому кусочку черного хлеба, принужденно засмеялась, испуганно взглянув на Еремея: не принял бы тот слова Егорушки на свой счет. — Неужто ты нас объел бы?

— Самостоятельный мужчина, — уважительно произнес здоровяк рядом с Еремеем. — Свою гордость имеет. Трудящийся человек!

— Такую высокую сознательность можно только приветствовать. — Фролов ободряюще подмигнул слегка по-

красневшему от похвал Егорушке, не сообразив, видимо, как и Люся, что Еремей может воспринять это как намек, уточнил внушительно: — У нас не работают только раненые.

Повернулся к Еремею, положил свою горбушку вплотную к его кусочку. Еремей хотел отодвинуть дар, но Фролов удержал руку мальчика:

— Нет, нет, оставь себе. Я здоровый, а ты раненый. Тебе надо скорей поправляться, сил надо набираться.

Еремей, уставясь в стол, поразмышлял. И кивнул, соглашаясь.

— Опять этот суп-кондей,— громко вздохнул Матюхин. Он черпал из большого бачка мутную белесоватую жижицу, разливал ее по мискам, которые тут же уползали, из рук в руки, к дальнему концу стола.— Полный пароход еды, а себя морим! — В голосе Матюхина слышалось возмущение.— Неужто нельзя хоть одну бочку открыть, хоть одну рыбину взять?

Пальцы Фролова, поглаживавшие руку Еремея, рывком сжались.

— Отдайте поварешку соседу, Матюхин,— негромко, но властно потребовал Фролов.— Делите суп, Варнаков! — приказал, когда парнишка с суровыми глазами, интересовавшийся мировой революцией, принял черпак.— А вы, Матюхин, смотрите сюда,— показал на плакат с надписью «Помоги!», где из непроглядного мрака бежал страшный жилистый старик, умоляюще и требовательно вскинувший руки.— Смотрите и рассказывайте о текущем моменте.

— Да я так, товарищ командир...— Матюхин опустил голову.— Ляпнул, не подумавши.

— Подними глаза! — повысил голос Фролов.— И рассказывай!

Стало тихо.

— На текущий момент положение в республике очень тяжелое,— начал Матюхин, с натугой выдавливая слова. Лицо его, широкое, скуластое, обычно дерзкое, стало виновато-хмурым, покрылось, как росой, потом.— Почти все заводы и фабрики не работают. Паровозы и вагоны поломаны, рельсы раскурочены, все пути заросли лебедой. В городах нет ни угля, ни дров. На улицах тьматьмущая беспризорников. Холод, болезни, обувь-одеть нечего. Одно слово — разруха!.. Ну понял я, товарищ командир! — Умоляюще посмотрел на Фролова, но, увидев его лицо, торопливо отвел взгляд.— А самая большая бе-

да — голод... В газетах каждый день сообщают о борьбе с голодом, о пожертвованиях в пользу голодающих... Простите меня, товарищ командир.

— Рассказывай! — жестко потребовал Фролов.

— В Москве, в Петрограде оплату служащим производят натуральными продуктами: овсом, жмыхом, воблой — по горсточке, по две-три рыбки в день. На рабочую карточку выдают полфунта хлеба...

— Полфунта! Два таких кусочка! — Фролов схватил горбушку, взметнул ее над головой. — В день! В сутки!

Еремей, не мигая глядевший в бесшумно и осторожно подставленную здоровяком-соседом миску, где слабо колыхалась, успокаиваясь, белая водица с редкими крупинками разваренных зерен, поднял изучающие глаза на Матюхина. До этого глядеть на него не мог — было жаль парня и почему-то неловко за него: догадался Еремей, что сказал тот что-то неприятно удивившее, даже поразившее его товарищей, и лишь выслушав рассказ, понял, что именно сделало осуждающими лица и Люси, и бойцов, которые смотрели на Матюхина без сочувствия, понял — где-то далеко отсюда у людей беда, где-то далеко отсюда тяжело и страшно. До фабрик, заводов, паровозов и вагонов Еремею дела не было — он их не видел, не знает: не работают, ну и пусть не работают, — но вот что такое голод, знал. И представил большие русские стойбища, такие, как Сатарово, и даже больше, где лежат сонные, вялые старики и старухи, дети со вздувшимися животами, где теньями бродят, пошатываясь, худые, изможденные мужчины и женщины, и стало так жалко их, неведомых, незнакомых, что пришлось наклониться еще ниже, чтобы не показать своего волнения.

— Полфунта на двадцать четыре часа! — кривя губы, продолжал чеканить Фролов. — Работающему. Устающему. Которому надо еще и детей, и мать, и жену кормить, если мать и жена не работают. А они наверняка не работают — негде! — Опустил руку, бережно положил краюшку рядом с хлебом Еремея. — Снимите повязку, Матюхин, и отдайте Варнакову. Заступите в кухонный наряд. Мне не нравится ваш эгоизм.

Матюхин, болезненно сморщившись, стянул с рукава красную ленту. Сунул ее чуть ли не в лицо Варнакову и, громыхнув стулом, затопал к двери.

— Отставить! — приказал Фролов. — Сначала пообедайте. Нам не нужны истощенные бойцы. — Замер, занеся над миской ложку, не глядя на Матюхина, но прислу-

шиваясь, как тот шумно усаживается на место.— Это касается и тебя! — Фролов искоса посмотрел на Еремея, который, уткнув палец в горбушку, отталкивал ее от себя короткими тычками.— Ты тоже должен быть в форме. Поэтому — ешь. И без фокусов.

Молча, в тишине, выхлебали бойцы жиденский супец; молча съели по черпаку каши — разваренных ячменных зерен, слабенько поблескивающих желтым от еле ощутимого намека на конопляное масло; молча выпили кипятка, густо отдающий смородиновым листом.

В «каюте стюардов» тоже кончили обедать.

— Вот, псы, что творят! — Козырь, вылизав чашку, отшвырнул ее в изножье кровати.— Сами небось осетрину трескают, икру горстями жрут, а нас баландой, зерном, как курочек, кормят.

— Чего ж ты хочешь! — Арчев снисходительно дернул плечом.— Мы — классовые враги, к тому же — арестанты.

— Так оно,— согласился Козырь.— И фофану ясно, что тюремная пайка — не тещино угощение. Но ведь такое-то потчево... Враз доходягой станешь! — Он выгнул грудь, постучал по ней кулаком.— Эх, если б знали вы, Евгений Дмитрич, сколько жратвы эта чекистская кодла наготовила! Видели мы с горы-то... Вот пируют сейчас пролетарии, дорвались до бесплатного! — Шумно прихлебывая, завистливо жмурясь, выпил смородиновый чай. Кинул кружку в чашку, упал на спину, забросил на одеяло ноги и вдруг дурашливо запел-заорал: — Теперь я в допре отдыхаю и на потолок плеваю, жрать, курить и пить у меня есть. Сидеть мне в допре не обидно, ну а если вам завидно, можете прийти и тоже сесть...

Дверь резко открылась.

На пороге вырос белый от ненависти Варнаков, из-за плеча которого посматривал напуганно-настороженный часовой.

— Если еще раз увижу, что лежите в сапогах, отберу постель,— прошипел Варнаков.— Совсем, что ли, оскотинились?

— Ладно, начальник, не сердись,— Козырь поднялся с кровати. Собрал посуду, подошел к двери.— Пустите свежего воздуху глотнуть! — И хотел выглянуть в коридор, но маленький, шуплый Варнаков с такой злобой уставился ему в глаза, что Козырь попятился, натянуто заулыбался.— Парашу-то хоть разрешите вынести...

— Все по распорядку: и свежий воздух, и параша! — рывкнул Варнаков.

Захлопнул дверь, передал посуду Егорушке, который, деловито топая, унес ее в камбуз. А Варнаков подождал, пока часовой закроет замок, и бегом поднялся на палубу, откуда рвался хохот, визг, вопли.

Молодые чоновцы гонялись друг за другом, дурачась, уворачиваясь, семеня босыми ногами на мокрых досках. Вздвигались в воздухе мокрые тряпки, с которых мелкой радужной пылью срывалась вода; мелькали белые и загорелые, мускулистые и худые руки; притворно хмурились, стараясь скрыть улыбки, чоновцы постарше, широкими швабрами разгонявшие по палубе воду; изумленно-весело паялился Еремей на совсем еще недавно таких строгих и серьезных бойцов.

— Прекратить безобразие! — крикнул Варнаков, но пробежавший мимо боец окатил его из ведра, и он задохнулся, вытаращив глаза, а когда, хватанув воздух, очухался, то неожиданно для себя рассмеялся.

И вдруг — резкий вскрик: кто-то на бегу толкнул Еремея в спину, и тот, изогнувшись, оскалившись от боли, упал на колени, потом на бок. Бойцы, еще сохраняя на лицах беззаботное ухарство, резко остановились, оглянулись; ближние от Еремея уже метнулись к нему, подхватили под руки. Мальчик мотал головой, сдавленно мычал, чтобы не застонать. Согнувшегося в поясице, его осторожно подвели к двери кают-компаний. Постучали. Люся, с мелом в руке, вышла недовольная, но, увидев Еремея, ойкнула, крикнула в дверь: «Занятия окончены!» — и бросилась в каюту мальчиков...

Когда закончила перевязку и Еремей закрыл глаза, задышал ровно и сонно, Люся тихонько вышла в коридор.

Поднялась на палубу. Доски были уже насухо протерты, блестели чисто, свежо. Чоновцы ушли, остались только два матроса, которые протирали лебедку, не обращая внимания ни на пленных, с заложенными за спину руками уныло вышагивавших кругами по корме, ни на караульных. Работали матросы рьяно — старались перед капитаном. Тот негромко напевал, одобрительно шурился, наблюдая за подчиненными и, видимо, довольный их рвением.

От реки тянуло сыростью, прохладой, но солнце, хоть и спустившееся к лесу, было еще доброе, по-летнему теплое: Подставляя лицо его лучам, Люся подошла к борту

и, чтобы не видеть настороженных, колючих глаз Арчева, наглой рожой Козыря, сомкнула неплотно веки.

— Росиньель, росиньель, ожурдюви,— негромко, но отчетливо мурлыкал капитан,— ле канарие шант си трист, си трист. Апре лесиньяль де ротрет ле канарис шант си трист, си трист...*

— Что это за импровизация? — фыркнула Люся, наблюдая сквозь ресницы, как переливается, лучится золотистое марево.— Почему у вас сегодня канарейка жалобно поет после отбоя?

Она нехотя открыла глаза, тускло посмотрела на капитана. Тот вздрогнул, обернулся. На полном лице его на миг показался испуг, но тут же оно стало привычным — безмятежно-добродушным.

— Про канарейку спрашивали? — Лукаво склонил голову набок, мелко рассмеялся.— Не обращайтесь внимания, голубушка. Я, как инородец, собираю все, что в голову лезет. Одно французское слово цепляет другое... вот и выложил весь свой запас.— Раскинул руки, вздохнул восхищенно.— Благодать-то какая! Редкостное бабье лето!

— Да, погода стоит удивительная,— согласилась Люся, опять всматриваясь в золотистое марево, откуда выплывало, приближаясь, худое, растеряннo-восхищенное и оттого казавшееся почти детским лицо Андрея Латышева...

— Заканчивайте прогулку! Все по камерам — марш, марш!

Люся открыла глаза. Варнаков, появившись в двери машинного отделения, отмахивал рукой влево и вправо: одним — сюда, другим — туда!

— Ну, пора и мне,— капитан с явным сожалением посмотрел на солнце.— Надо выспаться перед вахтой... До свидания, до встречи утром, дорогая Люция Ивановна!

Вскинул два пальца к козырьку фуражки и вальяжно, неторопливо двинулся вслед за Арчевым и Козырем.

Те уже спустились в коридор. Вошли в свою каюту. Как только закрылась дверь и слабо скрежетнул ключ в замке, Арчев, прислушавшись, метнулся к своей кровати. Отогнул тюфяк, разорвал надпоротый шов. Достал обмотанные лоскутом пилки, сунул их Козырю и, прижав палец к губам, показал взглядом на решетку.

* — Соловей, соловей сегодня... канарейка очень жалобно поет. После отбоя канарейка очень жалобно поет (франц.).

Козырь коротко кивнул, лизнул посеревшие губы. Прошипел:

— На шухер встань!

Подскочил к окну, сорвал с пилки тряпицу, суетливо разостлал ее на полу. Быстренько перекрестился. Жуткими и веселыми глазами поглядел на Арчева. Тот, прижавшись ухом к двери, махнул рукой.

Козырь провел без нажима пилкой по пруту решетки — визжаще запело железо. Арчев страдальчески сморщился, дернулся было к напарнику, но удержался, только плотней прижался ухом к двери. Козырь оглянулся, подмигнул дерзко и заширкал посмелей, поуверенней — терзающий ухо стон металла перешел в ровное, однообразное поскрипывание, которое все учащалось и учащалось. И вдруг смолкло. Козырь, не оборачиваясь, взметнул один палец. Сунул руку в карман, цапнул комок хлебного мякиша. Потискал его, отщипнул крохотку, замазал распил, пригладил, заровнял. И снова взвизгнула пилка, и снова Арчев скривился, оцепенев. И снова визг перешел в размеренное, все учащающееся низкое посвистывание металла, еле слышное за привычным, а оттого не замечаемым, но сейчас казавшимся очень громким пыхтением машины...

Когда Варнаков принес вечерний чай, пленники сонно полулежали на постелях. Вскочили, торопливо и жадно выпили кипятка, вернули без лишних разговоров кружки.

Через час Варнаков сменил часового у каюты. Открыли дверь, заглянули, сдавая-принимая пост.

Арестованные разбирали на ночь постели. Бывший офицерик выпрямился, растянул за углы одеяло, подергал его, расправляя. На вошедших посмотрел равнодушно. Второй пленный — мазурик с ухватками конокрада, согнувшись, разравнивал тычками ладони бугры на тюфяке. Скосил глаза на караул, заулыбался.

— Ну и перину вы подсунули, братва! Сплю, как на пленнице. Все бока — точно лягаши попинали...

— В тюрьме на нарах отоспишься, — пробубнил сквозь сдерживаемую зевоту новый часовой. — А потом — вечный покой...

Он скучающе вытянул руку, снял с наддверья фонарь, протянул Варнакову.

— Отбой! — приказал тот и первым вышел из каюты.

На палубе Варнаков чуть не налетел на капитана. Тот, опустив голову, стоял глубоко задумавшись. Ока-

завшись нос к носу с разводящим, качнулся назад и даже руки слабо вскинул, словно защищая лицо.

— О черт, напугали как...— Капитан облегченно усмехнулся.— Я, понимаете ли, размечтался, в эмпиреях витаю, а тут — вы. Аки тати в ночи,— глянул пытливо на Варнакова, на бойца за его спиной.— Смена караула? Похвально: все по уставу, все по распорядку.— И, перехватывая поручень, бодро избежал по трапу — только каблучки гулко запостукивали по железным ступеням.

Но на мостике капитан опять задумался и даже остановился перед дверью в рубку. Потом раздраженно мотнул головой, вошел.

Штурвальный, на миг повернув голову, доложил:

— Все в порядке. И курс, и ход.

— Ну и слава богу... Не отвлекайся,— капитан многозначительно поджал губы.— Скоро Кучумов Мыс. Гляди в оба.

— Знаю,— штурвальный тоже поджал губы.— Мель на мели.

— То-то...— капитан искоса глянул на него, потом на компас. Посмотрел, слегка пригнувшись, на низкий берег слева, темной полосой разделявший белую от лунных переливов реку и светлое еще небо. Поднял глаза на круглые часы над штурманским столом.

— Однако уже отбой. Наверно, и смену караулов произвели... Пойду посмотрю, все ли в порядке.

На мостике капитан промокнул платком шею. Шагнул к перилам, посмотрел на корму. Отшатнулся. Прижимаясь спиной к стенке, бочком, на носочках, бесшумно сбегал по трапу; затаился в проеме двери. Опять осторожно выглянул, отыскивая взглядом часового. Тот, отвернувшись, собирался закурить.

Капитан присел и, разинув, точно в беззвучном вопле, рот, выметнулся из-за укрытия. На цыпочках, длинными прыжками подскочил к часовому и, пока тот разворачивался на шум, ударил его сдвоенными кулаками под затылок.

Боец, не вскрикнув, повалился — капитан подхватил его, опустил на палубу. Приседая на согнутых ногах, кинулся к темному окну. Стукнул согнутым пальцем в стекло, прижался к нему лицом.

Козырь, не отрывавший взгляда от окна, вскочил с койки. Вцепившись в решетку, яростно дернул за прутья. Хрустнули чуть-чуть недопиленные стержни. Пока Арчев укладывал решетку на постель, Козырь крутанул медный

барашек защелки, потянул застекленную створку, медленно, осторожно. Открыл — не скрипнуло, не скрежетнуло.

Наружу высочили мгновенно — словно каюта выплнула арестованных.

Около лежащего неподвижно часового Козырь остановился. Наклонился, сдернул с плеча чоновца винтовку — рука бойца безжизненно упала, стукнувшись о доски.

— А эти?.. — Козырь ухватил Арчева за шинель, мотнул головой в сторону кубрика.

— Ну их к черту! — Арчев дернулся, зашипел, выкатив бешеные глаза. — Пусти! Время теряем!

В два прыжка он оказался у борта. Всплеснув полый шинели, прыгнул в шлюпку, где, вцепившись в протянувшийся от шлюпбалки линь, пританцовывал в нетерпеливом ожидании капитан. И сразу линь обвис — капитан плюхнулся на скамью, схватился за весла. Шлюпка дернулась от парохода и едва не перевернулась — Козырь мешком свалился на Арчева, чуть не промахнулся, потянул командира за борт, — но бурун, отбрасываемый колесом парохода, ударил в шлюпку, удержал ее на плаву, выправил.

«Советогор» темной и казавшейся снизу безобразно огромной тушей быстро удалялся, бодренько лопоча плечами, простреливая росчерками искр вязкий дым, слабо подсвеченный над трубой бледно-красным сиянием. Капитан, не отрывая перепуганных глаз от своего парохода, ударил пяткой по голове барахтающегося у ног Козыря. Тот вскинулся было, но шлюпка широко, размашисто качнулась, зачерпнув воду.

— Без меня, паскуда, удрать хотел?! — Козырь потянулся скрюченными пальцами к горлу капитана. — Ах ты, шура копеечная...

Арчев рывком развернул его за бедра, толкнул на скамью.

— Греб! Потом разберемся! — вцепившись в борта, вполз задом на кормовую скамью. И когда весла дружно взметнулись, когда говорливо зажурчала вдоль бортов вода, а берег стал рывками приближаться, он сдавленно, неумело засмеялся. — Славно мы сработали. — Посмотрел весело на капитана. — Спасибо, Виталий Викентьевич, за пилки, за охранника... — И когда капитан робко, с испугом кивнул, принимая благодарность, поинтересовался с легкой издевкой: — А признайтесь, очень

вы испугались, когда я сказал, что не один к стенке встану? Или была надеждочка, что не выдам?

— Я в любом случае.. помог бы вам... Евгений Дмитрич... бежать,— тяжело дыща, заверил капитан.— Потому что... знаю... про Сорни Най.

Козырь сделал сбой веслом, взглянул удивленно на капитана, потом — раздумчиво — на Арчева, который все еще улыбался, но улыбка была нехорошей, хищной, а прищуренные глаза смотрели недобро, с угрозой. Капитан не выдержал этого взгляда, оглянулся назад — далеко ли берег? — беспокойно заерзал.

— А испугался я... по-настоящему испугался... когда узнал, что девчонка, слышавшая мой «росиньель»... знает французский.— Натянуто засмеялся, но в лицо Арчеву посмотреть так и не решился.— И еще испугался... когда... надо было... нейтрализовать часового... Думал, не справлюсь... не сумею.

— Сумел,— Козырь сплюнул за борт.— Ухойдакал ты его, боцман. Снял с довольствия подчистую...

Но часовой остался жив. Он застонал, с трудом открыл глаза, увидел перед носом белые от лунного света доски палубы. Ничего не понял — где он, что с ним? Хотел повернуть лицо и охнул: от затылка в лоб остро ударила боль. Часовой медленно поднял голову и ахнул — квадратной дырой зияло, не поблескивая стеклом, окно каюты. Не обращая уже внимания на боль, боец тяжело встал — а ему показалось: вскочил! — проковылял, пошатываясь, к окну. Осторожно протянул руку — она ушла внутрь каюты, а дернувшись в сторону, наткнулась на пеньки спиленных железных прутьев. Часовой вцепился в раму, просунул голову внутрь и, скривившись, заплакал — горько, злобно, отчаянно.

— Тревога-а! Тревога-а!.. Побег!

Дверь в каюте распахнулась, появился на миг тот, кто охранял в коридоре — часовой не узнал его, — и исчез. По ту сторону двери беспорядочно забухало множество ног, в каюту беспрестанно заглядывали; затопали и сзади — справа, слева. Кто-то обхватил часового, выдернул из окна. Уже затуманенно он увидел — лица, лица, мелькающие, приближающиеся, исчезающие; среди них пострашневшее, почерневшее — товарища Фролова, белое с синими пятнышками глаз — товарища Медведевой, красное, лютное — Варнакова...

— В карцер! — Фролов ткнул маузером в окно. — Вот сюда!

— Сначала в лазарет! — Люся упала на колени перед часовым, приподняла его веки; блеснули белки закатившихся глаз. — Несите, товарищи, несите. Быстрой!

— Хорошо. Но потом — под арест! — Фролов быстро взглянул в сторону кубрика, около открытой двери которого сгрудились чоновцы; развернулся, бросился к трапу, взлетел длинными скачками на мостик.

— Стоп машину! — крикнул с порога штурвальному.

— Без капитана не имею права! — удивленно и испуганно оглянувшись, сказал тот. — Что там за шум?

— Нет, нет твоего капитана. Сбежал, каналья. — Фролов, ткнув дулом маузера снизу в козырек своей фуражки, сбил ее на затылок. — Ну, чего ждешь?

— Сбежа-а-ал? Вот это да! — поразился штурвальный и чуть было не выпустил от удивления рогульки колеса, но спохватился, вцепился в них еще крепче. — Командуйте тогда... — кивнул на переговорную трубу. — Только... Я так понял: возвратиться хотите? — Он покосился на Фролова. — Предупреждаю сразу: судно назад не поведу.

— Эт-то еще почему? — грозно выпрямился склонившийся к раструбу Фролов. — Саботаж? В сговоре с капитаном, что ли?

— Не развернуться мне, — штурвальный виновато вздохнул. — Фарватер хитрый, петляет. Мели, опять же. Одно слово: Кучумов Мыс, — повел рукой влево и опять огорченно, тяжело вздохнул. — Ни в какую не развернуться.

— Кучумов Мыс? — Фролов, подавшись к стеклу, вгляделся в длинную косу, которая, встопорщившись соснами, вдавалась далеко в реку. — Но ведь этот негодяй сказал мне, что пройдем Кучумов Мыс только утром.

Штурвальный лишь хмыкнул. Фролов прижал ствол маузера нижнюю губу, покусал ее.

— Черт, не хватало еще на мель сесть, — и виновато взглянул на штурвального. — Извините, накричал на вас. Сорвался. Ведь этот прохвост-капитан не один ушел. Помог сбежать Арчеву и Шмякину. Особо опасным.

— Ну, тогда их нечего и искать в лесу, — присвистнув, уверенно заявил штурвальный. — Одного Виталий Викентьевича еще куда ни шло. Человек он городской, изнеженный, пугливый, а эти... Бесполезное дело!

— Где мы находились, когда вы в последний раз видели капитана? — хмуро поинтересовался Фролов, всовывая маузер в кобуру.

— Вот здесь, — штурвальный, поглядывая то перед собой, то на карту-лоцию, лежащую на столике, ткнул в нее пальцем. Пояснил склонившемуся к карте Фролову: — Он ловко задумал. Через этот вот перешеек — и в город. К утру там будут. А мы — только к полудню, да и то если...

— Вы уж постарайтесь, пожалуйста, — попросил Фролов. — Сами понимаете: чем быстрее, тем лучше.

Дернул за козырек, нахлобучивая на лоб фуражку. Глубоко всунул руки в карман тужурки и, стиснув зубы, задумался, припоминая все, что знал о капитане: либерал, кадет, сторонник Учредительного собрания, однако во время Директории от общественной деятельности отошел, а во времена колчаковщины вышел из партии — в знак протеста, как объяснил потом, против политики кадетов, организовавших переворот во имя диктатуры адмирала. В белой армии не служил — говорил, по убеждению, но... кто его знает, как увильнул, но не служил — это установлено. Впрочем, не служил и в Красной Армии, так как после освобождения Западной Сибири попросился в губревком и был направлен на восстановление речтранспорта. В эсеровско-кулацком мятеже не участвовал, хотя... да нет, мало ли у кого какие знакомые — город небольшой, люди одного круга приятельствуют, на чай, на балычок, в картишки перекинуться друг к другу ходят, трудно избежать компрометирующих знакомств — во всяком случае, в «Союзе трудового крестьянства» не состоял, в воинских подразделениях, а тем более в бандах боевиков не был. Есть, правда, пунктик — доводится капитан то ли племянником, то ли еще каким-то дальним родственником бывшему купцу-миллионщику Астахову, но мало ли кто чей родственник. Даже сын за отца не в ответе, а тут — седьмая вода на киселе...

— Товарищ командир, прошу наказать меня, — раздалось за спиной.

Фролов обернулся. В дверях рубки стояла Люся — вытянулась по стойке «смирно».

— Как Пахомов? Что с ним? — сухо спросил Фролов.

— Я его вывела из шока. Сделала укол. Видимо, сотрясение мозга, — Люся подняла глаза, повторила настойчиво: — Прошу меня наказать, — и, увидев непонима-

ние, вопрос на лице командира, объяснила осевшим голосом: — Я слышала, как капитан сообщил Арчеву о времени побега. — Помолчала, добавила с горечью, но без малейшей попытки оправдаться: — Правда, догадалась об этом только несколько минут назад.

Фролов молчал, пытал взглядом. Штурвальный раз, другой посмотрел через плечо на девушку, покачал еле заметно головой, не то с сочувствием, не то с осуждением.

Люся задержала воздух в груди, выдохнула и, твердо глядя в глаза командиру, рассказала о том, как капитан на палубе, во время прогулки арестованных, напевал на французском языке о соловье-пташечке, вставляя в песенку слова «сегодня... после отбоя»...

— За утрату бдительности объявляю вам, товарищ Медведева, выговор, — выслушав, желчно сказал Фролов. — Кроме того, об этом постыдном случае доложите своей ячейке... — И не сдержался, с силой ударил кулаком в ладонь, застонал, точно от боли. — Как примитивно и нахально провел нас этот подлец! Я ведь тоже слышал от него эту песенку. Ну, ладно, что было — то было... Не исправишь. — Помолчал. Попросил: — Идите, Люся, к ребятишкам. Как бы Еремей с Антоном не испугались, узнав, что Арчев на свободе. Представляю, как они взбудоражены...

Мальчики действительно были взбудоражены. Но не напуганы. Антошка, успевший уже всюду побывать — и в каюте, откуда сбежали пленные, и на палубе, и около кормового кубрика, и в караулке, — захлебываясь от возбуждения, путая русские слова с хантыйскими, размахивая руками, показывая, каких размеров окно, сквозь которое вылезли арестованные, рассказывал Еремею обо всем, что узнал, увидел, иногда умоляюще поглядывая на Егорушку, чтобы тот подтвердил, и мрачный, серьезный Егорушка кивал, подтверждая. Еремей, торопливо одеваясь, слушал хмуро, с отвердевшим в решимости лицом.

— Я сам поймаю Арча, — сказал негромко, когда Антошка выдохся и умолк. — Ему надо Сорни Най. Арчев будет искать меня, и я поймаю его. — Выпрямился, властно посмотрел на друзей. — Только Люсе об этом не говорите. Фролову не говорите. Они будут бояться за меня, охранять станут. Помешают... Сейчас у Фролова шибко худо дело, шибко беда. Я помогу, — и упрямо, как клятву, повторил: — Я поймаю Арча. Сам поймаю.

В предрассветных сумерках Арчев, Козырь и капитан вышли из леса, сквозь который где бегом, где быстрым шагом, не останавливаясь ни на секунду, пробирались всю ночь. На опушке, когда неожиданно и весь сразу открылся глазам город — темное, огромное пятно, ступенчато, изломами охряных, коричневых, зеленых крыш вползающее на пологий с этой стороны холм, где смутно белели стены далекого монастыря с тусклыми золотистыми и синими куполами церквей и колокольни,— капитан и Козырь, жадно хватая ртом воздух, обессиленно опустили на землю. Арчев, тоже часто и тяжело дышавший, выдернул из рук Козыря винтовку, разрядил ее. Схватил винтовку за ствол, размахнулся, забросил далеко в багульник, а затвор, взблеснувший в воздухе, метнул в другую сторону.

— Подъем, подъем! — Он с гневным возмущением посмотрел на собеглецов. — Хотите дожждаться Фролова?.. Почетного караула... хотите дожждаться? — Ткнул ногой капитана. — Соберитесь с силами... Виталий Викентьевич... Где ваша... конспиративная квартира?..

— Иду, иду... — капитан заворочался, встал на карачки.

Поднялся. Качнулся. И, чтобы не упасть, побежал, наклонясь и быстро перебирая ногами. Арчев, перешагнув через Козыря, двинулся следом. Козырь закричал, захохотал, с трудом выпрямился, тяжело встал.

Попетляв по сонным переулкам с черными от времени, крепкими домами, которые слепо смотрели черными же, без огонька, без отблеска окнами, троица, возглавляемая капитаном, прошмыгнула через широкую, мощенную брусчаткой, бывшую Соборную, а теперь улицу Освобожденного Труда, нырнула в проходной двор и закоулками выбралась в тупичок, который упирался в старый дощатый забор. Капитан, посматривая испуганно по сторонам, качнул в сторону широкую плаху, висевшую на одном гвозде, придержал ее, пропуская Арчева и Козыря. Те, протиснувшись в дыру, очутились в густых зарослях сирени и черемушника. Капитан, пробравшись за ними, облегченно выдохнул, побежал тяжелой, усталой рысцей по узенькой тропке к низенькому, в облупившейся желтой штукатурке дому.

Арчев, крадучись, сделал несколько шагов, настороженно выглянул из кустов: широкий утопанный двор с

редкими островками пожухлой травы, распахнутые покосившиеся ворота, кованые копы и завитушки которых были красно-бурыми от ржавчины; по ту сторону двора — двухэтажный, широкий и длинный дом с пузатыми колоннами у гранитного крыльца. Справа за домом — стальная полоса реки; слева, за сараями, за низеньким забором, где виднелись маленькие пятнышки надгробий — мраморные белые и чугунные черные, — плавно уползал вверх склон холма с когда-то побеленными стенами монастыря на вершине. Арчев пригнулся, метнулся к капитану, который, притаившись за стенкой сеней, тянул руку к окну, закрытому ставнями.

— Позвольте, Виталий Викентьевич, это ведь бывший «Мадрид», — возмущенно зашипел Арчев, показав на дом с колоннами. — Бывшие меблированные комнаты и номера господина Астахова. А теперь — Дом Водников!

— Точно! — подтвердил подскочивший, ткнувшийся с маху плечом в стену Козырь. И вдруг, сообразив, ахнул: — Елки зеленые! Там же пролетариев как нерезанных собак! Ну и хату ты нашел, шкипер! Засыпемся мы из-за тебя, гадом буду!

— Я вам не шкипер, и не боцман, и не адмирал! — взвизгнул капитан. — И забудьте наконец свой отвратительный жаргон: все эти «гадом буду, век воли не видать»! Иначе кузина откажет нам в гостеприимстве. — Он, выкатив глаза, ненавидяще смотрел на Козыря. Передернулся от омерзения, повернулся к Арчеву: — Не беспокойтесь, Евгений Дмитрич, лучшего места в смысле безопасности нельзя и придумать. Гарантирую!

И осторожно постучал в ставню.

В просторной сумрачной кухне, освещаемой лишь бледным голубоватым огоньком лампы перед простенькой, без оклада, без ризы, иконой богородицы, склонились над столом двое: красивая женщина в темном платье с широкой, низко обвисшей пелериной, и лысый, гладко выбритый мужчина с ввалившимися щеками, с большими черными, окруженными тенями, глазами. Они любовно перебирали, сортировали кучку драгоценностей: спутанные в клубок жемчужные бусы, золотые браслеты, кольца, броши и колье, посверкивающие зелеными, алыми брызгами камней. Услыхав стук, замерли. Переглянулись.

Стук повторился — требовательный, нетерпеливый.

Лысый, посматривая на полупрозрачные кисейные оконные занавески, за которыми светлыми полосками

угадывались узкие щели ставен, распахнул докторский саквояж, смахнул в него украшения.

— В случае чего — сигнал тот же. Вернусь, выручу. — Он бесшумно, выюном скользнул из-за стола. Достал из-под полы пиджака револьвер и боком проскочил в комнату, слегка колыхнулись тяжелые малиновые шторы и успокоились.

Женщина набросила на голову толстый черный платок, нагнула его до самых глаз, сколола под подбородком — лицо, будто в черной раме, стало скорбным и отрешенным. Оглядела внимательно кухню, вышла в сени и, не спрашивая, кто за дверью, откинула огромный железный крюк. Опустив глаза и не глядя на шмыгнувшую в сени тройцу, тенью вернулась-вплыла в кухню. Повернулась к гостям, сцепив пальцы у груди.

— Разреши, дорогая, представить моих друзей... — льстиво заулыбавшись, начал было капитан, но Арчев перебил его:

— Ба, мадемуазель Ирэн! — обрадованно и удивленно вскрикнул он, но, заметив, как неприязненно дрогнули губы женщины, поправился: — Пардон, пардон, понимаю: не Ирэн, а Ирина Аристарховна?

— И не Ирэн, и не Ирина Аристарховна, — она строго взглянула на него, — а сестра Аглая. — И взгляд ее стал насмешливо-презрительным.

А в памяти Арчева всплыло другое: веселая, кокетливая, пикантная женщина отплясывает канкан на крохотной сцене принадлежащего ей «Пале Рояля» — любила иногда Ирина Аристарховна, отбросив чопорность дамы-владелицы, удариться в загул и начинала с того, что выскакивала к рампе, принималась азартно и вихрево солировать в самом фривольном номере программы: мелькали ножки в ажурных чулочках, лакированные туфельки под мечущейся белой волной нижних юбок... Брат Ирины Аристарховны штабс-капитан Модест Астахов, командир Особого отряда, посматривая сквозь монокль на это буйство, снисходительно цедил сквозь зубы, манерно грасируя: «Пускай побесится. По крайней мере ей будет что вспомнить об этом угарном времени заката третьего Рима. — И неизменно добавлял со злорадной усмешкой: — Видел бы сейчас Ирку наш фатер...» Первой гильдии купец, почетный гражданин, судовладелец и промышленник, ярый ревнитель древней веры господин Аристарх Лукьяныч Астахов — жилистый старик с прозрачной седой бородой и темным, словно вырезанным из мореной

лиственницы, лицом — благословил Ирину, когда та в панической сумятице безвластия купила за бесценок «Пале Рояль», и проклял ее, когда узнал, что она — его дочь! — отчебучивает срамные танцы перед публикой, а потом закатывает баснословные кутежи, швыряя деньги без счета и затмевая бесстыдством Клеопатру Египетскую и царицу Савскую...

— Что это вы, из кафешантана да в монашки? Грехи отмаливать? — Арчев шагнул к женщине.

Ирина-Аглая пропела, опустив глаза:

— Милости прошу в мою скромную обитель, отрешенную от юдоли земной. Отдохните душой от суетного мира, оставшегося за порогом.

— Отдохнем. С удовольствием. Благодарны вам, сестра Аглая, — посмеиваясь, Арчев галантно поклонился. — Однако осторожность — прежде всего.

Он подошел к двери в комнату, откинул портьеру. Перешагнул через порог. Огляделся.

Пыль, запустение. Зашторенные окна, гнутые вычурные стулья, софа, обитые потертым уже малиновым бархатом.

Быстро пересек комнату, заглянул в другую дверь — спальня: широкая кровать со сбитыми, скомканными простынями, с мятым покрывалом голубого шелка; слева у стены — трюмо в завитушках по красному дереву рамы. Арчев хотел уже развернуться и уйти, но краем глаза заметил свое отражение — длинная потрепанная шинель, затасканная фуражечка со сбитой назад тульей, заляпанные грязью сапоги. Приблизился к трюмо — лицо изможденное, покрасневшие глаза ввалились, щетина, так и не превратившаяся в бородку, неопрятным мхом облепила щеки, подбородок. Подавшись вперед, Арчев, с изумлением разглядывая себя, вдруг увидел в зеркале, как расширились глаза Ирины-Аглаи, которая появилась в дверях, вкрадчиво, но властно отодвинув за плечи Козыря, который воровато, с подозрением и опаской, заглянул в спальню.

— Вы похожи на красногвардейца, Евгений Дмитриевич. Или на дворника, — игриво заметила она, но глаза ее оставались холодными, колючими. — Идемте, я покажу, где можете умыться... Идемте же! — повторила требовательно, увидев, что Арчев медлит.

Тот поджал в раздумье губы: отчего так встревожилась женщина? Надо найти возможность посмотреть: не хранится ли что-нибудь в тумбе? Он медленно выпря-

мился, прошел за Ириной-Аглаей через кухню в ванную комнату.

В кухне уже суестились капитан и Козырь, накрывая скатертью стол, доставая снедь из громоздкого, во всю стену, дубового буфета.

Когда Арчев, наплескавшись, нафыркавшись над фаянсовой лоханью рукомойника и даже побрившись — чистые, любовно протертые чашечки, кисточка, бритва «Жиллет» аккуратно разместились на полочке под зеркалом — «Ах плутовка, ах святая Аглая, кого ж это ты привечаешь?» — взбодрившийся, благоухающий одеколоном, появился в кухне, Ирина-Аглая скромненько сидела в углу под киотом, а капитан и Козырь, уже слегка захмелевшие, жадно чревоугодничали за немислимо богатым столом.

— Фи, Виталий Викентьевич, с грязными руками-то? — брезгливо поморщился Арчев. — Ну этот-то, — повел глазами на чавкающего Козыря, — господь с ним. А вы-то, вы-то — интеллигент.

Капитан, с веселой растерянностью воззrivшийся на его посвежевшее лицо, благодушно отмахнулся.

— Не ворчите, князь. Мы здесь умылись, — кивнул на кувшин около раковины для грязной посуды. — По-кухарски, по-плебейски. Если ждать, пока вы свой туалет закончите, с голоду умрешь.

— Падай, командир, налетай — подешевело; жри от пуза — не хочу! — Козырь кивнул на стол.

— Но-но, без фамильярностей, — Арчев высокомерно вскинул левую бровь. — Демократия кончилась, осталась в камере на пароходе. — Сел, расправил, небрежно взмахнув, салфетку, положил на колени. Взялся за рюмку, и капитан торопливо налил в нее из графинчика. — За ваше здоровье, Ирина... извините, сестра Аглая! — Выпил, сложил трубочкой губы, шевельнул ноздрями. — Померанцевая, — заметил удовлетворенно. — Итак, господа, к делу. Я думаю, сестра Аглая умеет хранить тайны, — вежливо, одними губами, улыбнулся ей и, отвернувшись от женщины, снова стал серьезным. — Первая и главная наша задача — выкрасть Еремея Сатарова. Того остячка, которого я показал тебе на пароходе, — посмотрел на Козыря, — и велел запомнить. Помнишь?

Козырь, обгрызая куриную ножку, лениво кивнул.

— Вот и пойдешь за ним, — будничным голосом объявил Арчев. — Вместе с Виталием Викентьевичем.

— Со мной?!— капитан закашлялся, беспорядочно размахивая руками.— Не пойду! Ни за какие коврижки!— И затараторил, умильно-просительно заглядывая в глаза Арчеву: — Увольте, Евгений Дмитрич! Не смогу, не справлюсь, все испорчу, все провалю. Меня каждый чекист в лицо знает, меня Фролов за версту, за милю почует...

— Ну ты и отмочил, водолив!— Козырь пораженно отшатнулся от него.— Тебя знают, а Козыря нет? Да они уже всю округу рогом перерыли — меня ищут. Поэтому,— развернулся к Арчеву, помахал перед его носом обглоданной костью,— я тоже на живца не клюю. Мне пока еще гулять на воле не надоело. Понял? Договор какой был? Сорвемся гладко — кладешь деньги на бочку. Вот и гони монету,— решительно постучал пальцем по скатерти. Откинулся, качнулся на стуле.— Мне этот остячок не нужен. Тебе надо — сам и топай.

— Пойдете, куда денетесь,— Арчев желчно усмехнулся.— И ты пойдешь, и вы, Виталий Викентьевич.

— Нет, нет!— Тот отчаянно замотал головой.— Я боюсь. Понимаете? Боюсь! Если вопрос стоит так, то не надо мне никакого остяцкого золота, никакой Сорни Най — ничего не надо! Забирайте себе эту Золотую Бабу, только оставьте меня в покое!

Ирина-Аглая быстро взглянула на Арчева и тотчас снова потупилась, но Арчев не заметил оценивающие блеснувших глаз женщины, не заметил и того, что лицо Козыря стало удивленно-заинтересованным,— Арчев разглядывал капитана.

— Вы правы, Виталий Викентьевич,— нехотя согласился Арчев.— Коль вы в таком настроении, посылать вас нельзя. Надо подключить кого-то другого...— Медленно повернулся к хозяйке, прищурился, размышляя.— Вы позволите, милая Ирина... миль пардон, Аглая, попросить вас о небольшой услуге? Надо бы сходить...

Женщина, не дослушав, плавно встала и, не поднимая глаз, сцепив пальцы перед грудью, прошелестела платьем, согбенная, смиренная, к двери в комнату. Широко отвела в сторону портьеру.

— Я помогу вам, господа!— твердо пообещал, появившись на пороге, лысый мужчина.

Арчев, с удивлением наблюдавший через плечо за Ириной-Аглаей, поразился, узнав бывшего своего взводного сотни Иисуса-воителя, а потом писаря в военном комиссариате, откомандированного руководителя

ми восстания в Екатеринбург для агитработы и там, по слухам, схваченного.

— Тиунов?! Живой-здоровый?

— Гриша! Апостол!.. Вали сюда, бес, я тебя расцелую,— взревел восторженно Козырь, пытаюсь выбраться из-за стола.

— Сиди, сиди,— Тиунов ладонью надавил ему на плечо. Обошел стол, сел против Арчева. Пошарил взглядом, взял бутылку, по-хозяйски налил из нее в бокал.— Итак, вам нужен остячонок, который приплывает на пароходе? На вашем пароходе...— Равнодушно взглянул на капитана.— Когда, кстати, приходит «Святогор»?

— Полагаю,— капитан приосанился,— часам к четырнадцати, не раньше.

— Хорошо, время еще есть.— Тиунов выпил, пожевал губами.— Этот мальчишка знает, где Золотая Баба. Правильно я понял?— Отщипнул кусочек хлеба, понюхал корочку, не отрывая глаз от Арчева.

Тот напряженным, цепким взглядом изучал его лицо. Передернул плечами. Поинтересовался насмешливо:

— Откуда ты появился?

— Из Екатеринбурга.— Тиунов невинно и недоумевающе округлил глаза.— Откуда же еще? Еле ноги унес — тамошняя публика не сиволапое мужичье: мастеровые, рабочий класс, которому нечего терять, кроме цепей, как сказал товарищ Карл Маркс.

— Меня интересует, откуда ты здесь взялся?— Арчев повел рукой вокруг.— Где прятался, когда мы пришли?

— А под кроватью сидел, пока вы, ваше сиятельство, гостиную и спальню обнюхивали.— Тиунов звонко рассмеялся, сморщив нос и обнажив крупные белые зубы. И тут же оборвал смех, словно прихлопнул его.— Я приведу вам мальчишку,— пообещал сдержанно. Потер лысую макушку, посмотрел, словно невзначай, на хозяйку, та улыбнулась: скупое, еле заметно.— А то мы с сестрой Аглаей обнищали... Цена обычная. Когда возьмем Бабу, на всех, кто участвовал в деле, поровну. Законно, Козырь?

— Законно-то законно, только как бы спотыкач не вышел,— Козырь хмыкнул.— Ну выкрадете вы остячонка, если подфартит, а дальше?

Арчев, исподлобья глядевший на него, вскинул голову, раздул ноздри. Хотел что-то сказать, но Тиунов опередил:

— Это я беру на себя. Мальчишку в охапку и — вон

из города. В тайге есть скит — моего человека скит! Отсидимся.

— В бессрочную сидку?— издевательски поинтересовался Қозырь.— Если парнишка сразу не раскололся перед князем, то теперь с какой стати?

— А вот уж это на себя беру я! — отрубил Арчев.— Будет Еремейка, будет и Золотая Баба!— И постарался, чтобы голос прозвучал твердо, уверенно:— Мальчишка поведет нас, не сомневайтесь.

«Сменю кнут на пряник,— давно уже разработал он план,— заморочу шаманенку голову, заставлю поверить, что мать, братишка и девчонки живы, упрятаны в надежном месте, что Еремейка будет с ними, как только ответит меня на эвыт, что...»

— Ладно, я пошел,— Тиунов встал,— Дела, дела... А потом загляну на пристань. Подожду «Святогор», наблюдая, прикину, что и как...

А «Советогор» уже подошел к городу и на малой скорости начал неуверенно выруливать к причалу.

Повеселевшие чоновцы сгрудились на носу, посматривая то на хмурых, чувствующих себя после побега капитана виноватыми, матросов, то на жиденькую толпу зевак на пристани, то на Фролова и Люсю, которые стояли у борта с Еремеем, Антошкой и Егорушкой.

Мальчишки оцепенело наблюдали, как разворачивается берег с вросшими в песок баржами, с завалившимися набок, полузатонувшими на отмели пароходами, с огромными серыми сараями, с черными обуглившимися остовами зданий, за которыми поднимались большие, как в Сатарове, дома, а многие даже выше — в два, три ряда окон, одни над другими. Теснились чешуей крыши, вползающие в гору, где белели далекие, но, судя по всему, высокие и толстые стены, а за ними — еще более высокие дома, украшенные золотистыми и синими макушками, похожими на остроконечные шишки.

Со страхом смотрел Еремей на это стойбище русских, где сидел в тюрьме дедушка, где одних только встречающих пароход было больше, чем всех Назым-ях; Антошка же глядел на город откровенно радостно, восторженно; Егорушка — равнодушно: он жил здесь три года назад, да и потом приезжал сюда с дедом.

— Товарищ Фролов,— неуверенно окликнули матросы:— Швартуемся или как?

— Да-да, разумеется!

Фролов легонько сжал локоть Люси, кивнул ей. Отошел вместе с девушкой на нос. Попросил матросов:

— Вы уж, пожалуйста, товарищи, сами... Я не знаю, какие команды надо подавать, что делать.— И, пригнувшись к уху Люси, шепнул:— Как только управлюсь с делами, пришлю тебе в помощь Алексея.

— Может, не надо?— девушка с сомнением взглянула на командира.— Чего доброго, бросится в глаза — посторонний человек. А так все естественно: я была с Еремеем на пароходе, он привык ко мне...

— Подстрахуемся!— решительно заявил Фролов.— Вечером жди Алексея. Но знай: пока не поймает Арчева, головой отвечаешь за мальчика.

«Советогор» сильно ткнулся скулой в эстакаду — людей на палубе качнуло, — но кранцы смягчили удар. Шатнулись со скрипом ветхие сваи, колыхнулись встречающие и тут же кинулись ловить брошенные с палубы чалки; скрежетнула обшивка, гребные колеса, оборвав редкое вкрадчивое взбулькивание, замерли на секунду и сделали судорожный рывок назад. Пароход дернулся, отпрянул от пристани и, как битюг на привязи, застыл, натянув швартовы. Угасла мелкая дрожь палубы, стихло пыхтение машины.

— Что ж, будем прощаться. Вам пора... — Фролов, вернувшись к мальчикам, серьезно, по-мужски пожал руку Антошке, потом Егорушке. А ладонь Еремея задержал, слегка сжав в пальцах.— Значит, договорились, сынок. Жду в любое время. Сам, конечно, тоже загляну к тебе, но... работы много. Придешь?

Еремей кивнул. Сосредоточенно сопя, полез за пазуху оттопыренного на животе кителя. Вытащил серебряную статуэтку и протянул Фролову.

— На. Пускай у тебя пока живет. Когда назад, на Назым, пойду, отдашь.— Пристально посмотрел на строгое лицо богини, поблескивающее в солнечном свете.— Где жить буду, не знаю. Может, там над Им Вал Эви смеяться будут.— Поднял глаза.— Никому не отдавай. Дочь Нум Торыма дедушку помнит. Когда приходить буду, смотреть на нее стану, дедушку, Сатар-хот вспоминать стану. Береги Им Вал Эви, шибко береги.

— Можешь быть спокойным за нее, обещаю... — Голос Фролова дрогнул. Он обхватил голову мальчика, прижал к груди, но Еремей вырвался, отступил на шаг.

Деловито снял пояс и подал Фролову — качнулся со-

тип с ножом, сухо стукнули медвежьи клыки, звякнули цепочки, колыхнулся качин.

— Тебе отдаю,— буркнул Еремей.— Ты дедушку знал. Бери. Память. Все равно небось в городе с ножом ходить нельзя.

— Хорошо. Спасибо. Большое спасибо,— Фролов принял подарок, задержал взгляд на расшитой сумке Ефрема-ики.— Этот качин мне очень дорог... Сатар пусив — сорни най.

— Сатар пусив — сорни най,— повторил серьезно Еремей.

Антошка, виновато поглядывая на Еремея, тоже принялся торопливо расстегивать свой, а вернее, Еремеева отца ремень с ножом. Сдернул, сунул в руки Фролова.

— Екимычу отдай. Скажи: Антошка помнит. Екимыч — хороший. Екимыч друг.

Но машинист, расталкивая чоновцев, уже сам продираясь к нему. Швырнул тряпки, которыми обтирал пальцы, подхватил мальчика под мышки, вскинул на вытянутых руках.

— Будь здоров, Антон! — притянул к себе заулыбавшегося мальчика, ткнулся губами ему в щеку, чмокнул.— Хороший ты мужик. Мастеровитый, башковитый. Знатный механик из тебя выйдет! — Поставил на палубу, взъерошил Антошке волосы.— Не забывай, навещай...— Увидел, что Егорушка, опустив голову, насупился, тронул его за плечо.— И ты, Егор, приходи. Хошь с Антоном, хошь один.

— Наведаюсь как ни то,— стараясь басить, пообещал Егорушка.

Антошка выхватил у Фролова свой ремень, сунул машинисту:

— Тебе. Память. Подарка.

— Ах ты, золота душа! — Екимыч крикнул, хотел обнять мальчика.

Но тот вильнул вбок, скользнул мимо Люси, мимо неспешно шагнувшего по сходням Еремея, простучал пятками по доскам — точно шишки с кедра посыпались — и уже на причале, обернувшись, замахал рукой. Помахали, спустившись к нему, и Люся с Егорушкой. А Еремей, поджидая их, больше на пароход не взглянул — смотрел сунувшимися глазами прямо перед собой.

Лишь когда пробрались сквозь все прибывающих и прибывающих поглазеть на «Советогор», когда поднялись по широкой утрамбованной дороге на пригорок, Ере-

мей, приотстав, оглянулся. Прощально, цепко, одним взглядом охватив сразу и пристань, и пароход, который тяжелой тушей лежал на серо-голубой воде: обвис на корме алый флаг, не дымит труба, недвижны колеса, пусто на палубе. Только на корме стоят у открытой двери двое, остальные бойцы на берегу.

Еремей круто развернулся, догнал Люсю, Антошку, Егорушку.

Люся опять, как и на пароходе, уговаривала Егорушку: может, все-таки передумает и согласится жить с Еремеем и Антошкой? Но Егорушка упрямо твердил, что нет: у него в городе есть свои — тетка Варвара с ейной свекровью, и жить надо у сродственников, а не мыкаться по углам, не кусочничать у чужих людей.

Они прошли через широкую пыльную площадь, окруженную кирпичными домами с темными железными дверьми, над некоторыми из них празднично пестрели свежей краской новенькие вывески — Еремей успел прочитать только одну: «Чай и пельмени Идрисова», — свернули в тихую, затененную могучими тополями улочку.

Улочка заканчивалась обширным — мощные, с корявыми стволами липы, толстые, гладкоствольные березы, высоченные тополя — парком, кроны деревьев которого уже испятнала желтым близкая осень. В глубине парка притаился двухэтажный веселый, в деревянной резьбе терем с изукрашенными надстроечками-пристроечками — такую избу Еремей видел только на картинках в книжке с русскими сказками у Никифора-ики, деда Егорки.

Люся взбежала на высокое крыльцо, распахнула тяжелую дверь в фигурных деревянных накладках, с дощечкой, на которой красиво выжжено: «Первый дом-коммуна детей Красного Севера», пропустила впереди себя ребят.

Еще одна дверь, обшитая мешковиной. За ней — маленький тамбур, в котором сидела на табуретке полная старушка и вязала чулок.

Старушка подняла голову, радостно привстала.

— Ах ты, батюшки! Люция Ивановна!.. Вот радость-то. Вернулись?

— Здравствуйте, Анна Никитична, — Люся улыбнулась. — Начальство у себя? — И когда старушка, умильно глядевшая на нее, закивала, пошла было в залитый светом широкий коридор, подтолкнув перед собой заробевших Еремея и Антошку, но, вспомнив что-то, остановилась. — Вы ведь, кажется, на Береговой жили?

— Тама, тама, — старушка припечалилась. — Покеда

не спалили ее нонешней весной смутьяны... А чего такое? — Она оживилась. — Неуж квартиру для меня сыскали?

— Да нет... — Люся смутилась. Положила ладони на плечи Егорушки, повернула его лицом к старушке. — Родственники этого мальчика жили тоже на Береговой. Может, знаете их? Может, скажете, куда переехали?

Еремей вышел в коридор, осмотрелся: длинный, с огромными окнами в торцах, чистый, краска на полу облупилась, но проплешины отскоблены добела; слева и справа двери; на простенках большие, в одну-две краски — черное и красное — картинки с надписями, с подписями, иногда со словами, которые идут и с угла на угол, и сверху вниз — есть и знакомый рисунок: белый старик, взметнувший руки и бегущий из темноты: «Помоги!»

— Мы не ра-бы! Ра-бы не мы! — заглушая Люсины слова, громко, хотя и не в лад, гаркнуло за ближней дверью множество мальчишеских голосов. — Мир хи-жи-нам, вой-на двор-цам!

Еремей, который сосредоточенно разглядывал плакат — рука с гусиным пером, высунувшись из облаков, нажимает на высокую стопку книг, уложенных на провисшую цепь, — читал шепотом: «Знание разорвет цепи рабства», даже чуть присел от неожиданности. Оглянувшись вопросительно на Люсю.

Та, проходя мимо, ласково и ободряюще тронула за локоть — все, мол, в порядке, все правильно, не удивляйся, — и скрылась в средней по левой стороне двери.

— Ах ты, господи; воистину мир тесен, — слезно дрожал в наступившей тишине голос старушки, которая жалостливо смотрела на Егорушку. — Знаю, знаю тетку твою Варвару-то, как не знать. Суседками были, кума я ей, крестная потому как Таньке-Маньке... Шас-то редко видаемся, ее в Дом Водников поселили, а я тутá вот, за сиротками доглядываю. Не до гостеваний — с вашим братом ое-ей как глаз да глаз нужен...

Открылась дверь, за которой исчезла Люся. Вышла пожилая женщина с туго зачесанными назад седыми, скрученными на затылке в узел, волосами, одетая в черный костюм, белую блузку. Внимательно поглядела на гостей.

— Прошу сначала сюда, — женщина широко открыла дверь с красным крестом, печально улыбнулась. — Ну, мальчики, смелей! Этой процедуры вам не избежать.

Еремей, сумрачно посматривая на нее, вошел в комнату, куда уже шмыгнул Антошка.

Склонившийся над бумагами за столом у окна старичок в белом халате и с сивой остренькой бородкой повернулся. Отложил ручку, отодвинул толстую тетрадь.

— А-а, новенькие...— Встал.— Раздевайтесь.— И когда Антошка бодро направился было к нему, возмутился:— Куда? Куда?! Снимите все около порога! Только не трясите, пожалуйста, одеждой и не разбрасывайте ее.

Антошка послушно отскочил назад, проворно стянул через голову ернас, принялся развязывать тесемки штанов. Еремей, посматривая то на него, то на шкаф, за стеклом которого поблескивали склянки, то на два широких, покрытых белым дивана, снял китель, опустил его к ногам. Стараясь не морщиться, снял не спеша и рубаху.

Старичок сочувственно посмотрел на Еремея, однако тут же вид его стал еще неприступней.

— Это тоже долой! — мизинцем показал на подштанники Антошки.

Тот, уже раздевшись, перешагнул через одежду, вытянулся посреди комнаты, прижав к бедрам кулаки — большеголовый, с тоненькой шеей, с худыми руками, с острыми лопатками, с выпирающими ребрами. После окрика начал поспешно развязывать тесемки исподников.

— Я вурып снимать не буду! — решительно заявил Еремей.

Старичок насмешливо взглянул на него из-под лохматых бровей и вдруг, боднув воздух, смешно притопнув, потребовал:

— Попрошу покинуть кабинет, товарищ Медведева! Видите, молодые люди стесняются. И распорядитесь, пожалуйста, относительно бани и чистого белья.

— Белье у них чистое,— несмело пояснила Люся.— Мы его прожарили на пароходе...

— Извольте не возражать! — выкрикнул старичок и опять, на сей раз гневно, топнул.— Вошь — враг страшной Колчака! Ваши слова? Ваши!

Люся пожала плечами, повернулась к Анне Никитичне.

Та, поглядывая на потупившегося, тискавшего в руках картуз Егорушку, часто и мелко кланялась начальнице.

— Вот спасибо. Я мигом обернусь, задерживаться не стану. Сдам мальчонку Варваре и, не сумлевайтесь, бегом назад.

— Зачем же бегом? — удивилась заведующая. — Можете не спешить. Располагайте своим временем, как вам угодно. Только вот что: прежде чем пойдете, покормите Егора.

— Не, не, я не хочу! — Егорушка отчаянно замотал головой. — Я сытый!

— Вот лгунишка! — Люся засмеялась. — С чего бы это ты сытый? С пароходного чая? — Она легонько обняла мальчика, прижала к себе. — Идем, идем. Надо подкрепиться. — И повела его по коридору.

Но отошли недалеко. Дверь с красным крестом открылась.

— Люция Ивановна, вернитесь! — недовольно попросил старичок-медик. — Ваш протеже требует, чтобы перевязку ему делали вы. Подайте, настаивает, мою сестру Люсю, и все тут!

Она виновато улыбнулась Егорушке и Анне Никитичне, развела руками: что, мол, поделаешь, извините, придется без меня.

— Я сама послежу, чтобы мальчика покормили, — сказала заведующая и, строгая, прямая, направилась в дальний конец коридора.

Анна Никитична и Егорушка двинулись за ней: старушка — переваливаясь, поспешая; мальчик — нехотя, вяло.

В кухне заведующая распорядилась:

— Двойную порцию, за счет моего и товарища Медведевой пайка.

И ушла, чтобы не смущать Егорушку.

Анна Никитична усадила мальчика за краешек стола, заваленного горками бледно-зеленого капустного крошева, сама же скромненько пристроилась на табуретке у двери, сострадальчески глядя на Егорушку.

Тот положил рядом с собой на лавку картуз, поерзал, устраиваясь поудобней. Полный повар с отечным, ничего не выражающим лицом поставил перед гостем чашку дымящихся щей.

Под любопытствующими взглядами двух мальчишек, чистивших картошку, Егорушка, не торопясь, выхлебал щи, съел овсяную кашу, сдобренную конопляным маслом. Выпил шиповниковый чай, икнул, чтобы показать, как сыт. С достоинством поднялся, взял картуз, поясню поклонился повару.

— Благодарствуем за угощение. Премного всем довольны.

Мальчишки фыркнули, повар что-то буркнул, и на полном лице его появилось выражение веселой озадаченности.

— Идемте, баушка,— Егорушка повернулся к старушке, и когда та проковыляла к другой, во двор, двери, снова, теперь уже помельче, поклонился.— До свидания, люди добрые. Еще раз благодарствую.

Степенно вышел вслед за Анной Никитичной на черный двор.

Всю дорогу, пока шли через парк, Анна Никитична без умолку, часто вздыхая, рассказывала о бедах, постигших и ее, и суседку Варвару во время смуты, о пожаре Береговой, о грабежах и убийствах в безвластии — пропади оно пропадом! — Крестьянской уездной федерации, но Егорушка и не понимал многого, и не слушал почти — он посматривал по сторонам, чтобы запомнить путь: надо будет завтра же наведаться к приятелям, узнать, что и как у них... Вышли из парка через калитку, пересекли улицу.

В воротах с широко распахнутыми, покосившимися створками из железных узоров Анна Никитична оборвала свои горестные воспоминания. Показала широким жестом на двор.

— Ну вот и пришли. Тута твои сродственники и живут.

Егорушка рассеянно и равнодушно взглянул на большой, богатого вида, двухэтажный особняк с кирпичными колоннами у каменного крыльца и уверенно свернул в сторону маленького желтого домика, который прижался к густой сирени и черемухе вдоль глухого дощатого забора, но старушка цепко ухватила за рукав, хихикнула.

— Обмишулился, парнишко! Нам сюды,— показала на дом с колоннами.— А в этом флигеле,— пренебрежительно махнула на строенье у забора,— теперь бывшие господа обретаются.

Открыла тяжелую дверь, важно вплыла в дом.

Егорушка уверенно вошел следом, но в небольшой прихожей с затоптанным полом из фигурно сложенных дощечек, со светлыми, синевато-белого камня, стенами, с облезлым чучелом медведя в одном углу и с остролиственным деревом в другом, с вышорканной толстой дорожкой зеленого цвета, уползающей по лестнице на второй этаж, оробел. Однако виду не подал, поспешил за старушкой, которая уже скрылась за углом коридора. Увидел ее около распахнутой настежь широкой двери,

откуда тянуло легким чадом, прогорклым постным маслом, кислой капустой.

— ...не сердчай, кума, обиды на меня не имей, что не навевывалась так долго,— журчал веселый голос Анны Никитичны.— Сама, чай, знаешь, какво мне выбирать-ся, сама знаешь, сколь у меня работы. А я к вам с радостью заявила, магарыч с вас полагается,— не останавливаясь, не меняя интонации, перешла она на главное и, поманив Егорушку, несильно подтолкнула его в дверь.

В просторной кухне с провисшими, протянутыми из угла в угол веревками, на которых сушилось женское и мужское белье, наволочки, пеленки и простыни, топтались у длинной, облицованной белыми квадратиками плиты женщины. На Егорушку почти и не взглянули. Только одна, худая, с черным от загара лицом, сидевшая на корточках перед духовкой, выжидательно повернула голову к двери и, увидев мальчика, стала медленно выпрямляться, вытирая руки о передник; да костлявая старуха, сгорбившаяся у бокового столика над примусом, уставилась на Егорушку круглыми выцветшими глазами.

— Никак племяш? — Женщина обеими руками пригладила свои жидкие редкие волосы. Лицо ее, некрасивое, длинное, стало растерянным.— Ну точно, Егорка. Мама, видите, Егорка приехал! — На секунду взглянула на старуху у примуса и, радостно ойкнув, метнулась к мальчику. Склонилась над ним, обняла, поцеловала.— А где ж дедушка? Ты чего один-то?.. Аль случилось что? — И когда Егорушка не ответил, а лишь учащенно, прерывисто засопел, встревожилась. Заглянула испуганно в лицо.— Чего случилось-то? Сказывай!.. Захворал дедушка? Помер?

Егорушка крепился изо всех сил, чтобы не заплакать, но не удержался — всхлипнул, зашмыгал носом. Низко опустил голову. Еле слышно, сдавленным голосом, с затяжными дрожащими вздохами рассказал о том, как убили деда, как похоронили его, поставив побольшевиcтски вместо креста пирамидку с красноармейской звездочкой, как чоновцы стрельнули три раза из винтовок...

Женщины перестали греметь кастрюльными крышками, ножами, сковородками — слушали серьезно, понимаяще.

— Ой да сиротинушка ты несчастная,— надсадно заголосила вдруг, не дослушав, тетка.— Да сколь же эта

война проклятая аукаться будет, да сколь же еще кро-
вушке литься?.. Ой да горький ты, бездольный, горе-
мыченький-и-ий, да за что же на тебя, такого маленько-
го, столь несчастий-то? — Из ее глаз светлыми дорожка-
ми потекли по морщинистым щекам слезы.

Егорушка, не сдерживаясь больше, облегченно, в го-
лос, зарыдал, уткнувшись лицом в теплый передник тет-
ки. Она принялась торопливо оглаживать его плечи,
спину.

— Пойдем, воробушек, пойдем, касатик, в кварте-
ру,— оглянулась на старуху, попросила скороговоркой: —
Последите за духовкой, мама, как бы не сгорели...—
И опять к Егорушке: — Не убивайся, родненький, не рви
себе сердце-то. Слезами дедушку не воскресишь, не во-
ротишь... Ну успокойся, миленький, успокойся, золотце,
будя плакать-то. Не то Танька с Манькой засмеют. Пом-
нишь еще Таньку с Манькой-то? Не забыл?

Своих двоюродных сестер-близняшек Егорушка пом-
нил, но сейчас с трудом узнавал: когда-то маленькие,
щупленькие, с жидкими косичками-хвостиками, они, ху-
дые, так и не нарастившие мяса, вымахали выше Его-
рушки на целую голову и стали похожи на галок. Сход-
ство усиливали и крупные цыганские глаза, и носастые,
со впавшими щеками, лица, и особенно коротенькие, толь-
ко начинающие отрастать, черные волосы, гладко обле-
пившие головы. Танька с Манькой играли замызганными
тряпичными куклами, но на скрип двери отбросили их,
уткнулись носами в букварь, завывкивали старате-
льно:

— Ре... ра... ру... Ре-спу-бли-ка... тр-р-ру-да!

Мать строго, с подозрением взглянула на них, стук-
нула одну, другую по макушке суставом согнутого
пальца.

— Опять с цацками забавлялись?! — Но тут же сме-
нила гневный голос на медовый: — Проходи, Егорушка,
не гляди на этих дурех балованных. Ты уж небось бой-
ко читаешь? Дед-то Никифор большой грамотности че-
ловек был, обучил тебя, поди. А эти все еще ма-ма в
«мама» сложить не могут... Сейчас, сейчас покормлю те-
бя, потерпи.

— Не-не, не надо, тетя Варь! Я в детском доме поел.

— Вправду? — Женщина резко остановилась на бе-
гу, точно запнулась. Обрадованно посмотрела на пле-
мянника. — Значит, до вечера обождешь?.. Да ты прохо-
ди, проходи,— потянула его за рукав, подтолкнула в

комнату.— А я побегу. Дела у меня... Смотрите, девки, не обижать парня!

Егорушка потоптался, направился было к столу, но передумал — свернул в сторону. Сел на лавку у окна, положил картуз на колени, огляделся.

— Егор, Егор, проглотил багор, — слегка повернув к гостю голову и хитро посматривая на него, запела негромко, словно бы самой себе, не то Танька, не то Манька.— Егор, Егор, полез на забор...

— ...с забора упал, ногу сломал, — подхватила вторая, то ли Манька, то ли Танька, и тоже осторожно, с лукавой улыбочкой покосилась на него.

Егорушка показал им кулак, отвернулся к окну, принялся разглядывать желтый флигель в глубине двора. Сестры, осмелев, запели громко про багор и про забор — Егорушка не обернулся. Манька с Танькой смолкли. Но ненадолго. Пошушукались, прыснули, хихикнули и затаили новое:

— Егор, Егор, не смотри во двор. Там купчиха живет («Не купчиха, а монашка, — торопливым шепотом поправила какая-то из девчонок. — Мы ж договорились. Купчихой она раньше была»)... Там монашка живет, тебя к черту унесет («Как же монашка к черту унесет? — возмущенно зашипел другой голос. — Монашки с нечистой силой не дружат!»)

Егорушка, обиженно прислушиваясь и к громкой дразнилке сестер, и к тихому их переругиванию, думая о своем — сперва, тоскливо, о бабушке, потом, с сочувствием, о приятелях, — наблюдал без интереса за высоким военным, который уверенным шагом пересек двор, остановился у дверей флигеля, постучал. Дверь открылась...

— Дело осложняется, господа, — с порога кухни заявил Тиунов. — Прибытие «Святогора» мы проморгали. — Хмуро посмотрел на Арчева, который настороженно, вполоборота, готовый скрыться, стоял в двери гостиной, на Козыря, дремотно, непонимающе моргавшего из-за спины своего командира, на капитана, поднявшего от стола заспанное, в красных складках лицо. — Арестованных отвели в тюрьму. — Тиунов сел, закинул ногу на ногу. — А остячок я не видел. И где он сейчас — не знаю.

— Он скорее всего в детском доме, — с трудом разлепив опухшие веки, буркнул капитан. — Фролов с Медведевой как-то говорили о таком варианте.

— В детдоме, детдоме... Скверно, если это так...— Тиунов налил из графинчика в рюмку.— Там подобных огольцов — табун! Попробуй узнай нашего,— выпил, твердо, со стуком, поставил рюмку.— Придется кому-то из вас пойти со мной, чтобы показать Еремея.

— Только не я! — испуганно вскинул ладони капитан.— Я загублю дело!

Тиунов и Ирина-Аглая вопросительно посмотрели на Арчева. Тот усмехнулся, медленно повернул голову к Козырю. Объявил как о само собой разумеющемся:

— Пойдешь ты. Больше некому. Видишь, Виталий Викентьевич — тряпка.

— А вот этого не хочешь? — Козырь сунул ему под нос кукиш, скрипуче, издевательски засмеялся.— Нашел шныря на подхвате! Сам топай, если...

И не договорил: Арчев, оскалившись, дернув верхней губой, звонко шлепнул пятерней по его загривку, вышвырнул Козыря на середину кухни, а Тиунов, выдернул из кармана револьвер, вскинул его, щелкнув предохранителем.

— Не ерепенься,— попросил вкрадчиво.— И слушайся старших.

— Мразь, дрянь помоечная! — Арчев брезгливо вытер ладонь о грудь.— Бунтовать еще вздумал, поганец!

— Не волнуйся, Козырь, никто тебя не узнает. Даже родная мама.— Тиунов ласково заулыбался.— Мы обрядимся в зимогоров, в этиких разнесчастных бедолаг, которые бродят по дворам.— И жалобно, просительно-заискивающе загундосил: — Кому дрова пилить-колоть? Дешево берем, посочувствуйте обнищавшим, граждане-хозяева!

Все с изумлением уставились на него, услышав вместо сочного, уверенного баритона дрожащий, надтреснутый и жалкий голос.

Тиунов самодовольно захохотал, качнулся. Кивнул Ирине-Аглае. Та поднялась с табуретки, проплыла к дверям в гостиную, скользнула мимо Арчева, прошла в спальню. Что-то стукнуло, прошелестело, зашуршало, и женщина вернулась в кухню с большим мешком и круглой шляпной коробкой. Коробку подала Тиунову, мешок положила к ногам Козыря, около которого и застыла, сцепив у груди руки.

Тиунов открыл коробку, вынул несколько париков,

накладных бород, усов. Поперебирал их, поразглядывал, встряхивая иногда, точно аукционщик пушнину. Выбрал раздерганную пегую бородавку.

— Вот это подойдет,— протянул бородавку Ирине-Аглае и, увидев, что Козырь ошалело таращит глаза, прикрикнул: — Переодевайся! Чего тянешь?

Козырь нехотя развязал мешок, нехотя взял его за углы, вытряхнул содержимое на пол: два потрепанных, порыжелых армяка, мятые шляпы-гречневники, заплатанные портки из сарпинки, опорки, пара стоптанных сапог.

— Сапоги оставь мне! — приказал Тиунов, натягивая на лысый череп бурый с проседью парик. И усмехнулся: — В них удирать легче.

Козырь шепотом выругался. Разделся, не отворачиваясь, зло и ядовито посматривая на невозмутимую Ирину-Аглаю, натянул полосатые портки, ветхую косоворотку; обулся, обмотав ноги онучами, в опорки; влез в армяк и, запахнув его, демонстративно задрав выпяченный подбородок, вытянулся перед женщиной. Она наклеила ему бороду, усы, взлохмаченные брови, надела парик с сальными, сосульками обвисшими волосами. Из жестяной баночки, которую вынула из шляпной коробки, достала гримерные краски, карандаши, помаду. Нанесла Козырю под глазами тени, вытемнила щеки, скулы, подрисовала морщины — все делала привычно, сосредоточенно.

Отошла на шаг, посмотрела оценивающе на свою работу. Повернула голову к Тиунову, гримировавшемуся около зеркала над кухонной раковиной. Тот, превратившись во взъерошенного, серенького старичка с виновато-скорбно наморщенным лбом, оглянулся, подошел к женщине.

— Густо наложила. Заметно, если в упор... — растер мизинцем грим около глаз Козыря, около ноздрей. — Ну-ка покривляйся, — попросил деловито. — Борода не стягивает кожу? Не мешает?

— Замечательно! — Капитан восхищенно поцокал языком. — Действительно ни одна собака не узнает!

— Заткнись, флотоходец! — гримасничая, играя лицом, рывкнул Козырь. — Фролов — не собака. Он эту тупу сразу раскусит. — И, подпоясываясь веревкой, тоскливо вздохнул: — Фролов, в гробину его кости, наверняка уже пасет нас. А мы прем в нахалку, как с копейкой на буфет!

Фролов сидел в кабинете начальника, смотрел в окно и, не жмурясь от предзакатного солнца, ровным голосом докладывал о побеге с пархода.

— О твоём ротодействе доложу в Москву, товарищу Дзержинскому,—глядя в стол, сухо сказал начальник, когда Фролов умолк.— Пусть коллегия Вэчека решает вопрос о наказании.— Смахнул ладонью невидимые пылинки с зелёного сукна перед собой, поправил крышку чернильницы.— Ты же, пока не отстранен от работы, обязан как можно скорей поймать этого палача.— Поднял требовательные глаза.— Обязан, слышишь! Надо показать людям, что агонизирующие эсеры выродились в обыкновенных уголовников и ничем не отличаются от бандитов типа Тиунова.

— Тиунов? — удивился Фролов.— Бывший писарь военного комиссариата, не он?

— Он самый.— Начальник выпрямился, раскинул руки по столу, сжав кулаки.— Мы навели о нём справки. До революции был антрепренером. Ярый монархист. Бредил спасением Романовых, потому и оказался в наших краях. После колчаковщины примкнул к эсерам. Накануне мятежа был откомандирован контрреволюционным подпольем в Екатеринбург, где сумел ускользнуть от наших коллег. Недавно объявился здесь. Амплуа: грабежи, убийства, налеты — полный букет мерзостей. Кстати, он служил в сотне Иисуса-воителя у Арчева.

— Вот как? — Фролов насторожился.— Может, Арчев у него и спрятался.

— Может быть,— согласился начальник,— но... — Поерзал, отчего орден Красного Знамени на гимнастерке ало блеснул в лучах солнца.— К сожалению, пока ни мы, ни милиция на людей Тиунова не вышли. Законспирировался мерзавец наглухо! — И пристукнул кулаком по столу.— Хотя... кое-какие сведения у нас есть. Судя по всему, именно он работает под «апостола Гришу»: ведёт себя как сектант-мракобес — тайные радения устраивает, паству свою дурачит.— Начальник с силой потер лоб, огладил назад ежик волос, помассировал затылок.— Извини, голова разламывается. Две ночи не спал, материалы для судебного процесса готовлю.

— Словом, надо искать Тиунова. Арчев как бывший атаман шайки Иисуса-воителя может подыграть новояв-

ленному апостолу. Религиозной демагогией Арчев владеет неплохо.— Фролов выжидательно подался вперед, готовый встать.

— Беглецов мог приютить и капитан, если уж он осмелился организовать побег,— размышляя вслух, предположил начальник.— Есть у него в городе родственники, близкие?

— Я уже проверил. Из родственников — только двоюродная сестра. Дочь небезызвестного Аристарха Астахова. Но она, по нашим сведениям, послушница в женском монастыре, в Екатеринбурге,— не задумываясь, ответил Фролов.— Сейчас, наверно, уже постриг приняла. Так что...

— В Екатеринбурге? — начальник сложил губы так, словно хотел присвистнуть.— Надо проверить, там ли она?

— Хорошо. Разрешите идти? — Фролов, упираясь ладонями в край стола, начал медленно приподниматься.— Мне еще мальчика надо обезопасить.

— Действуй! — И когда Фролов, резко отодвинув стул, встал, начальник напомнил: — Все силы — на Арчева. Его надо разыскать в ближайшие день-два... Само собой, меня держи в курсе. Информировуй в любое время суток.

Фролов кивнул и, озабоченно хмурясь, вышел.

Торопливо сбежал по узкой деревянной лестнице на первый этаж, заглянул в дежурку — Алексей, вызванный посыльным, был уже там, болтал о чем-то с дежурным. Вскочил со стула, вытянулся по стойке «смирно». Фролов бегло оглядел его с головы до ног — спортивное клетчатое кепи с клапанами-наушниками, застегнутыми на макушке, русский чуб, веснушчатое лицо, серое потертое пальто с бархатным воротником, брюки-гольф, краги: немного экстравагантно, но ничего, сойдет,— и, мотнув головой, пригласил Алексея за собой.

— Немедленно в Первый детский дом,— отрывисто начал объяснять на ходу задание.— Легенда: воспитатель, преподаватель гимнастики. Заведующая предупреждена. Цель: охранять мальчика, Еремея Сатарова. Его покажет Люся... товарищ Медведева,— уточнил, остановившись около одной из дверей. Резко, властно постучал в филенку.— От Еремея ни на шаг. Спать рядом. Но лучше не спать, пока не отзову.

Дверь, пощелкав изнутри задвижками, приоткрылась. Высунулся взлохмаченный, с замороженными, навывкате,

глазами, единственный в губчека специалист по технической, трассологической и прочим экспертизам.

— Простите, Яков Ароныч. Мне нужны фотографические снимки, которые я вам дал. Вынесите, пожалуйста,— попросил Фролов.— Всего на минутку.

И когда эксперт, исчезнув, появился почти сразу же вновь, принял от него стопку фотоснимков, развернул их веером.

— Может появиться вот этот,— ткнул пальцем в изображение Арчева.— Или вот этот,— показал на Козыря.— Запомни их.

— Ясно...— Алексей секунду-другую поразглядывал карточки.— Запомнил.

— Спасибо, товарищ Апельбаум,— Фролов вернул снимки эксперту.— Достали гипосульфит?

— Ищем. По всему городу. Энергичней, чем Врангель кредиторов, но...— Эксперт драматически развел пухлые руки.— Даже наши сотрудники не всесильны. Чего нет, того и нет. Ничто не породит нечто, извините меня...

— Надо найти!— жестко перебил Фролов.— А пока подключите художника. Пусть сделает как можно больше портретиков Арчева и Шмякина. Идем!— кивнул Алексею и быстро направился к выходу.— Может появиться еще один,— чеканя фразы, продолжал инструктаж.— Бывший капитан «Советогора». Ты его знаешь. Мальчика, скорей всего, попытаются выкрасть. Он им нужен только живой. Стрелять в него не станут. Поэтому держись в тени, чтобы не заметили. Но рядом. Особенно на улице! Все! Отправляйся.

Торопливо пожал руку Алексею, развернулся, вошел в комнату шифровальщиков и телеграфистов, чтобы отправить в Екатеринбург срочный запрос о послушнице женского монастыря, звавшейся в миру Астаховой Ириной Аристарховной.

Алексей, выскочив на крыльцо, огляделся с видом человека, случайно попавшего в Чека и счастливого тем, что вырвался на свободу. Не спеша, праздной походкой, двинулся вниз по улице. Мимо первого извозчика, который стоял около Расторгуевских бань, прошел, даже не поглядев на него; не окликнул и второго, коняга которого, опустив голову, уныло брела рядом с тротуаром, и, лишь поравнявшись с третьим, за два квартала от губчека, вскочил в пролетку.

— В первую детскую коммуны,— попросил на выдохе.

— Энто в астаховский монплеизир, что ль? — дремав-

ший на козлах рябой старичишко вострепнулся. Оглянувшись, прицениваясь, на седока.— Доставим единым моментом, ваше степенство... то есть, гражданин служащий,— уточнил, заметив, что седок не то одобрительно, не то презрительно фыркнул.— Аль не служите? Чай, из новых коммерсантов будете?

— Служу, служу,— снисходительно пояснил Алексей.— В наробразе... Побыстрей, пожалуйста, папаша!

Извозчик принялся яростно крутить над головой вожжи.

Тощая буланая кобыла, застоявшаяся в безделье, вострепнулась и спросонья припустила вдруг с места легкой, прыгающей рысью.

На углу базарной площади, сворачивая мимо чайной Идрисова на Зеленую улицу, затененную могучими тополями, набравшая ход лошадка чуть не сбила двух мужиков-горемык, исхудалых, почерневших от несладкой жизни. В потрепанных армячишках, в помятых шляпенках, они устало плелись по дороге — один, в стоптанных сапогах, нес завернутую в мешковину пилу; другой, в опорках, перебросил за спину торбу с торчащими из нее топорщиками колунов. Мужики от испуга проворно отпрыгнули в сторону; тот, что с колунами, тряся пегой бороденкой, даже рванул было за пролеткой, но седоватый напарник схватил его за шиворот.

— Не разевай рот, деревня! — ухарски выкрикнул фальцетом извозчик.— Пади! Затопчу, христарадники!

Лошаденка галопом проскакала мимо мечети, но к концу улицы, когда стал приближаться, надвигаться густой, неухоженный парк Золотая Роща, выдохлась — захрипела, зафыркала, сбилась на спотыкающуюся трусцу.

Алексей тронул за спину извозчика, сунул ему в ладонь, когда тот оглянулся, комок смятых денег и на ходу выпрыгнул из коляски. Узкой, похожей на затененное ущелье, липовой аллеей вышел к затейливо изукрашенному резьбой дому, из распахнутых окон первого этажа которого рвался на улицу галдеж, восторженные и возмущенные детские крики.

Задержавшись у крыльца, быстро и внимательно огляделся: от земли до окон невысоко — если встать на узкую, обшитую досками завалинку, можно одним прыжком влететь в помещение; двор пустой, чистый, спрятаться негде; сарай и поленница — в стороне, на отшибе; деревья вот, правда, подходят близко, надо это учесть.

Пружинисто взбежал по ступеням, вошел в детдом.

И в небольшом тамбурке-прихожей, и в широком длинном коридоре никого не было. Только у раскрытой двери, откуда тек стихающий уже гул ребячьих голосов, топтались, заглядывая внутрь, несколько мальчишек, среди них и дежурный — крупный, круглоголовый, с красной повязкой на рукаве. Алексей навалился на него, тоже заглянул в дверь — небольшой зал, забитый мальчишками, точно шляпка подсолнуха семечками; небольшая сцена, над которой плакат «Грамотность — путь к социализму!», по сторонам нарисованные художником-любителем портреты: слева — Маркс, справа — Ленин, на сцене ораторствует, взмахивая кулаком, паренек с коротким ежиком огненно-рыжих — голова будто светится — волос:

— ...Вы думаете, мне больно охота эти дробы с остатками зубрить?! Нисколько неохота! А зубрю и буду зубрить! Потому как социализм могут построить только обученные, знающие всякую науку люди...

Мальчишка-дежурный недовольно оглянулся на придавившего его Алексея. Нахмурил белесые выгоревшие брови, дернулся, сбрасывая с плеча руку. Посмотрел с подозрением.

— Чего это вы тут делаете, а?.. Кто вы такой, кого надо?

— Мне бы заведующую. А лучше товарища Медведеву, — шепотом объяснил Алексей, улыбнувшись как можно дружелюбней. — Только, пожалуйста, потише, — попросил, когда дежурный, смерив его взглядом, принялся бесцеремонно распахивать приятели. — Не мешай собранию, ради бога...

— Бога нет! — презрительно посмотрев на него, отрезал мальчишка. Показал пальцем. — Вона Люция Ивановна, рядом с новенькими остячатами. Позвать?

— Не надо. Она меня уже увидела, — Алексей вскинул руку, помахал.

Люся сидела на крайнем в ряду стуле, у открытого окна. Место выбрала специально, побаиваясь, что Еремею и Антошке, привыкшим к вольному воздуху, станет плохо в душном, набитом ребятней зале. Особенно беспокоилась за Еремея. Но тот, казалось, чувствовал себя сносно... Увидев Алексея, Люся стала пробираться к выходу. Мальчишки в ряду зашевелились, заерзали, поднажали, спихнув Еремея на освободившийся стул, а Антошку на его, Еремеево, место.

— Товарищ Ленин в прошлом году на Третьем съезде Эркасэмэ какую поставил перед нами задачу? — выкинув перед собой кулак и, подавшись телом к залу, крикнул со сцены рыжий. — Ну?!

— Учиться, учиться и учиться! — дружным хором отозвался зал.

— То-то и оно! Товарищ Ленин сказал, что коммунистом может стать лишь тот, кто овладеет всеми знаниями, которое накопило человечество за свою историю. А мы?! Некоторые из нас не могут овладеть даже простым сложением-вычитанием. Даже чтением... то есть, чтением, я хотел сказать. Позор этим юным коммунарам!

— Здравствуй. — Люся протянула ладонь Алексею.

— Ревпривет, — Алексей пожал ей руку. — Ну, где наш парнишечка?

— На моем месте сидит... — Девушка опустила глаза. Помялась, сказала чуть слышно: — У меня просьба: надо срочно провести заседание ячейки. По моему вопросу. Я пыталась телефонировать тебе, но аппарат...

Алексей, изучавший лицо Еремее, чтобы лучше запомнить — все мальчишки одинаково одеты в серые куртки из чертовой кожи, все одинаково коротко подстрижены, — удивленно повернул голову.

— Что за вопрос? — спросил обеспокоенно.

— Утрата бдительности... — с трудом выговорила Люся. Вскинула виноватый взгляд, увидела, что мальчишка-дежурный, делавший вид, будто заинтересованно смотрит в зал, насторожился, даже дышать перестал, и осеклась. — Потом расскажу... На ячейке. Когда думаешь собрать ее?

— Как только... — Алексей тоже покосился на дежурного. — На днях. Скоро! — пообещал уверенно и опять принялся наблюдать за Еремеем.

Тот сидел не шелохнувшись. С любопытством разглядывал парнишку на сцене: никогда не видел таких красноголовых, и чутким боковым зрением таежника успел заметить, как за окном теньями скользнули в легких сумерках двое.

— Учебный год только-только начинается, а у нас уже «неуды», — взвился на сцене негодующий голос. — И не только у коммунаров из младшей группы, но и у комсомольцев. Это верх несознательности...

Еремей подобрался, скосил глаза на улицу — там, на двойном расстоянии вытянутой руки, всплыло бледное пятно лица с раздерганной бородкой; замерло на миг и

нырнуло вниз. Еремей расслабился: лицо было незнакомое.

— Предлагаю! — выкрикнул красноголовый на сцене. — Всех, у кого «неуды», завтра на субботник не брать!

Зал враз смолк. Но тут же взорвался: «Правильно! Справедливо!» — «Тебя самого не брать! Учеба — одно; субботник — другое!» Мальчишки вскочили, замахали руками — одобряюще и негодуяще, приветственно и возмущенно: «Молодец, Пашка! Ура, Пашке!» — «Долой Пашку! Много на себя берет!»

Антошка возбужденно завертелся на стуле, тоже закричал что-то, тоже вскочил, тоже замахал руками.

Еремей недоуменно повернулся к нему. И увидел, как метнулись от двери, исчезли в коридоре парень, к которому подошла Люся, а за ним и сама Люся.

Алексей, сжимая в кармане пальто взведенный револьвер, выскочил на крыльцо, глянул по сторонам — никого, пусто! Люся ткнулась с разбегу ему в спину, отскочила, встала рядом. Вынула наган.

— Ты чего? — выдохнула шепотом. — Что случилось?

— Кто-то заглянул в окно, — тоже шепотом ответил Алексей. — Сначала я думал, показалось. Потом — еще раз.

— Померещилось... — неуверенно предположила девушка. Спустилась на две ступеньки. Прислушалась. — Никого нет.

— Может, и померещилось, — неохотно согласился Алексей. Еще раз медленно обвел взглядом двор, деревья подле дома, парк, уже синевато затушеванный сумерками. — Пошли. Вроде, все тихо.

Открыл дверь, пропустил Люсю, вошел следом за ней.

Тиунов, вжавшийся в землю за толстой липой и наблюдавший в просвет между деревьями за крыльцом, опустил револьвер. Слегка повернув голову, встретился взглядом с вопрошающими глазами Козыря. Тот лежал невдалеке и, уткнув локти в дерн, стиснув двумя руками «смит-вессон», все еще держал под прицелом дверь. Тиунов мотнул головой назад и осторожно, плавно поднялся. Привстал и Козырь... Подхватив пилу и мешок с топорами, они, согнувшись, беспрестанно оглядываясь, побежали в глубь парка. Выпрямились, перешли на шаг, лишь когда деревья плотной стеной заслонили детдом.

— Ну что, успел разглядеть хмыренка? — Козырь сунул под армяк револьвер, подбросил на плече торбу с колунами.

— Второй с краю? Шустрый такой: шило с глазами. Этот? — на всякий случай уточнил Тиунов. И когда Козырь кивнул, успокоил: — Разглядел. Завтра на субботнике и возьмем.

— Первый от окна тоже, кстати, с парохода. Видел я там эту рожу.

— Черт с ним, — Тиунов зевнул. — Заказа на него не было.

Молча, лишь изредка похмыкивая, пересекли они парк. Через двор Дома Водников прошли не спеша, равнодушно поглядывая на слабо освещенные керосинками и копилками окна бывшего «Мадрида»; постучали — два быстрых удара и два с задержкой — в дверь флигеля.

— Во, к нашей монашке бродяги какие-то заявились, — Варвара, тетка Егорушки, задергивая занавеску, пригнулась к окну, всмотрелась. — Двое. Из деревни, кажись. Наверняка мазурики!

— Все у тебя бродяги да мазурики, — заворчала свекровь. Она быстро перебирала на противне коричневые блестящие кубики вываренной кедровой и пихтовой смолы — серы — любимой жвачки, утешения и улады ребятишек. — А может, то странники, богомольцы, люди праведной жизни?

— Ах оставьте, мама, — раздраженно отмахнулась Варвара. — Будут к этой живодерке хорошие люди ходить, сказали тоже!

— А чем она тебе плоха? — старуха оскорбленно поджала губы. — Ну грешила девка в молодости, с кем не бывает? А таперя покаялась, от мира ушла, схимничает, о душе думает.

— Это Ирка-то Астахова о душе? — Варвара, уперев кулаки в бока, откинула голову и захохотала. — Не смейте!

— Чего ржешь, чего ржешь, непутевая?! — взъерилась старуха. Также подбоченилась, ехидно склонив голову к плечу. — А вспомни, как она по-христиански обошлась с жильцами, когда вернулась во хлигель! И товаром, и продуктом одарила. И в деревню уехать поспособствовала.

Егорушка уже слышал от Таньки с Манькой эту историю. Слышал и то, будто монашенка живет здесь потому, что караулит сокровища Ермака, что может сво-

бодно ходить под землей — у них в чулане тоже есть лаз под землю, — что по ночам часто пропадает монашка на кладбище, где оборачивается кошкой или совой, нападает на одиноких прохожих, пьет их кровь, но особенно любит кровь детей, что... Он сидел рядом с притихшими Танькой и Манькой у другого окна, посматривал исподтишка на противень с серой. На таз с пышками из отрубей, который стоял на столе, смотреть не решался.

— Ой, да ну ее к богу в рай, преподобную Ирку вашу! — в сердцах выкрикнула Варвара. — Нашли кого защищать! Была она змеей, змеей и осталась. — Решительно рассекла ладонью воздух перед носом свекрови, отвернулась торжествующе. И увидела дочек, которые, не моргая, пожирали жадными глазами бурый холмик пышек.

Точно надломившись, качнулась к столу, рука потянулась к пышкам, но пальцы, едва коснувшись снеди, отдернулись — вцепились в расшитое петухами полотенце, набросили его на таз. Старуха увидела и глаза внучек, и движение снохи.

— И не помышляйте, трясогузки! Нате-ко вот, пожуйте, — выбрала на противне три самых маленьких кусочка серы, протянула ребятишкам. — Очень хорошо помогает, ежели в кишках пишшют. Ужина сегодня не будет, — и строго посмотрела на Егорушку. — Неча на ночь трескаться, не баре. Ночью спать надо. Завтра утречком поработаем-заработаем, на доходы поглядим, по доходам поедим. Так-то!

Танька с Манькой, норовя урвать кусочек покрупней, торопливо цапнули с бабкиной ладони по кубику жвачки, а Егорушка отвернулся.

— Не надо. Я сытый. Сказывал ведь, в детдоме на двое ден наелся.

— Ишь ты. С карахтером, — удивилась старуха. — Гордый, как атаман, хучь и в дырках карман... А ну бери, когда угошшают! — Сунула серу в руку мальчика. — Дают — бери, бьют — беги. И норов свой в чужих людях не показывай!

— Мама, как вам не стыдно! — укоризненно простонала Варвара и с горечью покачала головой. — Какие же мы чужие? Опять вы за свое?.. А если б меня да вас прибрал, как Веру, сыпняк? Разве дед Никифор не пригрел бы Таньку с Манькой? Разве дед стал бы прекрывать куском хлеба?.. Чем же сирота-то перед вами виноватый?

— Сыпняк, брюшняк, сироты. Не жизнь, а Содом и Гоморра,— заворчала старуха.— Куском хлеба, говоришь, попрекнула?.. Где он, энтот кусок, где его взять-то? Стала бы я скупердьяйничать в ины-то времена, а? — Резкими, угловатыми движениями сгребла кубики жвачки в кучу.— А не ндравятся мои слова, может возврататься в приют. Чего ж не остался тама? И сытно, и тепло, и обули-одели бы, а тута... Жуй вот таперя смолу, как короед, да похваливай, да спасибочки мне скажи.

— Ма-ма-а! — умоляюще выдохнула Варвара.— Ну сколь можно?

— Не совести меня, Варвара! — одернула решительно старуха.— Знаю, чего говорю. Вполне мог бы Егорий в приюте жить. Полное право имеет. Потому как отец евовный колчаками убит. Власть обязана призреть, вспоможение оказать.

— Власть обязана? Вспоможение? — удивленно протянула Варвара. И вдруг взвилась в несдерживаемом крике: — Да где ж она, власть-то, на всех напасется? Ведь тыщи малолетков не только без отца-матери, но без тети-дяди, без такой вот, хучь бы как вы, бабки остались. Власть, гли-ко, обязана! — Широко вскинула руки и, уронив их, с силой шлепнула ладонями по бедрам.— Мало вам власть дала? Хорошо было у Астахова на рыбозасолке от темна до темна на своих харчах надрывать-ся? Хорошо было при Верховном по дворам побираться? Хорошо было при есеровской Федерации на Сенном рынке опосля казачьих лошадей овсинки подбирать? А прятаться, когда за Гриню, сына вашего, мужа мово милого, извести нас хотели — хорошо? — Порывисто обхватила девочек, принялась суетливо целовать то одну, то другую в волосы.— Девки еще соплюшки были, а сколь пострадались, наголодались-набедовали — хорошо?.. Власть обязана! Да власть сама-то только-только на ноги встала, ее от слабости самое-то еще покачивает. А все ж старается, пуп рвет, тянется изо всех сил, чтоб нам пособить. Квартеру вот какую выделили, паек,— показала взглядом на пышки,— а вы!.. Ох, мама, мама... Ох, сиротинки вы мои,— выбросила руку, зацепила за плечо и Егорушку.— Безотцовщина вы неласканная, цветики нераспустившиеся, а уже помятые...

Танька с Манькой тоже завсхлипывали, запоскуливали слезно, готовясь разреветься. И Егорушка засопел, захлюпал носом.

— Придержись, не шуми, не голоси,— неожиданно спокойным тоном и даже чуть усмешливо потребовала бабка.— Прошло лихое время, неча его вспоминать. Ну-ка, Егорий, посвети мне,— попросила почти ласково.

Протянула мальчику керосиновую лампу с отбитым сверху закопченным стеклом. Звякнула крышкой, прикрывая кастрюлю, подхватила ее, просеменила к чулану. Открыла дверь.

Егорушка приткнулся к косяку, поднял повыше лампу, чтобы светло было и бабке, и в комнате. Заглянул в чулан: полки вдоль стен, на полу хлам, поломанные стулья, рама картины, две корзины— одна без ручек, другая без дна,— в углу зеленый сундук, решетчато обшитый лентами жести; под сундуком— квадрат люка, четко очерченный полосками слежавшейся пыли, давно, видать, крышку не поднимали.

— А чего подполом не пользуетесь? — хозяйственно полюбопытствовал Егорушка.— Можно картоху держать, капусту квашеную, соленые огурцы.

Бабка, пристраивая на полке кастрюлю, оглянулась на него.

— Это вовсе и не подпол,— сказала страшным шепотом, жутко округлив глаза.— Это вход в трисподнюю. Туда, где черти с вилами да рожнами раскаленными.

— Что-о, какие черти? — мальчик попятился, взглянул на тетку.

— Да не слушай ты ее, Егорушка,— поморщилась та.— Старая, что малая, нисколь ума нету. И не стыдно вам, мама, пугать ребенка?

— Ничо, Егорий мужик самостоятельный, сказок не боится,— весело отозвалась старуха. Она деловито обматывала тряпкой крышку кастрюли. Пыхтела от усердия.— Будешь свои постряпушки ставить, Варвара? — оглянулась, увидела напряженное лицо Егорушки.— Ай, испугался? Не бойся, дурачок, я шутю. Неуж и впрямь поверил в трисподнюю? Да ты что, милый. Тута,— топнула по крышке люка,— просто-напросто лаз. В хлигель ведет. Его еще сам Астахов, хозяин прежний, прокопал. Говорят, для своих сподручников по темным делам.

Вышагнув из чулана, порылась в складках юбки. Достала ключ. Закрыла дверь на замок. Повернулась к внукам, хитренькая, довольная. Погрозила пальцем.

— Таперя не стащите серу, быстрохватки прокудливые.

Егорушка поставил лампу на место, сел рядом с се-

стренками. Посматривая на тетку, которая, выстав чистый холстинкой кошелек, принялась перекладывать в нее пышки, нет-нет да и взглядывал он на чулан, размышляя о подземном ходе: не все, значит, вранье в байках Таньки-Маньки про монашку: под землей-то она, получается, может ходить...

Думал о подземном ходе и капитан. Он, сыто и сонно развалившись на диване, изучающе глядел на Ирину-Аглаю, которая, спрятав под пелериной руки, опустив глаза, стояла в двери на кухню, где вяло переругивались, ужиная, Тиунов и Козырь: Козырь, сопя от удовольствия, жевал мясо и упрямо долдонил, что фрайер, которого они видели в пролетке, а потом на крыльце — чекист; Тиунов, смакуя вино, посмеивался: сам-де ты, Козырь, фрайер, если всюду чекистов видишь.

«Интересно, удалось ему раскопать ход к реке? — посматривая сквозь дверь на Тиунова, размышлял капитан. — Если они с этой кокоткой, — взглянул опять на Ирину-Аглаю, — ничего не сделали, тогда скверно, тогда я здесь, как в мышеловке...»

Про подземный ход в «Мадрид» и к реке рассказывал Модест, брат Ирины, который сам этим лазом и ударал из флигеля, когда по городу внезапным шквалом расплеснулись красные. Модест явился в деревню к кузену Виталию обросший, оборванный, в грязном тулупчике, позабыв и про монокль, и про манерную картавость. Два дня зверски пил, остервенело проклинал все и всех, особенно предателей белочехов и Блюхера, которого называл генералом нищих, ярославским мужланом, замаскированной немчурой, чуть ли не на стену лез от бешенства и отчаяния, а потом исчез. Но во хмелю успел наговорить многого, в том числе и про подземелья флигеля, про то, как туда проникнуть, про ценности, запрятанные то ли в «Мадриде», то ли около, про то, как артиллерийским огнем с отплывающего в панике бронепарохода «Иртыш» ход к реке был разрушен, засыпан, и что снаряды эти, своих же, черт бы их побрал, трусов, подлецов и психопатов, чуть не угробили его, Модеста Астахова!

Виталий Викентьевич вернулся в город, как только понял, что Советы закрепились там прочно. Напросился в ревкоме на работу в порт, был назначен капитаном на раскуроченный, изувеченный, но на плаву, «Святогор» и принялся рьяно чинить-латать его. Хотел похлопотать,

чтобы разрешили жить во флигеле «Мадрида», но там, оказывается, поселилось какое-то пролетарское семейство, состоящее сплошь из женщин, старух и детей. Настаивать, чтобы их выселили, не решился: начнутся распросы — а почему именно там, а чем, дескать, вам в другом месте плохо? Ревком вернул ему прежнюю, еще дореволюционную квартиру, переведя из нее в одну из комнат астаховского особняка какой-то не то подотдел, не то комитет. Мысль о флигеле не давала покоя, и, не в силах сопротивляться искусу поразведать, зачастил Виталий Викентьевич к воротам дядюшкиных меблирашек, посматривая на двор, где сновали крикливые бабы, мельтешила шустрая ребятня, грелись на солнышке усохшие старухи.

Три недели назад, когда возвращался ночью с пристани, вильнула наперерез ему, в квартале от дома, черная гибкая тень и заступила дорогу — сердце от страха чуть не разорвалось. Вгляделся испуганно. Узнал двоюродную сестру Ирину, обрадовался, но и поразился: «Ты же в Екатеринбурге была, в монастыре...» — «Не твое дело. Нужно укрытие, надежное, уединенное... Я не одна». Ирина оглянулась: из переулка вынырнул высокий, быстрый в движениях. Вот этот — Тиунов. «Деньги тоже нужны, — нахально заявил он. — Не бумажки: золото, серебро. Хотя бы немного и на время. Скоро вернем». — «Золото? Откуда? — искренне удивился Виталий Викентьевич. — И с жильем — не знаю. Ко мне нельзя, никак нельзя!» И клятвенно прижал руки к груди. «Я бы и не пошла к тебе, — отрубила Ирина. — Выдашь. Не сразу, так потом. Нужен кто-нибудь одинокий — бабка, старик, вдова. Чтоб жил на отшибе...» И Виталий Викентьевич, лишь бы отделаться, рассказал торопливо о флигеле, о подземных ходах — очень удобно для конспираторов; одно плохо — жильцы, но им можно предложить поехать в деревню. Время сейчас трудное, голодное, в деревне легче, бедняки охотно согласятся, особенно если помочь с подводой, с продуктами на первое время, заплатить в конце концов. «Флигель? — Ирина на секунду задумалась. — Прекрасная мысль. Как я сама не догадалась! — Повернулась к Тиунову, пояснила: — Там отец подсадных уток для купцов держал. Отличное место». — «Только не забудьте: ход к реке завален, — поспешно напомнил Виталий Викентьевич. — И еще клан этот женский...» — «Это уже не твоя забота», — опять бесцеремонно оборвала Ирина...

Ирина-Аглая плавно высунула руку в распах пелеринны, щелкнула крышечкой часов. Пропела постным, смиренным голосом:

— Радение, брат Григорий. Не забыл ли ты о пастве?

— О черт, что ж молчала?! — взорвался Тиунов. Вскочил. Взглянул взбешенно на женщину. Та на секунду подняла на него глаза, и Тиунов запнулся, присутствовал, точно сжался. — Прости мне, грешному, и тон, и слова, сестра Аглая. Силен враг человецев, опять одолел гнев мя.

Он, на ходу срывая парик, отдирая, кривясь, сивую крестьянскую бородавку, быстро прошел через гостиную в будуар. Ирина-Аглая тенью скользнула за ним, застыла на пороге спальни, опять отрешенно потупясь и спрятав руки под пелерину.

— Придется кратчайшей дорогой, — полувопросительно, полуутвердительно шепнул Тиунов, показавшись на миг в дверном проеме.

Ирина-Аглая недовольно передернула плечами, требовательно, словно приказывая молчать, взглянула на кузена и, пятясь, скрылась в спальню.

Там что-то прошуршало, скрипнуло, стукнуло мягко и — стало тихо.

— Слышь, Гриша! Хлопни рюмашку на посошок, — предложил из кухни Козырь. — Тебе, чуёт нутро, всю ночь еще рыскать.

— Нет твоего Гриши, — с усмешкой отозвался капитан. — Испарился.

— Закрой поддувало, шкипер. — Козырь в сбившемся набекрень парике появился в дверях со стаканчиком. Пошатываясь, прошел к будуару, заглянул внутрь. — Апостол!.. Сестра, как тебя... Агафья, ау! В жмурки играем: ты меня видишь — я тебя нет? — Пьяно качнулся через порог.

— Ваш дядюшка был любителем готических романов? — Арчев, зевая, похрустывая сцепленными пальцами, тоже появился в гостиной. Рухнул на диван рядом с капитаном, фыркнул. — Подземные ходы, какая пошлость! Или господин Астахов на старости лет впал в слабоумие?

— В слабоумие впадали загулявшие на ярмарке купцы, — маленькие глазки капитана стали едкими. — Заснув в «Мадриде» или у девиц во флигеле, они просыпались неведомо где. Если, разумеется, вообще просыпались.

— Кончай базар, адмирал! — пробурчал совсем осоловевший Козырь. — Куда дел, змей, друга моего Гришу? Признавайся, где кореш мой Апостол?..

Тиунов в это время миновал уже ответвление к «Мадриду» и, согнувшись, пробирался по узкому подземному ходу, стараясь не задевать стены и низкую кровлю. Свет керосинового фонаря метался перед сапогами бледно-желтым текучим пятном, темной туманной дырой зиял лаз; застоявшийся спертый воздух был вязок — дышать становилось все трудней. Но Ирина-Аглая, начавшая брюзжать, как только закрылась потайная дверь, не умолкала ни на секунду.

— Фигляр... паяц... — задыхаясь, шипела она за спиной Тиунова. — Не можешь забыть... своих триумфов... на любительских подмостках? Зачем тебе нужен был... этот маскарад с переодеванием... в мужиков?

— Ты что, хотела, чтобы меня схватила Чека? — Тиунов остановился, попытался развернуться, но в узком проходе смог лишь голову повернуть. — Знаю, мечтаешь, чтобы я вышел из игры, дрянь!

Женщина не задумываясь вlepила ему пощечину.

— Как ты смеешь?! — Глаза ее блеснули в отсвете фонаря. — Фигурант! Забыл свое место? Напомню!.. Кто позволил раскрыть... тайну флигеля?

Зажмурившийся от пощечины Тиунов промямлил:

— Ничего страшного. Эти, — вяло ткнул пальцем вверх, — пока с нами, не выдадут. А когда доберемся до Золотой Бабы, тем более не будут опасны. Трупы говорить не умеют.

Дальше, согнувшись почти до земли, брели молча. Лишь когда тоннельчик внезапно оборвался, перейдя в высокий коридор с сухими песчаными стенами, Ирина-Аглая властно потребовала:

— Стой! — Вырвала фонарь, осмотрела Тиунова. Сильными шлепками счистила земляную пыль, пятна с его черной суконной поддевки. Прикрутила у фонаря фитиль, взяла за руку партнера, потянула за собой.

В просторном, облицованном крупными каменными плитами склепе, еле освещаемом свечками, которые были прилеплены к крышкам вырубленных из известняка саркофагов, колыхались по стенам тени стариков, старух, бородатых мужиков, баб с отрешенными лицами, зятых в черное. Изредка со скрипом приоткрывалась железная дверь. Вновь прибывший крестился, кланялся на четыре стороны, поджигал от какого-нибудь свечного

огопка свою свечечку и, прилепив ее к саркофагу, сливался с единовѣрцами.

— Братия и сестры, помолимся и возрыдаем,— простонал дрожащий бас из темного, противоположного двери угла.

Качнулись в ту сторону собравшиеся; прошелестел восторженный, умильный шепоток: «Отец Григорий... сподобились... тута он, глянь-ка, тута... брате Григорий, апостоле наш святой»,— потянули руки к еле различимым неподвижным силуэтам Тиунова и Ирины-Аглаи, глубоко, истово поклонились в пояс.

Ирина-Аглая отделилась от Тиунова, скользнула к ближнему саркофагу и тоже затеплила свечку, толстенькую, зеленоватую; потом проплыла в другой угол склепа и там свечку поставила; и в третьем, и в четвертом углу — по свечке. Сладковато потянуло слабым пряным ароматом.

— Возрыдаем и взовем ко господу нашему, уповая на благодать его,— рокотал Тиунов.— Ибо близок конец света, ибо ликует и торжествует антихрист, вступивший с воинством своим бесовским в пределы наши, неся грязь и смрад, кровь и глад, превращая в гноище и пепелище дела рук человецев, а души людские уворовывая на потеху врагу божии-ю-у-у...— И вдруг свирепо и властно взревел: — На колени, братие и сестры! На колени!

Рухнуло сборище на колени, ткнулось лбами в пол.

— Приходите ко господу вашему, вымаливая спасение душам вашим! — зывал стонуше Тиунов.— Ибо тело есть мразь, изъеденная струпьями греховных помыслов и желаний! Тело — пакостно; тело — смертно, гниению и тлению подвержено. Душа же вечна, душа лучезарна, если праведна! Все суета, кроме блаженства душ наших...

— Истинно так... ведаем то... памятуем, не забываем, благостный отче и брате наш,— умильно заголосили старухи и бабы.

Поползли на коленях к духовному наставнику. А тот вскинул вразлет руки, чуть не двинув по лицу скорбной сестры Аглаи.

— И видел, и слышал я ангела летящего и вопиющего,— грозно возвысил голос Тиунов,— горе, горе живущим, ибо настал уже час суда! Пролилась на землю ярость божия, приготовленная в чаше гнева его. Солнце стало мрачно, аки власяница, луна красна, аки кровь,

небо свернулось, аки свиток. Дьявол страшный ярости пришел на землю. Имя тому дьяволу — коммунист; иное имя ему, сатане, врагу божиему и людскому — большевик!

Голос гудел, эхом отталкивался от каменных стен; мотались, то возрастая, то сжимаясь, тени мерно опускавшихся-поднимавшихся в поклонах голов, качались копыца свечных огоньков.

— Ввергнутся сии дети Вельзевуловы в озеро огненное, серное, — Тиунов сменил стенания на радостную напевность. — Будут мучиться во веки веков, и станут искать смерти, и не найдут ее. Мы же, братия и сестры, спасемся! — Простер перед собой руки. — Уйдем в пустынь, в дебри дремучие, в скиты потаенные. И господь отрет слезу с очей наших, и не будет более ни плача, ни вопля. И не будем ни алкать, ни жаждать, ибо обретем успокоение, растворимся в блаженстве, аки ладан в елее.

Всхлипнула восторженно какая-то старуха, засмеялась счастливо какая-то баба, заверещала тощая, с безумным лицом, кликуша, карябая ногтями пол.

— Отринем же суетность мирскую, — взывал с подъемом Тиунов, — отвергнем блага земные для ради обретения блаженства вечного! Отторгнем все, за что хватается, чем дорожит смертный. Употребим оные празднотешащие взор безделицы — искус мирской! — на созидание храма истинной церкви света божиего! — Черные тела раскачивались все исступленней, неритмичней, судорожней. А взвинченный, истерический голос Тиунова подстегивал, хлестал по ушам и нервам: — Покайтесь, и аз воздал каждому по делам его! Раскройте уста и души, и аз впитаю боль вашу! Кайтесь и очиститесь! Кайтесь и возродитесь! Придите ко мне, освободитесь от грехорождающего, грехотворящего серебра и золота, и обретете благодать, и обретете блаженство! Растопчем... сотрем в прах! И откроется!.. И узрим!!

Он задыхался, его била крупная дрожь, в углах искаженного рта вскипела пена, остановившиеся глаза казались безумными.

Взвыли от восторга чада новооснованной церкви света божьего, поползли к стопам апостола своего и равноапостольной сестры Аглаи. Всполошенными птицами замелькали руки, скрываясь за пазухами, в карманах, в темных холщовых сумках; выпорхнули — звонким жиденьким дождичком посыпались к ногам столпов истинной веры беленькие и желтенькие кругляшки монет, бро-

ши, кольца; опустились на пол большие и маленькие иконы с черными ликами, с тяжелыми многослойными ризами и окладами.

— Грядет, грядет царствие света божьего! — голос апостола Григория вновь запереливался жаворонковым пением. — Вижу сияние небесное, вижу ангелов веселящихся, вижу лик твой ненахмуренный, отче наш небесный. Ниц падаем пред тобой, прими, прости, излей на нас ласку свою, господи!

Слезливая мольба его утонула в воплях, полных надежды, просьбы, самоуничижительной плаксивости: паства Тиунова уткнулась лицами в пол — на апостола и сестру Аглаю больше не смотрели, словно тех здесь и не было.

Ирина-Аглая проворно и бесшумно собрала дары в черный саржевый мешок. Тиунов попятился. Исчез. Ирина-Аглая тоже попятилась, тоже исчезла за выступом...

Тиунов, скорчившись над лампой, чиркнул спичкой, поджег фитиль, опустил стекло. И устало опустился на землю, поглядывая на Ирину-Аглаю, которая неспешно закрыла дверь, подперла ее толстым колом.

— Выдохся, — виновато признался Тиунов, когда Ирина-Аглая подошла. Увидел, что женщина нахмурилась, поспешил сменить тему. — Кого поставила у часовни?

— Там Коля Бык и Смешливый, — холодно ответила Ирина-Аглая. — А что?

— Так. Ничего... — помолчал, но не выдержал пытающего взгляда женщины. Пояснил, стараясь улыбнуться: — Коля Бык и Смешливый не дадут этому дурачью, — повел глазами в сторону склепа, — долго юродствовать. Припугнут облавой, турнут. — Закрыл глаза, спросил неуверенно: — Может, пойдем? Вернемся подземельем?..

— Нет! — оборвала Ирина-Аглая. — В спальне наверняка караулят твои дружки. Князь с Козырем. Ждут, откуда мы появимся...

— Ты права. Прости, я сморозил глупость. — Тиунов широко, не прикрывая рот ладонью, зевнул. Глаза блеснули весело и шально. — А что, если мы с тобой да с твоими лейб-гвардейцами возьмем сегодня того остячка?

Женщина на секунду задумалась.

— Зачем усложнять! — отказалась решительно. — Может, Князь кое-что от нас скрыл; может, мальчик будет слушаться только его, может... и так далее. Пусть они выясняют свои отношения. При нас. Это во-первых. Во-

вторых,— она насмешливо поджала губы, глаза ее стали издевательскими,— ты глупеешь. Князь, Козырь и прежде всего Виталий запаникуют, если мы не явимся. Попытаются что-то предпринять. Попадутся. Выдадут.

— Да, пожалуй,— неохотно согласился Тиунов, И мечтательно вздохнул: — А как хорошо было бы схватить мальчишку ночью: без риска, без хлопот...— Приглушенно засмеялся.— Спит, наверно, сейчас дикареныш, сладкие сны о городе видит и не подозревает, что завтра возвращаться ему в свой каменный век.

Ирина-Аглая вытянула из-под пелерины часики, шелкнула крышечкой, посмотрела на циферблат, развернувшись боком к фонарю:

— Еремей не спит. Он ужинает.

Но Еремей пока не ел. Он сидел рядом с притихшим Антошкой за длинным столом. Крутил в руках оловянную ложку, сосредоточенно разглядывал ее, изредка поглядывая то на рыжего Пашку, который оказался напротив, то на Люсю, хлопотавшую у второго, такого же длинного, стола. Только на пристроившегося справа парня, с которым шепталась на собрании Люся и с которым исчезла на время, не решался даже искоса, даже исподтишка посмотреть — понял: парня этого прислал Фролов, чтобы охранять, защищать его, Еремея Сатара, от Арча.

В столовой, ярко освещенной керосиновыми лампами, которые висели в простенках, стоял ровный гул мальчишеских голосов. Гул этот, приослабнув на миг, всплеснулся вдруг с новой силой — дверь в торцевой стене плавно открылась, выдохнув теплую струю слабых кухонных запахов, от которых рот заполнился слюной. Выплыли из кухни двое важных парнишек с подносами, на которых горками уложены были кусочки хлеба. Вслед за хлебоносцами появились еще четверо, прижимая к животам кастрюльки-бачки, из которых поднимался прозрачный волнистый парок. Эти ребята быстренько поставили бачки — по два на стол,— быстренько уселись на свои места, распахивая соседей.

Прокатился по столовой легкий перестук чашек, побрякивание ложек, нетерпеливое: «Давай дели!.. Не томи!.. Не мурыжь, не тяни kota за хвост!»

— Подставляйте посуду, новенькие! — Рыжий Пашка, который делил еду на этом конце стола, щедро, с вер-

хом, загреб черпаком варево, шмякнул его в миску Антошки.— Ешь капусту, малец! Набирайся сил.

Антошка пораженно заморгал, разглядывая коричнево-бурую, мелко нарубленную, разварившуюся траву; уткнулся в нее чуть ли не носом, принюхиваясь, изучая, но Еремей толкнул его коленом: разве можно так, когда дают то же самое, что и себе?

Свою миску Еремей принял невозмутимо. Покосился на парня справа — тот взял ложку, и Еремей взял ложку; тот чего-то ждал, и Еремей решил выждать, раз так падо.

А к ним уже подошел паренек с подносом. Выложил перед Антошкой и Еремеем по большому куску хлеба, совсем не похожего на пароходный. Тот был темный, почти черный, напоминающий глину, а этот — серый, с вкусными даже на вид корочками. Антошка резво цапнул ближний ломоть, но Еремей ударил по руке и опять покосился на соседа справа — тот, получив хлеб, сразу же жадно, с удовольствием принялся за еду.

Еремей понял: значит, и ему можно, значит, соблюденны порядки, принятые за столом,— не показал себя голодным, не начал есть раньше старшего. Быстро разломил ломоть, пододвинул большую часть Антошке, меньшую оставил себе. А второй кусок положил на середину стола.

— Ты чего? — удивился рыжий Пашка.

Еремей не ответил. Сосредоточенно зацепил ложкой капусту, решительно отправил ее в рот. Пожевал с обреченным видом, глядя в одну точку. И, проглотив, заулыбался.

— Хороший еда. Вкусно, Пашка!

— Зачем хлеб отложил, спрашиваю? Не нравится? — Глаза Пашки стали сердитые.— Другого нет, ешь какой дают.

— Не, не, Пашка, нянь тоже вкусный,— поспешно заверил Еремей.— Только много его. Нам с Антошкой один кусок хватит. А мой кусок надо отдать другому, кто шибко есть хочет. У кого нету хлеба...

— Всем одинаково дают,— оборвал Пашка.— Так что не мудри. Ешь! — И, успокоенный, начал выгребать со дна кастрюли в свою чашку.

— Всем? Такой нянь? — удивился Еремей.— На пароходе Фролов сказал, Матюхин боец сказал, что кто-то там, далеко, умирает. Ему есть нечего. Ему хлеб надо. Вот, даю.— И осторожно толкнул подальше от себя

нетронутый кусок.— Нам с Антошкой пополам хватит. Хватит, Антошка?

Тот, поглядывая округлившимися глазами то на Еремея, то на Пашку, неуверенно кивнул.

— Чего, чего? Твой ломоть — голодающим? — Пашка растерянно заулыбался.— Думаешь, эта краюшка спасет кого-нибудь?

— Один кусок одному человеку один день помереть не даст,— уверенно сказал Еремей, принявшись деловито есть.— Много кусков — много дней один человек жить будет... Высушу, отошлю. Люся знает, куда послать,— посмотрел на девушку, которая сидела во главе второго стола. Пояснил с гордостью: — Люся все знает. Шибко умная моя сестра.

И опять покосился на соседа справа — слышал ли тот, что Люся сестра? Парень изумленно глядел на Еремея и, встретившись с ним взглядом, опустил глаза на свою пустую чашку, вычищенную корочкой до блеска.

— А я, брат, весь свой хлеб съел. Не подумал как-то,— он растерянно заморгал белесыми ресничками.

Пашка тоже заморгал, соображая. И вдруг ласково ткнул пятерней Еремея в лоб.

— Ай да Сатаров, ай да голова! — Схватил черпак, забарабанил по опорожненной кастрюле. Закричал весело: — А ну кончай жевать! — И когда недоумевающие детдомовцы замерли, объявил: — Ребята, слушайте! Предлагаю выделять половину нашего хлебного пайка в помощь голодающим детям Поволжья! Начнем сегодня же, сейчас же. Ура Еремею Сатарову — это он придумал! Ура-а-а!

Однако восторженный вопль его расплеснулся по столовой одиноко. Мальчишки запереглядывались, зашумели, обсуждая предложение, но кричать «ура!» явно не собирались.

— Павел, прекрати! Прекрати сейчас же! — Люся вскочила, подбежала к Пашке. Схватила его за плечи, потрянула.— Сейчас же прекрати призывать к глупостям!

— Какие глупости, Люция Ивановна, о чем вы?! — ошеломленный Пашка смотрел с непониманием и даже некоторой подозрительностью.— Мы обязаны помочь голодающим! Это наш долг, долг сытых.

— Действительно, товарищ Медведева, ты что-то не того...— неодобрительно подал голос и сосед Еремея справа.— Дело ведь парень предлагает.

— Дело?! — Люся повернула к нему гневное лицо.—

Не смей так говорить, Алексей! Они сытые?! — Резко мотнула головой в сторону столов, отчего волосы взметнулись светлым облаком. — Да эти ребята не получают и половины той пормы, что нужна в их возрасте...

— А там, — Пашка принялся яростно тыкать пальцем в сторону черных окон, — там вообще ничего не получают! Там помирают! Понимаете, помирают! С голоду! А мы тут жрем, пузы себе набиваем! — Круто разворачиваясь то в одну, то в другую сторону, чтобы охватить всех взглядом, крикнул дрожащим голосом. — Объявляю «месячник сухаря»! Дело, конечно, добровольное, но... А ну, кончай жевать! Доедите хлеб, когда хорошенько подумаете!

11

— Останови здесь! — Тиунов похлопал по широкой спине парня, который сидел на облучке. — Совсем не обязательно, чтобы на тебя пялились из «Мадрида».

Парень, откинувшись назад, натянул вожжи — карачовый жеребец задрал голову, оскалил раздражаемый мундштуком рот и зло заперебирал на месте ногами.

Тиунов выпрыгнул из пролетки, Одернул шинель, натянул поглубже на глаза выгоревшую фуражку с красноармейской звездочкой.

— Жди здесь! — приказал, не повернувшись к извозчику. — Да кузов, не забудь, подними.

И расхлестывая в широком шаге полы длинной, до пят, кавалерийской шинели, быстро направился во двор Дома Водников.

В воротах чуть не столкнулся с каким-то пищим семейством — укутанная в клетчатую шаль старуха, худая, с измученным лицом женщина, которая несла на коромысле ведра с водой, две похожие друг на друга чернявые девчонки с бидонами, крепенький белобрысый парнишка с мешком. Тиунов вильнул в сторону, чтобы не сбить с ног мальчишку, пусто посмотрел на него и свернул к флигелю.

Егорушка поглядел вслед лихому, ладному военному с короткой темно-рыжей бородкой, вспомнил, что вроде видел его вчера из окна, когда только-только пришел к тетке, поудивлялся немного: чего это красноармеец хаживает к купчихе-монашке, о которой столько всего рассказывают? Потом, подергивая плечом, чтобы поудобней

улегся мешок с пышками и серой, побежал было за родней. Но опять остановился: уж такой ли красавец-раскрасавец конь, запряженный в легкую рессорную коляску, стоял у ворот. Караковый, с длинной выгнутой шеей, сторожко переступающий тонкими, на высоких копытах, ногами.

— Чего вылутился? — Здоровенный парень, поднимавший над коляской ребристый кожаный верх, угрюмо посмотрел на Егорушку. — Вали отсюда, пока по шее не получил!

Замахнулся для удара, зыркнул воровато во двор. Егорушка испуганно отскочил и тоже глянул во двор — военный входил во флигель...

Тиунов, оттолкнул плечом капитана, открывшего дверь, прошел в кухню!

— Ты еще не готова? — удивленно спросил с порога, увидев, что Ирина-Аглая сидит с каменным лицом под кинотом, скромненько сложив на коленях узкие белые ладони.

— Я передумал. — Арчев, развалившись на стуле за неубранным после завтрака столом, выпустил в потолок тонкую струйку табачного дыма. — Сестра Аглая останется здесь заложницей. Чтобы вы не удрали, выкрав Еремейку. С вами пойдет он. — Показал папиросой на Козыря, который, в дымчато-синих очках, с накладными франтоватыми усами, жевал кровяную колбасу за другим концом стола. — Не возражаете? По-моему, вы отлично вчера вечером сработались, — и насмешливо посмотрел на Тиунова.

Тот с безразличным видом передернул плечами. Усмехнулся.

— Конечно, недоверие унижительно: думать о партнерах как о подлецах и предателях — это моветон, но... Воля ваша.

— Да, воля — моя! — подтвердил Арчев. Приказал, не повышая голоса: — Отправляйся, Козырь.

— Никуда я не поеду, — с упрямством человека, решившего стоять на своем, заявил тот. — Красоваться в городе днем — что я, псих?! Думаете, поможет этот цирк? — Пренебрежительно щелкнул пальцем по стеклышку очков, брезгливо ощупал усы. — Лучше уж: лапки вверх и самому притопать в Чека. Здрасьте, мол, а вот и я. За высшей мерой пришел, совесть замучила.

— Не тяни волюнку, Козырь, — поморщившись, попросил устало Тиунов. — Коля Бык не может долго маячить перед воротами.

— Коля Бык? — обрадовался Козырь. — Так с тобой Бычара?.. Тогда другой компот, — он заулыбался, — тогда порядок... — Надел шляпу-котелок, которая лежала на стуле, встал. — Все, катим! Козырь больше не ерепенится, Козырь готов!

Ирина-Аглая, которая поднялась одновременно с ним и была уже рядом, вынула из-под пелерины флакончик и сложенный подушечкой носовой платок — протянула Козырю.

Такой же флакончик и платок подала и Тиунову.

В сенях Козырь игриво подмигнул капитану.

— Ну, юнга, ругай нас крепче, — и шутливо ткнул ему под ребра пальцем, — пожелай мне четыре туза в прикупе.

— Пошел ты к черту, скот! — вскрикнул, прогибаясь от щекотки, капитан. Поднял крюк, выпустил в неширокую щель Тиунова и его напарника и быстро закрыл дверь.

— Наверняка этот болотный моряк плюнул нам в спину, — посмеиваясь, заметил Козырь.

— Помолчи! — оборвал Тиунов. — Коле Быку на шею не кидайся. Ты его видишь впервые.

Коля Бык сидел на облучке, перебирал вожжи, сдерживая жеребца, который, пригнув голову, копытил правой передней землю. На Козыря Коля Бык посмотрел равнодушно. Козырь обиделся было на приятеля, но сразу же и обрадовался: подумал, что старый кореш не узнал в гриме. Но Коля Бык подмигнул, и Козырь помрачнел. Нырнул в кузов пролетки, спрятался в глубине, чтобы не видно было с улицы. Тиунов, юркнув в пролетку, тоже забился поглубже.

Коля Бык отпустил вожжи; застоявшийся конь боком-боком начал выворачивать на дорогу и пошел хорошей, размеренной рысью.

— Около барахолки сойдете, — негромко объяснял Тиунов. — Когда буду возвращаться с остячком, вскочите с двух сторон. И — тряпку с хлороформом на морду ему, чтобы не пищал. Кто быстрее... На!

Ткнул в спину Колю Быка. Тот, не оборачиваясь, принял сверток, сунул его в карман зипуна.

Откидываясь назад, Тиунов быстро и остро глянул по сторонам: нет ли чужих глаз, нет ли подозрительных

зевак? Но по улице тек в оба конца — на рынок и с рынка — обычный люд, заурядные обыватели.

Близ площади, когда уже стал явственно слышен шум большой толпы, Тиунов опять тронул за спину Колю Быка. Тот придержал коня, привстал. Тяжело ворочая головой на толстой шее, поглядел вправо — туда, где за низеньким забором виднелся берег. Грузно опустился на козлы.

— Не видать на пристани мелюзги, — полуповернулся к Тиунозу. — Чего делать будем, Апостол?

— А черт, неужто коммунарики отменили свой субботник? — Тиунов погрыз палец, сплюнул. — Ладно. Остаповишься у чайной Идрисова и — как договорились. А я — к монплезиру, к красному приюту. Посмотрю, в чем дело.

Коля Бык чмокнул, жеребец опять ускорил ход — слева, справа замелькали все гуще, все плотней лица, платки, картузы, кепки, фуражки, шляпы и шляпки; захлестнуло многоголосье требовательных, возмущенных, отнекивающихся, настаивающих выкриков, отчаянной ругани, гвалта.

— Разошлись в разные стороны! — приказал Тиунов, когда пролетка остановилась. — Да не увлекайтесь мелочовкой, карманщиной. А то проморгаете меня с остячком. Смотрите тогда: шкуру спущу!

Подхватил вожжи, подождал, когда Коля Бык, качнув пролетку, спустится с облучка, когда Козырь, гибко выскользнув из кузова, екроеется в толпе, и с лентой выпрямился. Перебрался на козлы, быстро и незаметно огляделся. Ничего подозрительного: мелкие барыги, копеечные покупатели; равнодушно посмотрел на семейство, которое встретил в воротах «Мадрида» — приткнулись к кирпичной стене чайной Идрисова, воду из ведер по бидонам разливают.

Широко зевнул, похлопал ладонью по рту и слабо шевельнул вожжами.

Егорушка, ошеломленный размахом, сумятицей барахолки, прижался к стене кирпичного дома с вывеской «Чай и пельмени Идрисова», вспомнил, что вчера проходил здесь с Люсей и остячатами, и с завистью подумал о Еремее и Антошке — тем не надо было тащиться на базар, не надо было все утро выслушивать бабкины вздохи, причитания, что — ох-хо! — будет ли нонче хоть маломальский прибыток; как же дальше жить, сжели не на что жить, а тут еще один рот, взрослый, почитай,

мужик появился, и хоть тетка успокаивала Егорушку — не слушай, мол, это не со зла, — Егорушка чувствовал себя чужим, дармоедом — подкидышем, одним словом. И от этого было так тоскливо и муторно, что впору завыть.

Он, стараясь угодить, суетливо начал было разливать по бидончикам воду из ведер, да плеснул на землю — то ли толкнул кто, то ли руки дрогнули от усердия. Испугался: он знал, из-за пролитой воды и тетка может рассердиться — она несла ведра от самого дома, а тут...

Бабка обожгла Егорушку взглядом, тот сконфуженно отвернулся и увидел, как сквозь толпу медленно приближается запряженный в коляску караковый конь, недавно привязанный к воротам Дома Водников.

Угрюмый здоровенный извозчик, который грозился дать по шее, неуклюже спустился с облучка, направился к беспрестанно хлопающей двери в чайную, откуда рвался, то затихая, то взрываясь бранью, гул, текла нудная, какая-то неживая музыка — бесконечно повторяющиеся, дребезжащие звуки; из глубины коляски, из-под кожаного короба выскользнул ездок.

И у Егорушки обмякли ноги — знакомой показалась эта худая, гибкая фигура с покатыми плечами, с длинными обвисшими руками: так же выглядел со спины бандит, который застрелил дедушку. Худой на миг оглянулся. Егорушка облегченно выдохнул — нет, видать, ошибся: этот, в черной округлой по верху шляпе, в синих очках, был с усами, а тот — бандит есеровский — был без очков и без усов.

Егорушка перевел взгляд на коляску. В ней уже сидел на козлах военный, с которым чуть не столкнулись в воротах. Военный зевнул, похлопал ладонью по рту и слабо шевельнул вожжами; жеребец, косясь на людскую толчею, осторожно двинулся вперед, выбираясь на затененную тополями улицу, по которой и Егорушка и остячата шли вчера с Люсей к приюту. Егорушка, точно зачарованный, тронулся было следом, но бабка ухватила его за плечо.

— Куды?! Ишь ты, барчук! — Сунула ему в руки бидончик, кружку. — Ступай зарабатывать на хлеб!

Невдалеке уже кричали невидимые Танька с Манькой:

— Воды, воды!.. Кому воды? Родниковая, свежая, холодная! Даром даем — пять рублей кружка!.. Вода, холодная вода!..

Голоса сестренок то затихали, удаляясь, то слышались явственней, то сближались, то расходились.

Егорушка, у которого от неловкости, от стыда стало жарко щекам, тоже выкрикнул:

— Кому воды надо? Воду продаю!

Растерялся от своего жалкого голоса, ставшего каким-то просительным, заискивающим, и смолк. Бочком скользнул в круговерть толкучки, перевел дух — не успела бабка щелкнуть по затылку — все утро наставляла: предлагать воду надо весело, радостно, чтобы человек, пушай даже ему и не хочется пить, раскошелится на кружечку. Сама же она за дело принялась с усердием.

— А вот сера, кедровая сера! — долетал ее чуть ли не счастливый голос. — Пожуешь и есть неохота! Налетай, покупай, ребятишек угошай. Дешево, вкусно, сытно!

— Пышечки свежие, пышечки вкусные, — вторила свекрови Варвара, но голос ее, хоть и пронзительно-громкий, был неуверенный, ненапористый. — Одну пышечку съешь, вторую захочешь!

Егорушка молча толкался между продавцами-покупателями, глазел на всякую всячину, уважительно поглядывал на одежду-обувку, хоть на добротную, мало затасканную, хоть на старую, поношенную. Навяливать воду Егорушка больше не решался. Лишь изредка поднимал глаза на какого-нибудь не злого на вид мужика или бабу с добрым лицом, предлагая несмело купить кружечку, но от него отмахивались, даже не взглянув.

Шумит, кипит, бурлит, клокочет барахолка; висит над ней галдеж и гвалт, гам и гомон.

И вдруг издалека наплыл чистый и переливчатый, как клик журавля, звук-зов, накатил еле слышимый дробный рокот, плеснула пока еще плохо различимая, но бодрая, лихая песня... Все сильнее рассыпался нарастающий рокот; все громче и решительней накатывали на затихающую в удивлении барахолку упругие волны песни:

— Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!
Ать-два, ать-два, горе не беда,
Пусть трепещет враг,
Нынче и всегда!

Егорушка, расталкивая плечами, бодаясь, отпихиваясь локтями, вырвался из толкучки. И замер пораженный.

На барахолку надвигалась из глубины тополевого коридора тихой, сонной улицы неширокая, но плотная — плечом к плечу — колонна мальчишек, и весь люд, продающий и покупающий, праздно глазающий и бесцельно шатающийся, медленно попятился, отступил, давая дорогу этой целеустремленной, твердо вышагивающей ребятне.

Переливался в голове колонны алый, как пламя, текучий флаг, который несла тоненькая, в туго перетянутой гимнастерке, в красной косынке девушка — «Люся!» — обрадовался Егорушка; слева от нее сосредоточенно бил в потертый барабан крепкий плечистый парнишка — пулеметной очередью рассыпался победный рокот; второй парнишка, рыжеголовый, справа от девушки, прильнув губами к сверкающей золотистой трубе, вскидывал ее, и тогда взмывали к небу торжествующие переливы. Покачиваясь, проплывали широкие фанерные и картонные полосы с надписями: «Смерть разрухе!», «Смена смене идет!», «Свободным людям — свободный труд!»

— Посмотрите, как нелепа
В нашей жизни рожа нэпа!
Ать-два, ать-два, горе не беда,
Пусть трепещет враг,
Нынче и всегда!

Егорушка, спрятавшись за какой-то толстой теткой, завистливо смотрел, как проходят мимо мальчишки, и чуть не закричал от радости, чуть не бросился к колонне — увидел в середине третьего ряда Антошку. Тот был серьезен, сосредоточен, смотрел прямо перед собой, старательно разевая рот в лад песне. Егорушка искал глазами Еремея, который, конечно же, должен быть рядом с Антошкой: вытянул шею, приподнялся на цыпочки — Еремея не было.

Отбухали твердо шаги, начала опускаться, рассасываясь, слабая пыль, поднятая детдомовцами; рокот барабана стал затихать, донеслось ослабленное расстояние:

— Хочешь строить социализм,
Рядом с нами становись!
Ать-два, ать-два, горе не беда,
Пусть трепещет враг,
Нынче и всегда!

И прямая прогалина, пробитая отрядом в мешанине толкучки, начала заполняться людьми, затягиваться — так затягивается ряской полоса чистой воды, оставшей-

ся в болоте от сохатого, уверенно, без раздумий преодолевшего трясины.

Егорушка, прислушиваясь к звонко-радостному зову далекой трубы, медленно, как во сне, пошел на этот голос.

Выбрался на окраину базарной площади, увидел, как рассыпался шустрыми муравьями отряд в конце улицы, под уклоном; увидел светло-стальную ширь реки, пакгаузы и амбары пристани, черный утюжок «Советогора», приткнувшегося к серой полоске пристани, и, не отрывая глаз от мельтешащих фигурок детдомовцев, облепивших вросшую в белый песок рыжую баржу, направился к берегу, где сливалось в пятна, растекалось на отдельные струи и завихрения оживленное многолюдье, где маленькими факелами трепетали красные флаги, где пиликала залихватски гармоника, откуда наплывал смех, радостные крики, озорная и бойкая переключка чадушек.

Сзади послышалось лошадиное всфыркивание. Егорушка оглянулся.

Мимо не спеша прокатила коляска, на облучке которой сидел тот самый военный с темно-рыжей бородкой. Коляска спустилась по длинному пологому уклону, медленно проехала вдоль песчаной отмели, развернулась около баржи, на которой копошились детдомовцы, и остановилась...

Тиунов издалека заметил остячонка, которого показал вчера Козырь. Мальчишка вместе с приютской мелюзгой суетился около баржи. Вот вцепился в кривую ржавую трубу, поволок ее, оставляя волнистый след.

Развернув жеребца мордой к Базарной улице, чтобы можно было в случае чего тотчас удрать, Тиунов спустился на землю.

Антошка бросил трубу около кучи таких же искореженных, поломанных железяк и побежал было назад, но его окликнул спокойный голос:

— Эй ты, остячок! Поди-ка сюда!

Антошка обернулся. Около красивой, с кожаным верхом телеги стоял улыбающийся военный в фуражке с красноармейской пятилепестковой меткой и манил к себе пальцем. Антошка тоже заулыбался. Вытирая ладошки о бедра, пошел несмело к военному.

Люся, подтащив вместе с Пашкой трухлявый брус к борту баржи, увидела, что Антошка робко приближается

к незнакомцу в кавалерийской шинели, небрежно навалившемуся на облучок вместительной пролетки. Выпустила брус и, не раздумывая, бросилась вниз с почти двухсаженной высоты. Рядом плюхнулся Пашка, посыпались с баржи и другие мальчишки, но Люся даже не взглянула на них. Проворно вскочила и, спотыкаясь, кинулась к пролетке.

— В чем дело, товарищ? — еще на бегу крикнула встревоженно. Подскочила, оттеснила, прикрыла Антошку; передвинула на живот кобур с наганом. — Кто вы, что вам нужно от ребенка?

— Товарищ Медведева? — Тиунов, приветствуя, не принужденно вскинул руку к козырьку. — Много слышал о вас. Рад познакомиться, — и еще радостней, прямо-таки влюбленно, заулыбался.

Но Люся на улыбку не отозвалась, смотрела строго.

— Кто вы? И что вам нужно? — повторила требовательно.

— Этот мальчик поедет на опознание. — Тиунов дружелюбно подмигнул Антошке, который выглядывал из-за спины девушки. — Дело в том, что час назад мы арестовали Арчева.

— Арчева?! — Люся обрадованно ахнула, но тут же опять нахмурилась. — Покажите ваши документы. Что-то я вас не видела в Чека...

— Я здесь всего неделю. Переведен из Екатеринбурга. — Тиунов расстегнул шинель, полез за пазуху. — Бдительность — это хорошо, это замечательно... Вот, пожалуйста, — достал сложенный вчетверо лист бумаги, тряхнул его, расправляя. Протянул девушке. — Кстати, товарищ Фролов просил привезти и вас, так что... Милости прошу в фазтон, — и опять заулыбался.

Люся, изредка вскидывая на него глаза, внимательно читала мандат, придирчиво изучала печать.

Тиунов, ласково жмурясь, смотрел поверх голов детдомовцев.

Трепетали под легким речным ветерком флаги, деловито хлопотали люди на мертвых тушах пароходов и барж, восторженно вскрикивала визгливая гармошка с завалившегося на бок буксира «Самсонъ», на которой наябывал, свесив с борта ноги в валенках, дедок; взвилась звонкая частушка, но ее заглушило громовое буханье кувалды по гулкому железу, и удалось расслышать только: «Мой миленок комсомолец, а я комсомолочка...» Когда же буханье кувалды оборвалось, частушка уже

заканчивалась: «...с Фейербахом мается». И снова — лязг, громоуханье железа, треск досок, крики, хохот. А вокруг — солнце, блики на воде, белый песок, свежее дыханье реки.

— Что ж, документ в порядке. Поехали,— Люся протянула мандат Тиунову.

Тот, кажется, и не заметил этого. Пришлось тронуть его за руку.

— Ах да, извините.— Тиунов взял бумагу, широко, плавно повел ею.— Какой энтузиазм, какой порыв, а! Вот уж действительно: свободный труд свободных людей... Разрешите? — Поддержал девушку за локоток, помогая ей взобраться в пролетку. Подхватил под мышки Антошку, вскинул к Люсе.— Ну, держись крепче, смена старой гвардии! Помчим с ветерком.— И единым махом взлетел на облучок.

— Павел, остаешься за старшего,— крикнула Люся.— Мы скоро.

Жеребец рванулся с места, пролетка выскочила с песчаной отмели на твердое и полетела, удаляясь.

Егорушка видел, как прыгнула с баржи Люся. Он сразу узнал ее, хотя девушка была далеко. Видел, как подбежала она к военному, как окружили их детдомовцы, как Люся и какой-то мальчишка — «Антошка!» — сели в коляску, как рванулся с места жеребец, и стало Егорушке беспокойно, тревожно, нехорошо на душе. Как только коляска с мелькнувшим в ней лицом — «Антошка, конечно, это Антошка!» — миновала Егорушку, он в два прыжка догнал ее, прицепился сзади. Бидончик выпал из рук, покатился под уклон, широко расплескивая воду. Егорушка обомлел, чуть было не соскочил, чтобы подобрать посудину, но, разозлившись вдруг, кинул и кружку.

Огибая толкучку, жеребец перешел с рыси на шаг, и Егорушка спрыгнул, опасаясь, что его увидят Танька и Манька или — упаси бог! — бабка; а может, кто-нибудь, кому до всего есть дело, начнет срамить, указывать на него, Егорушку, пальцем, кричать кучеру, что у него сзади жиганенок прицепился. Трусцей бежал Егорушка, не отставая от коляски, и когда экипаж выехал на улицу, в конце которой стоял дом тетки и флигель монашки, увидел вдруг, как слева и справа вскочили в коляску извозчик, уходивший в чайную, и тот, усатый, очкастый, похожий на убийцу дедушки.

Тиунов, как только шатнулась и слегка осела под

сообщниками пролетка, гикнул, ожег концами вожжей коня. Жеребец, оскорбленный ударом, рванулся так, что чуть гужи не порвал. Свистнул ветер, пролетка мелькнула смазанным пятном мимо не успевших ничего ни заметить, ни сообразить прохожих, и — только рассыпался, затухая, слитный перестук копыт, только закружилась, удаляясь, пыль.

В ворота «Мадрида» жеребец влетел на полном скаку, чуть не зацепив оглоблей кирпичную тумбу. Тиунов, упав назад, натянул вожжи. Конь задрал голову, захрипел, но прыть умерил, заприплясывал, виляя крупом и высоко поднимая передние ноги.

Около флигеля Тиунов развернул пролетку так, чтобы из «Мадрида» видна была только задняя часть кузова.

Их ждали. Не успел Тиунов соскочить на землю, как дверь распахнулась. Коля Бык выдернул из пролетки безжизненно обмякшую девушку, передал Тиунову. Тот схватил ее в охапку, пихнул к капитану и Арчеву и тут же припал от Козыря мальчика. Коля Бык уже сидел на козлах, а Козырь уже шибанул в спину Тиунова, прорываясь в сени. Дверь захлопнулась, звякнул крик, зачастил снаружи мягкий топот копыт.

— Фишита! — Тиунов снял фуражку, отер ладонью лысину. — Полдела провернули... — и осекся, увидев бешеное лицо Арчева.

Тот лютыми глазами смотрел на Козыря.

— Ты кого привез?! — зашипел, брызжа слюной. Отшвырнул вялого, с закрытыми глазами, Антошку растерянно улыбающемуся капитану. Схватил Козыря за грудки. — Куда ты смотрел, идиот?! Ведь это не Еремейка!

— Как не Еремейка? Как не Еремейка?! — Козырь, сорвав очки, пораженно заморгал. — Вы же сами этого шкета показали на пароходе. Помните, тогда-то, через дверь в каюте? Я это мурло намертво запомнил, гадам буду!

— Ты уже давно гад! — Арчев коротко ударил его в зубы.

— Господа, тише, пожалуйста, — ровным голосом попросила Ирина-Аглая. — Нас могут услышать... — Открыла дверь в кухню. — Прошу! Обсудим ситуацию спокойно, без истерики, — и скрылась в доме.

Капитан, подпернув за подмышки Антошку, покачиваясь и мелко перебирая ногами, устремился за ней.

— М-да, досадный промах,— Тиунов наморщил лоб, почесал его мизинцем. Надел фуражку.— Помогите кто-нибудь втащить эту...— кивнул на Люсю, которая, уронив голову к плечу, сидела на полу.

Арчев выпустил Козыря, нагнулся к девушке, выдернул наган из ее кобуры, сунул в карман. Схватил Люсю за ноги.

— Зачем вы привезли эту мерзавку?— спросил возмущенно.

— Затем, чтобы она не привезла меня к Фролову,— ответил Тиунов, подхватывая девушку за плечи.— Хорошо, что у меня хватило ума не называть остячонка Еремейкой, а то бы...

Они внесли Люсю в кухню, усадили на стул.

— Что же теперь делать будем, а?— Капитан с белым от страха лицом посмотрел на Арчева.

— Как что?— Тот уже успокоился. Достал из кармана портсигар, вынул папиросу.— Будем искать Еремейку, что ж еще?

— Засыпемся,— промычал Козырь, ощупывая вспухшую, кровоточащую губу.— Сработано чисто, но ведь все равно наследили.

Арчев презрительно полоснул его взглядом. Прикурил, поглядел вопросительно на Тиунова.

— Сложновато теперь,— подтвердил тот. Нагнувшись к столу, он выбирал, чего бы выпить.— К концу субботника этой девки хватятся,— показал глазами на Люсю,— и тогда...— покачал удрученно головой.

— Мне кажется, господа, еще не все потеряно,— тихим голосом сказала, почти пропела, Ирина-Аглая, появившись в двери гостиной с веревками в руках.— Заставьте мальчика,— показала взглядом на Антошку,— привести сюда его друга Еремейку. Сделайте мальчику больно. Сделайте на его глазах больно этой тете. Скажите ему, что, если он не согласится, тетя умрет.

Объясняя, подошла к девушке, которую поддерживал Козырь. Завела ее руки за спинку стула, принялась деловито и умело связывать. Сорвала красную косынку с головы пленницы, завязала этой косынкой ей рот.

— Держите!— кинула веревку капитану и Арчеву.

Те подхватили стул с Антошкой, поставили его напротив девушки. Тоже оплели, обмотали веревкой тело ребенка.

— Вот теперь хорошо,— Ирина-Аглая вынула из-под пелерины стеклянный пузырек, отвинтила пробку. Ткну-

ла горлышко пузырька под нос девушке. Люся дернула головой, застонала. Веки ее шевельнулись. И тут же широко распахнулись — она увидела связанного Антошку, а рядом с ним Арчева — чистенького, гладко выбритого, тщательно причесанного.

— Спокойно сидите, глупенькая, — посоветовала сладким голосом Ирина-Аглая, когда плённица заизвивалась, — не будьте смешной.

Люся посмотрела на нее, увидела рядом с этой хрупкой, затянутой в черное, женщиной усатого и обмякла — узнала в нем Козыря.

Ирина-Аглая сделала шаг к Антошке, поднесла и к его носу пузырек. А когда мальчик, вскрикнув, вытаращил глаза, стал хватать ртом воздух, отошла под китот. Опустилась на табуретку, смиренная, скромная.

— Ну вот и встретились, проводничок, — Арчев наклонился к Антошке. — Слушай внимательно: сейчас мы пойдем с тобой за Еремейкой. Согласен?.. Иначе мы начнем тебя бить. Но сначала изобьем тетю Люсю, чтобы ты видел, как это больно и страшно. Будем бить ее, пока не подохнет или пока ты не согласишься. Понял? — и посмотрел через плечо на Козыря.

Тот левой рукой вцепился в горло девушки, а правой наотмашь ударил ее по щеке.

Антошка задергался, пытаясь освободиться от пут.

— Тебе будет еще больней, — пообещал Арчев. Глубоко затянулся папиросом, наблюдая за синеньким дымком, извивисто уползающим вверх. — Отвечай: приведешь Еремейку?

Антошка, не задумываясь, плюнул ему в лицо.

— Черт, и этот харкается! — Арчев брезгливо шаркнул пятерней по своим губам, по носу.

Отбросил окуроч, схватил двумя пальцами мальчика за щеку и, выкручивая кожу, раздирая рот, потребовал, еле сдерживаясь, чтобы не заорать:

— Говори «да», звереныш! Соглашайся, а то придушу!

— Нет! Нет! — закричал пронзительно Антошка. Он морщился от боли, по щекам широкими дорожками текли слезы. — Не скажу «да»! Не позвоу Еремейку! Убивай, не боюсь!

Арчев торопливо зажал ему рот, поглядел встревоженно на окно. Сквозь щели ставен прорывался солнечный свет, рассекая полумрак кухни четкими яркими полосами, в которых плясали пылинки, клубился дымок.

И вдруг! Заходили ходуном, затрещали ставни, заметались широкие ленты яркого солнечного света, забренчал в сквозной дыре стены железный болт — кто-то решительно колошматил в щиты, прикрывающие окно.

— Эй, открой! — громко потребовал снаружи ломкий мальчишеский голос. — Это я, Еремей Сатар! Открывай скорей! Я пришел.

Еремей проснулся сразу — не успело еще отзвучать веселое протяжное Люсино: «Подъе-е-ем!» Огляделся — спальня ожила, загалдела: детдомовцы в одинаковых коротких штанах, которые называются «труссы», вскакивали, как подброшенные, с кроватей; взметнулся слева и Антошка, выскочил в проход между койками, где, толкаясь, распахивая друг друга, уже теснились новые его приятели. А Еремей поднялся с постели не торопясь — негоже взрослому охотнику прыгать и орать, точно маленькому, надо оставаться невозмутимым. Как вчера.

Вчера в столовой спорили долго и шумно, но он, Еремей, молчал. Он свое сказал. Правда, и кричавшие спорили не о том, помогать или нет детям Поволжья, — с этим все согласились: обсуждали, что еще, кроме хлеба, могут выделить. Решили: можно отдать половину круп и половину растительного масла — остальное не довести, испортится по дороге. Хотели было и хлеб отсылать мукой, но Пашка запротестовал: «Давайте все же лучше сухарями. Так сразу видно, сколько у нас получится». Когда, поорав, все подняли высоко вверх руки, Пашка выскочил из-за стола и убежал в зал, где проводилось собрание. За ним потянулись и остальные. Еремей и Антошка тоже пошли туда. Пашка, склеив несколько плакатов и разостлав эту длинную бумажную ленту на полу сцены, уже писал на белой обратной стороне, макая деревянную лопаточку в банку с красной жижей. Еремею удалось дожждаться лишь конца слова «Даешь...». Старичок, которого детдомовцы называли Фершал, опять увел Еремея в комнату с красным крестом на двери. Опять велел снять одежду, уложил на низкую кожаную кровать, разрезал повязки. По радостным глазам старичка, по довольному виду сестры понял Еремей — все идет хорошо, болячки заживают.

«Спать! — приказал Фершал, когда снова перевязал Еремея. — Завтра утречком еще посмотрим...»

И сам отвел его в просторную, со множеством коек,

пустую комнату, сам уложил в постель. Еремей не сопротивлялся, не возражал. Он хотел побыть один, чтобы вспомнить во всех, даже самых малых подробностях, день — столько нового, неожиданного, интересного: надо во всем разобраться, надо все обдумать. Закрыв глаза и вновь увидел мальчишек, которые окружили его и Антошку когда их, переодев, накормив, привели туда, где висел на стене, как и в большой каюте на пароходе, черный квадрат; увидел рыжего Пашку, увидел начальницу, толстого повара... Потом все исчезло. И не знал Еремей, что заснул он с улыбкой; не знал, как обрадовалась Люся этой улыбке, как переглянулась с Алексеем и Фершалом, как те тоже заулыбались в ответ...

С громким беспорядочным топотом умчалась ребятня на улицу. Поглядывая на Люсю, которая поджидала в проходе между койками, Еремей натянул нырики, тоже неуверенно побежал по коридору. И замедлил шаг, читая прибитый к стене плакат: «Даешь месячник сухаря!» — вот что писал вчера вечером Пашка!

На крыльце Еремей остановился пораженный.

Мальчишки, отступив друг от друга шага на два, растянувшись в длинные ряды, наклонялись, приседали, повторяя движения Алексея, который стоял перед ними. И Антошка, который стоял в самом центре первого ряда, тоже повторял все движения Алексея. Еремей удивленно оглянулся на Люсю, шагнул на ступеньку, чтобы спуститься с крыльца и тоже махать руками, ногами, подпрыгивать, если здесь так принято, но сестра удержала его за плечо.

— Нет уж, не торопись! Тебе пока нельзя... Пойдем-ка лучше, братец, на медосмотр,— и повела к Фершалу.

— Ни о каком субботнике не может быть и речи, товарищ Медведева,— осмотрев Еремея, решительно заявил Фершал, и морщинистое лицо его отвердело.— Там нагибаться надо, тяжести ворочать. Не позволю! Разрешаю в кухне. Но чтобы никаких работ, связанных с физическим напряжением. Ясно?

После завтрака — желтое варево из крупных шариков под названием «горох», красный чай под названием «морковный», тоненький, по сравнению со вчерашним, кусок хлеба — детдомовцы, прихватив прибитые к палкам полосы из тонкого многослойного дерева или толстой, как обложки книг, бумаги, на которых были надписи, высыпали на улицу. Быстро и привычно выстроились в тесные ряды. Стояли они плотно — плечом к пле-

чу,— как братья, как люди одного рода, которые и понимают друг друга без слов, и важное, нужное дело делаю без лишних разговоров.

Еремей хотел уже вернуться в дом, чтобы разыскать Люсю и попытаться упросить: может, разрешит встать в строй?.. Но тут вышла она сама. И Еремей, увидев сестру, не осмелился заговорить с ней.

Люся была неузнаваемая: сосредоточенная, серьезная. С красным, плавно переливающимся флагом в руках. За ней появились рыжий Пашка с блестящей золотистой дудкой и крепкий плечистый парнишка по имени Васька с русским бубном — широкой обшарпанной трубой, с двух сторон обтянутой потертой кожей. Вышли на крыльцо и начальница, и Фершал, и толстый от какой-то болезни повар, и оба мальчишки, оставленные на кухне.

— Напра-а-во! — приказала Люся.

Колонна враз, одним движением, повернулась боком к крыльцу. Только Антошка в середине третьего ряда замешкался — чуть не упал, толкнув товарищей. Но никто не засмеялся.

А Люся уже стояла впереди отряда, и алое полотнище флага мягко стекало ей на плечи, перекликаясь цветом с косынкой.

Тоненько и чисто запела дудка Пашки, рассыпался громкий уверенный рокот сдвоенного бубна Васьки. Колонна качнулась — слаженно забухали ноги — и двинулась меж стенами деревьев к выходу из парка; даже Антошка попал в шаг, не сбился, не поломал ряды.

Над начавшими уже желтеть тополями взвились с перепугу галки и воронье, загалдели истошно, заматались черными лохмотьями в светлом небе.

Колонна удалялась, растворяясь в ослепительном сиянии солнца, залившего аллею, — красным костерком трепетал флаг, покачивались прямоугольники щитов с лозунгами.

На крыльце зашевелились и, поглядывая в дальний конец аллеи, нехотя потянулись в дом.

Еще с порога кухни увидел Еремей на длинном столе у окна штабелек серых буханок, а рядом — внушительную кучу коричневых сухарей. Сдерживая улыбку, пошел к этой встопорщившейся горке хлеба для голодных детей русики, чтобы потрогать ломтики, но повар удержал за рукав. Подвел к ящику, в котором лежали какие-то округлые, похожие на серые камни, клубни, пока-

зал на табурет. Когда Еремей сел, мальчишка-дежурный поставил ему между ног ведро, а чуть в сторонке — большую кастрюлю. Повар с трудом нагнулся к ящику, взял клубенок покрупней и быстро ободрал его ножом до чистой белизны, да так ловко, что получилась единая ровенькая и тоненькая стружечка-спираль. Стремглав выковырнул кончиком ножа черные точки и подал нож Еремею.

— Вот так чистят картошку! Главное — бережливость. Ясно?

Еремей кивнул. Выбрал картофелину побольше и смело врезался в нее — отвалился толстый шматок. Мальчишки, искоса наблюдавшие за новеньким, хихикнули, а повар ахнул:

— Да ты нас разоришь с такой работой! Всех ребяташек голодными оставишь!.. Не-е-ет, так дело не пойдет!

— Не сердитесь, — вмешался Алексей, сочувственно поглядывая на съжившегося Еремею. — Для него это внове. Дайте ему что-нибудь полегче.

— А что полегче? — огрызнулся повар. И хрипло, одышливо засмеялся. — Яичные белки для суфле взбивать? Фаршировать пулярок? Изюм промывать? Так ведь нет ни яиц, ни кур, ни изюма... Хотя... А ну пошли, — похлопал Еремею по плечу, предлагая подняться. Подвел к ближнему от двери на улицу краю стола показал на большой таз со свежей рыбой: — Вот, рабочие с крупорухи прислали на ушину. Сможешь почистить?

Еремей с невозмутимым видом выхватил из таза небольшого язя. Небрежно швырнул его на широкую досочку, в несколько точных взмахов ножа соскоблил чешую, перебросил тушку на другой бок. Еще несколько взмахов и... очищенная, выпотрошенная рыбина плюхнулась в кастрюлю с водой. Повар восхищенно крикнул.

— Вижу мастера, — заметил уважительно. — Работай, виртуоз, не буду мешать, — и отошел к другому краю стола делить хлеб, нарезать его и для обеда детдомовцам, и на сухари...

В тазу остались только два подлещика и шуренок, когда мимо окна промелькнула какая-то тень. И хотя Еремей был занят делом, скользнувшую по стеклам тень заметил и догадался, что это Егорка: предчувствовал, что тот появится, все утро ждал его. Однако то, что внук Никифора-ики, такой тихий, задумчивый и на пароходе, и в городе, бежал, насторожило. Еремей осто-

рожно посмотрел за спину: Алексей отложил нож, которым чистил картошку, и, нагнувшись, схватился за ручку бака с водой, чтобы помочь повару поставить на плиту.

Егорушка, проскочив мимо окна, тоже заметил Еремея. И обрадовался, что не надо разыскивать его по всему детдому. Затормозил, сунул взлохмаченную голову в дверь черного хода кухни.

— Еремейка! — окликнул быстрым шепотом. — Айда-ка, скажу чегой-то!

А Еремей уже шел к нему. Встревожился еще больше: Егорка был босой, без верхней одежды; оглянулся — Алексей и повар, хакнув, взметнули на плиту бак.

— Смотри ты, быстро же Сатаров сдружился с вашими, — удивленно-радостно заметил Алексей, сдвигая на конфорку бак и искоса наблюдая за подопечным.

— С этим, что ль, сдружился? — Парнишка, засовывавший дрова в топку, показал поленом в сторону двери. — А он и не наш вовсе. Домашний.

И растерянн смолк — новый воспитатель кинулся к выходу, но дверь уже захлопнулась, брякнул с той стороны засов.

Алексей с маху ударился в дверь плечом. Отскочил, шибанул ее ступней.

— Чего вы, дяденька? — второй парнишка, мывший морковь, удивленно уставился на воспитателя. — Они ж друзья. Еремей с этим... Вместе на пароходе приплыли.

— А-а, дьявольщина! — взвыл Алексей. — Еще не лучше! Затеяли что-то!

Бросился к внутренней двери. Проскочил коридор, напугав дневального, вылетел на крыльцо. Стрельнув глазами влево-вправо, ссыпался по ступенькам; стремительно обежал дом — никого! Вскинул, сбрасывая со скобы-крюка, толстую железную поперечину, распахнул дверь.

— Где живет этот домашний? — выкрикнул с порога.

— Н-не знаю, — парнишка с полными пригоршнями мелкой моркови растерянн замигал. — Его Анна Никитична вчера к родным увела...

Алексей не дослушал. Кинулся через кухню в коридор. Вбежал в кабинет заведующей, бросился к висевшему на стене телефонному аппарату. Яростно крутанул ручку, сдернул трубку, прижал ее к уху.

— Где Анна Никитична? — спросил у медленно поднимающейся из-за стола заведующей. Нажал пальцем на рычаг, еще раз крутнул ручку.

— Она, как и всегда в базарные дни, ушла на рынок, — торопливо ответила заведующая. — Я ей разрешила. А что, не надо было? — испугалась, увидев, что чекиста даже передернуло от отчаяния. — Не мучайтесь с аппаратом. Он неисправен, у него гальваноэлементы иссякли или как там...

— Елки-палки, одно к одному! — ахнул Алексей, судорожно пытаясь нацепить трубку на рычажок. — Куда отвела вчера Анна Никитична русского мальчика с парохода?

— Извините, — заведующая смущенно и виновато развела руками, — не знаю. Недосуг было. Я оформляла Саттарова и Сардакова, а потом...

— Эх вы! — Алексей вылетел за дверь.

А Егорушка и Еремей тропкой, по которой вчера Анна Никитична вела Егорушку к тетке, уже почти проскочили парк. Егорушка, бежавший впереди, беспрестанно оглядывался на Еремея — тот, почти наступая ему на пятки, взмахивал ножом, которым чистил рыбу, подгонял взглядом: быстрее, быстрее!

Он, ускользнув от Алексея, захлопнув дверь, набросив засов, схватил Егорушку за руку и метнулся в парк. Когда детский дом скрылся за липами и тополями, взглянул вопросительно на внука Никифора-ики. Тот, жадно глотая воздух, выпалил: «Люсю и Антошку увезли. Силком». — «Куда увезли, видел?» — «Не видел, — признался Егорушка, — но куда, знаю...»

Он, как только рванулась коляска с Люсей и Антошкой, бросился за ней. И чуть не упал. Кто-то цапнул его. Егорушка оглянулся возмущенно и осел на подогнувшихся ногах; на него, больно стиснув локоть, смотрела злоехидно бабка. «Ну, сколь наторговал, милок? — Она заулыбалась, но тут же всплеснула морщинистыми руками. — Господи, а иде же бидончик-то?!» Егорушка ни объяснять, ни дожидаться, пока покачивушаяся от горя бабка придет в себя, не стал. Отпрыгнул в сторону, шмыгнул в толпу, запетлял, завилял меж людьми. «Охти мне, — заголосила за спиной бабка. — Ох, аспид, ох, изверг... Держите его, люди добрые, держите!» Люди добрые и рады были бы задержать — заматались, заколотились, — но кого ловить, кого хватать? А со всех сторон уже загалдели панически: «Ой, кошелек стащили!» —

«Ай, деньги вырезали!» — «Кого зарезали?» — «Старуху какую-то зарезали!», уже вскипели то тут то там завихрения барахолки, взрываясь воплями: «Вот он, вот он!» — «Бей его, воровайку, в кровь, христиане!» — «Кровь? Где кровь? Неуж облава?» — «Облава!» — «Ка-раул, облава!»

Егорушка, выскочив из людской толкотни, оказался около извозничьей пролетки. Сухонький рябой старичок, ссутулившийся на козлах, хитро посмотрел на него: «Тебя, что ль, ловют? — И когда Егорушка, встревоженно оглядываясь, кивнул, скомандовал: — Садись!» Обрадованный Егорушка мигом оказался в пролетке; старичок не мешкая огрел вожжами понурую гнедую кобылу, и та припустила скачками. Егорушка глянул по сторонам — по этой улице спустился совсем недавно под барабанный рокот, под серебристые переливы трубы, под уверенные, решительные песни краснознаменный отряд, разорвав в своем смелом движении скопище барахолки, по этой улице шел вчера он, Егорушка, в детдом вместе с Еремеем, Антошкой и Люсей. «Да куды тебя, постреленок?» — спросил, слегка повернув голову, извозчик. «К первой детской коммуне», — робко попросил Егорушка, все еще не веря, что ему так повезло, что подвернулся такой добрый дяденька. Сначала Егорушка хотел бежать к начальнику Фролову, чтобы ему рассказать про Люсю и Антошку, но... Где его искать, Фролова-то? Ладно, что оказался на этой улице — мигом будет у Еремея, уж он-то знает, где найти Фролова!.. А может, сам что ни то придумает: на пароходе сказал, будто хочет словить Арчева, просил, чтоб не мешали. Нет, нет — к Еремею, только к Еремею!.. «Приютский, значитца? Жиган? — Старик извозчик вдруг проворно обернулся, цапнул с головы Егорушки картуз. — А ну давай сюды, чего там спер, карманщик!» Ошеломленный Егорушка отшатнулся. «Я? Украл?! Ничего я не украл!» — «Кому сказано, отдавай гаманок! — закричал вдруг грозно старик. — Сымай спинжак, проверю!» — и принялся еще яростней подгонять кобыленку. «Чтоб я не выпрыгнул», — догадался Егорушка, торопливо расстегивая пальтецо. Подал его старику. Тот принял, ощупал карманы, подкладку, сунул пальтецо под себя. Посоветовал с ухмылочкой: «Лучше отдай добром, чего стырил. Не то свезу в участок, тама все едино у тебя ворованное вышелкнут!» Угрозы Егорушка испугался: сколь продержат в том участке — неведомо, а как же Люся, Антошка? «Да не жулик я, дяденька», —

притворно захныкал он, изготовившись выскочить из пролетки, но старик, сидевший уже вполоборота, ловко схватил за волосы. «Куды? — заорал он страшным голосом. — А как платить собираешься, коли не жулик?» Егорушка охнул, подался за рукой извозчика — старик нещадно тянул за волосы. «Сапоги отдам. Отпустите, дяденька! — взмолился Егорушка. — Новые, яловые, совсем еще добрые. Я их два раза и надевал-то: на троицу да на петров день. Ай, ай, больно!» И вскинув ногу на колено, стянул левый сапог; затем таким же манером правый. Сунул их старику. Тот разжал пальцы, схватил одной рукой сапоги, а другой натянул вожжи. «Выметайся! — взвизгнул и даже ногами засучил, запотопывал, пугая. — Какое их благородие нашлось на извозчиках разъезжать, голь босяцкая!» Егорушка стряхнул портянки, и его точно сдуло. Кинулся к аллее парка, около которой остановилась взмыленная лошаденка; оглянулся со злыми слезами на старика — тот хозяйственно простукивал согнутыми пальцами подошвы сапог, — вот и все, ничего не осталось на память о дедушке Никифоре: ни сапог, ни картуза, который тот сшил, ни верхней одежды, которую тот купил. Егорушка схватил с земли камень, запустил им в извозчика — жалко, не попал! — и со всех ног кинулся вправо, в кусты, на случай, если старик бросится вдогонку. Выскочил к дому-теремку, оказавшись у задней его стены...

— Быстрей, быстрей, Егорка! — прикрикивал Еремей.

— Щас, щас, почитай пришли! — Егорушка пересек рысцой дорогу, остановился в воротах Дома Водников. — Вона, тама Люсю с Антошкой спрятали! — показал на флигель. — А я тута живу, — махнул рукой в сторону бывшего «Мадрида».

— Иди домой! — приказал Еремей. — Теперь я сам.

Побежал к флигелю. Около двери задержался, дернул за ручку — заперто. Оглянулся на Егорушку, показал кулак и подскочил к закрытому ставнями окну.

— Эй, открой! — закричал срывающимся голосом. — Это я, Еремей Сатар! Открывай скорей! Я пришел!

За окном что-то зашуршало и стихло. Но вскоре послышался шумок в сенях. И опять стихло. Еремей подошел к двери, пнул ее.

— Открывай, я один.

Дверь приотворилась, он скользнул внутрь. Без интереса посмотрел на женщину в черном, быстро вошел в открытую дверь, которая вела внутрь дома. И споткнул-

ся на пороге: связанные Люся и Антошка сидели друг против друга на стульях; у Люси рот затянут красным платком, белые волосы растрепались, залепили лицо, синие глаза смотрят сквозь них страшно, словно стеклянные, словно неживые; Антошка задержался, заулыбался было, но тут же скис.

— Еремей, ма чулкэм *, — начал виновато, но Еремей вскинул руку, чтобы помолчал.

— Почему Люся такая? Убили?! — спросил, резко повернувшись к женщине за спиной.

— Нет, мальчик, — та спокойно отвела его руку с ножом, ласково подтолкнула вперед. — Тетя Люся жива. Это она от страха... За тебя боится... Проходи, мы рады, что ты пришел.

— Где Арч? — Еремей решительно подошел к Люсе, сунул нож под веревку.

— А вот этого делать не стоит!

Он рывком повернул голову на голос. Арчев, выскользнув из-за прикрывавшей вторую дверь малиновой завесы, подскочил, сжал Еремею запястье, вывернул руку.

— Не спеши, шаманенок, — он тихо, удовлетворенно засмеялся. — Мы еще не договорились с тобой о выкупе тети Люси.

Из той же двери появился постаревший, напуганный капитан — Еремей презрительно взглянул на него и отвел глаза; за капитаном вышли: незнакомый, с рыжей бородкой, в шинели, и усатый, который крутил в руке синие очки, другую руку держал за спиной — этого, кажется, видел в коридоре парохода, когда впервые встал с постели.

— Я покажу тебе Сорни Най, — твердо сказал Еремей, глядя в глаза Арчеву. — Когдапустишь Люсю и Антошку, поведу на имынг тахи.

Арчев задумчиво посмотрел на Люсю, на Антошку.

— Допустим, я отпущу твоих друзей. Но ведь они сразу же помчатся к дорогому товарищу Фролову. Приведут чекистов, что тогда?

— Фролов скоро сам сюда придет, — уверенно заявил Еремей. — Ему Алексей скажет, что я убежал. Они станут меня искать. Быстро найдут, где я..

* Ма чулкэм — я сплеховал (хант.).

В маленькой, без окон, комнатке багровый свет большого фонаря играл красными бликами на стеклянных боках бутылей, окрасил густорозовым лица Фролова и Апельбаума. Эксперт, плавными движениями полоскавший в ванночке квадратик бумаги, оправдывался:

— Вы меня простите, а можете, впрочем, не прощать, но репродукция получилась — дрянь, потому что гипосульфит дрянь невообразимейшая. Разве это работа, спрашиваю я вас? И отвечаю, хотя мне и хочется плакать: нет, это не работа!

— Я понял, надеяться на чудо не приходится, — стараясь, чтобы в голосе не прорвалось недовольство, прервал Фролов эти стенания. — Но все же давайте посмотрим, что получилось.

— Посмотрим так посмотрим, — скорбно согласился Апельбаум. — Только что мы увидим, спрашиваю я вас? А увидим мы скорей всего мой позор. Хорошо, что при таком свете не видно, как я краснею от стыда.

Он вытянул из ванночки фотографическую карточку, хотел окунуть ее в соседнюю — с водой, но Фролов выдернул из его пальцев снимок, поднес к глазам.

В алом свете фонаря смотрел на него Арчев: лицо жесткое, губы властно и капризно поджаты, взгляд колючий.

— Хочу предупредить, что переснимать с фоторабот дело вообще сложное, — унылым голосом принялся объяснять эксперт, поглядывая то на портрет, то, ожидая, на заказчика. — В нашем же случае — особенно: вы дали групповое фото, а я хотел, чтобы этот мерзавец получился покрупней, но боюсь — вышло нечетко...

— Что вы, что вы, — обрадованный Фролов заулыбался. — Все отлично, — протянул, возвращая, фотографическую карточку. — Спасибо! Теперь — побыстрее и побольше! Не забудьте про портрет Шмякина...

В дверь, чуть не срывая ее с петель, забарабанили, забухали с такой силой, что хлипкий крючок заподпрыгивал.

— Товарищ Фролов, Еремей Сатаров сбежал! — слышался смятенный голос Алексея.

Фролов выскочил в коридор.

— Как сбежал?

— Я ни на шаг не отходил от него, — прижимая ру-

ки к груди и пряча глаза, начал Алексей.— Ждал бандитов, охранял мальчика, а он — сам... Такого я не предвидел...

И скороговоркой выпалил о том, что произошло.

— Десять суток ареста! — рявкнул Фролов, как только Алексей перевел дыхание.— Отсидишь, когда поймаем Арчева.— Крикнул через дверь: — Портреты Арчева и Шмякина в дежурку. Срочно!

Побежал к выходу. Около барьерчика, за которым сидел у стола с двумя телефонами пожилой чекист, приказал:

— Немедленно свяжитесь с жилсоветом, выясните, куда переселили жильцов дома семь по Береговой,— повернулся к помощнику дежурного, вскочившему со стула при появлении начальства.— Оперативную группу — сюда! — Ткнул перед собой пальцем.— Чоновцев по тревоге — сюда! — И снова к дежурному: — Направьте в город верховых патрульных. Задерживать всех, кто будет сопровождать мальчика-остяка лет четырнадцати, одетого... Как он одет? — спросил у Алексея.

— Как все воспитанники,— торопливо ответил Алексей.— Серая блуза из чертовой кожи, такие же штаны... Да, на ногах национальные летние сапоги. Нырки, или как их там.

— Доложите начальству, что я — к Медведевой! — приказал Фролов.— Вернусь, все объясню.

По коридору уже бухало множество ног — из комнаты политучебы бежала оперативная группа.

— Ждать моего приказа! — объявил Фролов и подтолкнул Алексея к двери во двор.— Поехали!

Трофейный английский мотоцикл с широко разметнувшимися рукоятками руля, служивший еще колчаковской контрразведке, завелся, как ни странно, сразу. Фролов вскочил на сиденье, покосился на удрученного Алексея в коляске — держись крепче! — и мотоцикл, рыча, окутываясь синим дымом, вырвался на улицу.

Около рыночной площади Фролов притормозил.

— Постарайся найти Анну Никитичну,— приказал Алексею.

Ехать через барахолку пришлось медленно. Наконец народу стало меньше; Фролов прибавил газу, мотоцикл полетел по уклону дороги туда, где весело переливалось на паромовых и баржах людское множество.

Отличить детей от взрослых было легко даже издали, но место, где работали товарищи Еремея, Фролов

нашел не сразу. Сначала свернул по ошибке к парходу, где сновали девчонки из второго детского дома-коммуны, и лишь потом подкатил на предельной скорости к ржавой барже. Остановил мотоцикл около кучи железного хлама, мотор заглушать не стал. Приподнялся, заозирался, высматривая Люсю. Какая-то молодка, стоявшая на палубе завалившегося набок буксира «Самсонъ», сдернула с головы косынку, взмахнула ею.

— Самокатчик, не меня ли ищешь? — крикнула пронзительно. — Дай проехаться! А жалеешь — дак сам прокати! — И засмеялась.

Фролов коротко взглянул на нее, на старичка в валенках, залихватски игравшего на гармошке-ливенке, и снова повернулся к барже. Крикнул:

— Юнкоммуновцы, позовите товарища Медведеву! Срочно!

Юнкоммуновцы переглянулись; рыжий парнишка вразвалку, неспешно направился к мотоциклу:

— Где товарищ Медведева?!

— Прежде всего, кто вы такой? — явно подражая кому-то, заявил парнишка и покосился на ручку маузера, выглядывавшего из деревянной кобуры. — Предъявите, пожалуйста, документы.

Фролов чертыхнулся, рывком расстегнул клапан кармана гимнастерки, выхватил служебное удостоверение. Парнишка раскрыл его, начал читать и от удивления чуть не выронил документ.

— Товарищ Фролов? — На лице его появилась растерянная улыбка. — Как же так... Люция Ивановна ведь к вам уехала. Вместе с новеньким, с Сардаковым Антоном.

— Что-о? — Фролов даже качнулся назад. — Когда?

Рыжий выпалил, что приехал чекист с мандатом, сказал, что поймали кого-то и надо опознать...

— Садись! — Фролов, не дослушав, выдернул из рук парнишки удостоверение, сунул в карман и, когда тот с готовностью впрыгнул в коляску, яростно повернул ручку газа.

— А русского мальчишку, Егора, ты не видел? — слегка наклонившись к пассажиру, прокричал Фролов, спросив просто так, на всякий случай. — Светловолосый такой, крепенький мальчонка.

— Не-а, его на берегу не было, — подавшись к Фролову, тоже закричал парнишка. — Но какой-то малый к

пролетке прицепился. Вот здесь это было,— помахал рукой за бортом коляски.— Это точно, это я видел.

Фролов, сбрасывая скорость перед толкучкой, с надеждой посмотрел на рыжего юнкоммуновца: если тот, кого он заметил,— Егорушка, тогда... Егорушка наверняка знает, кто похитил Люсю и Антошку, куда их увезли. Надо искать Егорушку, надо обязательно его найти!

А Егорушка изнывал у окна теткиной квартиры, радуясь, что бабка не взяла ключ с собой, что спрятала его под половику, и, не отрывая глаз от двери флигеля, надеялся, что Еремей вот-вот выйдет, что тот и сам вернется, и Люсю с Антошкой вызволит. Но время шло, и становилось все тревожней — хоть и говорил Еремей, что Арчев его не тронет, что он, Еремей, нужен бандитам только живым, а вдруг?.. И Егорушке сделалось страшно. Если бы сейчас увидеть, подслушать, что творится во флигеле?.. А ведь можно. Конечно же, можно! Ну как не вспомнилось сразу — подземный лаз!

Кинулся к чуланчику, распахнул дверь — хорошо, что бабка на замок не закрыла! — торопливо вышвырнул весь хлам. Надувшись, рывочками, вершок за вершком, сдвинул с люка тяжеленный ларь. Запаленно дыша, потянул за кольцо в полу. По краям крышки подпола запотрескивало, повисли над расширяющейся черной щелью серые лохмы слежавшейся пыли, дохнуло снизу холодком и сыростью.

Егорушка прислонил к стене крышку, упал на колени, заглянул в лаз, и сердце зашлось от страха. Егорушка выждал, когда можно будет вдохнуть поглубже, и больше не раздумывал. Взлетел на ноги, выскочил из чуланчика, кинулся в спальню. Посмотрел обрадованно на бледненький огонек лампадки перед иконой Николая Мирликийского и, стараясь не встречаться взглядом с большими, строгими глазами Чудотворца, сорвал лампадку. Прикрывая огонек ладонью, чтобы не загас, бегом вернулся в кладовку, глянув мимоходом в окно,— на дворе ничего не изменилось: по-прежнему тихо, пусто, сонно.

Рыскнув глазами по полкам, Егорушка увидел чужунную ступку, выхватил из нее пестик — пригодится! Сунул за пояс. Поежился, когда металл прижался к потному, горячему животу, и начал сходить в черную яму по трухлявым ступенькам. Не задумываясь, что делает и зачем, вцепился в край крышки подпола, уложил ее

на загорбок и, спускаясь все ниже и ниже, плавно прикрыв за собой люк.

Постоял, обмирая, прислушиваясь, всматриваясь в туманную от огонька тьму. Облизнул пересохшие губы и, пригнувшись, двинулся неуверенно под землей, приседая на каждом шагу от страха — ноги не слушались, стали тяжелыми, неповоротливыми.

Хотел было вернуться, чтобы хоть чуть-чуть приподнять крышку — все не так боязно будет, — как вдруг впереди появилась тонкая белая полоска света. Егорушка охнул — лепесток лампадного огонька качнулся и исчез, лампадка выпала, а свет впереди расширился в яркий прямоугольник. Егорушка быстро-быстро пополз на четвереньках назад, упал, прижался щекой к холодной земле, крепко зажмурившись.

— Не туда, — послышался недовольный тихий голос. — Ты в «Мадрид» попер. Сворачивай налево.

— Налево? В расход? — притворно испугался кто-то.

Егорушка резко открыл глаза — это был голос бандита, который застрелил дедушку. Увидел, как невдалеке проплыл, покачиваясь, желтый свет фонаря.

— Не болтай ерунды, — зло отозвался первый. — Нашел, чем шутить!

Егорушка узнал военного с бородкой. За военным — вплотную — невысокий, плотный, круглый, тоже с фонарем: капитан! За ним — тонкая, гибкая черная тень: монашка, бывшая купчиха? А за ней... Егорушка зажал рот ладонью. За монашкой, освещаемый сзади фонарем, который нес Арчев — его-то Егорушка ни с кем не спутал бы, — шел Еремей. Арчев немного задержался — светлый прямоугольник опять сузился до тонкой полоски. Тесно прижавшись одна к другой, фигуры втянулись в невысокий лаз, дыра которого выделялась сначала ярким, а потом все угасающим пятном. И пока не растаял этот желтовато-серый отсвет, Егорушка вскочил, выдернул из-за пояса пестик, бросился туда, откуда появились бандиты, больше испугавшись, что останется в темноте, чем того, что арчевцы могут вернуться, — может, удастся выскочить через их ход. И еще подумалось радостно, что Люся и Антошка живы, иначе Еремей не шел бы так спокойно, и если уж он отправился с бандитами, то или идет к Люсе и Антошке, или Люсю и Антошку арчевцы отпустили, и те уже на свободе. Егорушка, протянув руку к полоске света, ткнулся в

гладкую стену. Стена плавно, бесшумно подалась, и мальчик влетел в очень светлую после подземелья комнату. Замер, согнувшись, ни жив ни мертв — спальня какая-то. Выпрямился. Не глядя, толкнул за спиной распахнутую створку — так привычно, не замечая, закрывают за собой дверь. Сзади щелкнуло. Егорушка, вздрогнув, развернулся и отпрыгнул — он стоял около высокого зеркала: увидел свое побелевшее лицо, всполошенные глаза. Выдохнул облегченно.

За стеной что-то закрипело, зашуршало и даже, кажется, застонало.

Егорушка на цыпочках подбежал к двери, выглянул — еще одна комната, пустая. Бесшумно проскочил и ее. Прячась за косяком, посмотрел в щель между малиновыми шторами. И радостно вскрикнул — увидел Антошку и Люсю, хоть и привязанных веревками к стульям, хоть и с завязанными ртами — у Люси красной косынкой, у Антошки какой-то тряпкой, — но ведь живых, живых!

Подскочил к ним, вытаращившим от изумления глаза. Пометался бестолково, подергал веревки. Увидел на столе, среди посуды, объедков и огрызков, нож с деревянной ручкой, схватил его, отбросив пестик. Суетливо разрезал путы Люси. Она, сдернув на шею косынку, закрывавшую рот, вскочила и, стряхивая обрывки веревки, бросилась за малиновые шторы... Когда Егорушка и освобожденный Антошка прибежали в спальню, девушка растерянно озиралась.

— Вот сюда они ушли, — Егорушка шлепнул по тумбе зеркала. — И я отсюда вышел...

— Господи, да как же это открывается?! — Люся дергала, ощупывала тумбу. — Нет, так только время теем!

Кинулась из спальни. Пролетела комнату, кухню, сени.

Во дворе глянула по сторонам, соображая, где находится, и со всех ног помчалась к Дому Водников...

Фролов, навалившись грудью на барьерчик перед столом, мрачно смотрел на телефон. Иногда поднимал глаза на дежурного, и тот, делавший вид, будто старательно чистит-смазывает наган, ерзал на стуле.

— Ишут... — он приглушил вздох. — Очень много погорельцев было. В спешке разместили кого куда придется.

Телефонный звонок, хоть его и ждали, прозвучал, ка-

залось, неожиданно. Дежурный дернулся к аппарату, но Фролов опередил — схватил трубку, прижал ее к уху.

— Чека! Фролов! — крикнул обрадованно. И замер, так и не выпрямившись. — Откуда ты говоришь?.. Громче, Люся, громче, ни черта не слышно!.. Жилсовет Дома Водников, правильно я понял?.. Так, так... Какие фонари?.. Ага, ясно, — слегка повернул голову к помощнику дежурного. — Приготовьте фонари, поярче, посильней! — И опять в телефон: — Ничего не предпринимай. Все объяснишь на месте. Отбой! — Кинул трубку на рычажки, махом откинулся назад. — Ты остаешься! — приказал мальчику, который азартно глядел в глаза. — Патрульные будут показывать тебе задержанных.

Развернулся, выскочил во двор, побежал к грузовому «форду», в кузове которого томилась в ожидании, покуривая, оперативная группа. Увидев начальника, бойцы принялись спешно тушить окурки, выпытывая глазами: ну что? пора? куда?

— В бывший «Мадрид»! — Фролов впрыгнул в уже распахнутую шофером дверцу кабины. — Побейте! — крикнул помощнику дежурного, который подбегал к автомобилю, прижав к груди квадратные фонари со свечами внутри.

Мерно тарахтевший мотор взревел, и «форд», вырвавшись в ворота, помчался вниз по улице Освобожденного Труда, подрагивая на сплошных литых шинах по булыжникам мостовой.

Фролов, падая на шофера при резких поворотах, крепко стиснул зубы — вспомнил свой доклад начальнику о том, что Еремей пропал, вспомнил глаза начальника и постарался не думать об этом. Передвинул на колени деревянную кобуру маузера, откинул крышку, сжал рукоять: вот если б произошло чудо и обошлось бы без пальбы! Но чудес не бывает — Люся сказала, что бандитов пятеро и они вооружены, значит, будут отстреливаться, а уж Арчев-то со Шмякиным наверняка: им терять нечего. «Эх, Еремей, Еремей... как же тебя из-под пуль вывести? Как обезопасить?..»

Фролов думал о Еремее, а Еремей думал о Фролове. Пробираясь в узком и низком подземном лазе, натываясь иногда на черную женщину, которая злобно шипела через плечо, улыбался — не мог забыть, как переполошились атым ях, когда узнали, что Фролов скоро придет в их дом: бывший пароходный начальник закричал

тонким голосом, что они погибли, Арч обозвал его дураком, сказал, что надо, пока Фролов не перекрыл дороги, вывезти Еремейку из города, и спросил у военного, которого называли то Гришей, то Апостолом, может ли вывести всех отсюда. Тот сказал, что проведет скрытно в такое место, где поджидает очень хороший экипаж. Что такое экипаж, Еремей не знал, но увидел, что все обрадовались. «Пошли!» — Арч толкнул его, Еремея, в сторону двери с темно-красными занавесками. Но Еремей заявил: «Без Люси и Антошки не пойду!» — «Зачем они нам? — рассердился Арч. — Фролов придет и освободит их». Еремей подумал и согласился. Арч быстро завязал Антошке рот какой-то тряпкой.

Во второй комнате с большой лежанкой велел Еремей лезть сразу вслед за военным в дыру рядом с боком стоящим зеркалом, но он, Еремей, решительно ответил, что пойдет последним. «Э нет, — Арч усмехнулся, — последним не поставлю. Сбежишь, да еще тетю Люсю со своим землячком уведешь!» — «Ладно, — согласился Еремей. — Иди ты последним, а я перед тобой...»

Черная женщина выпрямилась, зашагала быстрее, почти побежала.

Но Еремей шаг не ускорил — не надо спешить: может, Фролов уже близко.

— Пошевеливайся, выродок! — Арчев ткнул в спину кулаком.

От боли, прострелившей тело, Еремей выгнулся, но стон сдержал.

Так, с откинутой головой, с выпяченной грудью, и вошел он в какую-то непонятную каменную, без окон, избу.

— Ишь ты, петух голландский, как гордо вышагивает! — фыркнул Козырь. — Полюбуйся, мичман, — повернулся к капитану, который, прижав ладони к щекам, метался из угла в угол, — наш остячок-индючок хоть сто раз готов под землей прогуляться. А ты?

— Отстань от меня! — капитан замахал руками. — Гуляй сам, если нравится!

— Ну нет, я в эту нору больше не ходок. Ни за что и никогда не пойду! — громко и внятно сказал Козырь, пристально глядя в глаза Еремей. — Пусть лучше расстреляют!

Арчев поднял фонарь, огляделся.

— Прямо средневековье какое-то. Или эпоха раннего христианства... Дальше-то нам куда?

— Сюда,— Тиунов, который стоял около железной двери, постучал по ней, потом ткнул пальцем вверх.— И наружу. Последний переход, хотя и длинный. Поняли, последний!

— Так идемте, чего стоим? — взвыл капитан.— Чего мы ждем, объясните ради бога!

— Не спешите, Виталий Викентьевич! — прикрикнул Арчев. Повернулся к Еремею.— Я должен завязать тебе глаза. Думаю, понимаешь, что так надо... У вас ведь тоже, наверно, чужакам глаза завязывают, когда на имынг тахи ведут? Чтоб дорогу не запомнили. Так что не обижайся.

Еремей с подозрением оглядел врагов — нет, кажется, не хитрят: пароходный начальник боится, хочет поскорей выбраться отсюда; черная женщина глаза опустила — с богом своим разговаривает, да и вообще жепщина не в счет; военный по имени Гриша Апостол один, видать, дорогу знает, поэтому будет впереди; уса-тый, которого звать Козырь, сказал, что назад ни за что не вернется — страшно! — значит, к Люсе и Антошке не пойдет; Арч? Надо вцепиться в Арча и не отпускать... А глаза завязывают — что ж, понятно, нельзя, чтоб я вход под землю знал.

— Завязывай! — разрешил Еремей.— Только возьми меня за руку. Веди.

— Само собой...— Арчев достал из кармана платок, проворно сложил его в полоску, наложил на глаза Еремея. Кивнул Козырь.

Тот схватил фонарь, бесшумно бросился назад в подземелье. Арчев, крепко стиснув ладонь Еремея, повел его к железной двери. Тиунов медленно раскрыл ее — петли закрипели — и, топая, пошел вдоль стены склепа. Арчев, тоже старательно топая, повел Еремея вслед за ним.

А Козырь, сгорбившись, спотыкаясь, бежал по лазу. Вынырнув из дыры на развилке перед флигелем, немного распрямился, с ходу ткнулся плечом в дверь — обратную сторону зеркала. Ввалился в спальню, поставил фонарь на тумбу. Проскочил гостиную. И остолбенел на пороге в кухню, ошалело глядя на опрокинутые стулья, обрывки веревок, на открытую дверь в сени: смылись, сорвались девка с хмыренком!.. Может, только что, может, недалеко ушли, может, во дворе еще?

Козырь выдернул из-под пиджачишки «смит-вессон», выбежал в сени. И отскочил назад, словно его шибану-

ло в грудь,—сквозь распахнутую настежь наружную дверь увидел, как влетел во двор автомобиль, как выскочил из кабины Фролов, как посыпались из кузова вооруженные — и главное: некоторые с фонарями! — чекисты, и четверо уже бежали к флигелю. Козырь шмыгнул в кухню, промчался через гостиную, спальню, цапнул на ходу фонарь, влетел в подzemелье и захлопнул за собой дверь-зеркало. За спиной щелкнуло. Козырь обессиленно опустил на корточки, сплюнул, вытер рукавом лицо. Сзади, в спальне, слышались частые, приглушенные шаги, что-то зашкряпело, потом хрустнуло. Козырь, стараясь не шуметь, поднялся и, наведя в сторону шумов «смит-вессон», попятился.

Развернулся, чтобы нырнуть в лаз, ведущий к склепу, и вдруг увидел, как темень в дальнем конце хода в «Мадрид» словно лопнула — появилась серая продольная полоска, моментально превратившаяся в четкое белое пятно, из которого хлынул под землю свет, который тут же перекрылся чем-то черным и опять прорвался, прорисовав ноги, а затем и всю фигуру спускавшегося.

Козырь от неожиданности и испуга чуть не закричал — и закричал бы, если б дыхание не перехватило. Прыгнул в лаз к склепу, споткнулся, выронил фонарь. И показалось, что ослеп — фонарь погас.

Как бежал в темноте, ушибаясь плечами, головой о низкие своды, как падал, вскакивал, и снова падал, в памяти не зацепилось — все подавлял нарастающий, подгоняющий страх. Перепачканный землей, взерошенный, с выпученными глазами, с отклеившимся усом влетел Козырь в склеп. Выпалил осевшим голосом:

— Хана, крышка!.. Спеклись!

Еремей, который послушно и осторожно шел за Арчевым, ощупывая левой рукой каменную кладку, дернулся назад от этих воплей. Сорвал с глаз повязку, крутнул по-совиному головой влево, вправо и, забыв о боли в спине, прыгнул на Арчева.

— Обманул, да?! Врал! — Вцепился в него, заскрежетал зубами.

— Отстань! — Арчев не глядя толкнул так сильно, что мальчик отлетел к облапившему его Тиуну.— Что за паника?! — рывкнул Козырю.

— Чека на хвосте! — выдохнул тот.— Деваха с остячком удрали, в «Мадриде» архангелов, что тараканов. Сюда лезут!

Еремей негромко засмеялся, перестал биться в руках Тиунова. Тихий радостный смех этот словно обрубил выкрики Козыря. Еремей засмеялся громче — откровенно весело, издевательски.

— Скверно...— Тиунов отшвырнул его, схватился за плиту саркофага и, поднатужившись, потянул ее в сторону.— Надо... немедленно... уходить.

— Без истерик, пожалуйста, без истерик,— забормотал Арчев, вынимая из кобуры наган Люси.— В этом кротовнике мы перестреляем чекистов, как куропа-ток.

— Глупо, Евгений Дмитриевич,— громко сказала Ирина-Аглая. Она, убрав под пелерину руки, встала рядом с Тиуновым. Взгляд не прятала, смотрела настороженно.— Убьете первого, а последний выскочит к своим, покажет направление хода...

— И нас сцапают, как только полезем отсюда,— закончил Тиунов. Он, сдвинув плиту, достал из саркофага саквояж, передал женщине.— Бежать надо, а не играть в войну,— и запыхтел, вытягивая большой, угловато топорщащийся мешок.

— Чего это? Харчи? — Козырь пнул мешок, который Тиунов, расслабив пальцы, поставил рядом с собой.

Мешок упал — выскользнули иконы, блеснули золотом, серебром окладов, сверкнули разноцветьем камешков.

Капитан, с затравленными глазами обреченно оцепеневший у железной двери, ахнул. Упал на колени, схватил одну икону, другую.

— Батюшки! Да это же целое состояние! — восторженно всхлипнул он.— Господи, да нам с этим богатством никакой Золотой Бабы не надо.— Резво взметнулся на ноги, вцепился в саквояж.— А тут что? Ну-ка показывай!

Ирина-Аглая качнулась, чуть не выпустив саквояж. Повела плечами и... трахнул выстрел; капитан взмахнул руками и грохнулся на спину. А женщина, высунув в разрез пелерины браунинг, уже целилась в Козыря. Арчев, всматривающийся у выступа в открытую дверь подземелья, резко развернулся на выстрел, увидел направленный на себя револьвер Тиунова, тело капитана, замершего Козыря, удивленного Еремея и скривился.

— Ну-у, началась междоусобица! — Огорченно покачал головой.— Чего вас мир не берет? — Тяжело посмотрел на женщину.— Не жалко кузена, мадему-

азель? — И, опустив руку с нагапом, медленно, неохотно побрел к сообщникам. — Подбери! — приказал Козырю, кивнув на иконы. — Ладно, уходим. Хотел хоть одного чекушника упокоить, да видно не судьба. Что-то запаздывает карающий меч революции...

Фролов с оперативной группой непредвиденно задержались еще в чуланчике — Матюхин, изловчившийся первым спуститься в люк, не хотел уступать место, потому что, сказал, подземелье узкое, развернуться негде, и первому опасней всего — ухлопают почти наверняка, — а значит, командиру впереди нельзя. Лишь когда Фролов пригрозил, что отдаст под суд за невыполнение приказа, Матюхин вылез в чулан. До узкого лаза, куда по объяснениям Егорушки скрылись арчевцы, Фролов пробежал на одном вдохе-выдохе, а дальше дело пошло хуже: узко, тесно, кобура бьет по коленям, фонарь слепит глаза — впереди ничего не видно, а опустишь фонарь к ногам, идти мешаёт. Наконец догадался, передал за спину — Матюхину, пусть освещает сзади. Тоже хорошего мало: тень от самого Фролова ложится впереди густая, плотная. Но надо бежать. И он бежал, запинаясь, обдирая стены плечами, задевая фуражкой кровлю... Впереди глухо бабахнуло, эхо мягко прокатилось по подземному ходу. Фролов, выкинув перед собой руку с маузером, упал на живот. Сверху на него рухнул Матюхин — фонарь больно стукнул Фролова под лопатку и погас. Сзади запыхтело, запотопывало, зашуршало-зашелестело — группа преследования присела.

— Вы живы, товарищ командир? — обдав табачным дыханием, шепотом спросил Матюхин.

— Буду жив, если не раздавишь, — Фролов зашевелился. — Кажется, стреляли не в нас — вспышки не было... Да слезь ты, телохранитель чертов. И скажи, чтоб другой фонарь передали.

Матюхин отполз назад — темень, жиденько разбавленная отсветами сзади, стала отступать: чекисты передавали в голову группы фонарь. Фролов, оттолкнувшись от земли, бросился было вперед, но тут опять хлопнул выстрел, только погромче, пораскатистей.

Это выпалил «стейер» Тиунова — Козырь вышиб его из руки дружка Гриши, когда Арчев, склонившийся, чтобы посмотреть в мертвые глаза капитана, вдруг прыгнул в сторону Ирины-Аглаи, заломив уже в полете руку женщины. Козырь, поднимавший мешок, был готов к этому — знал, что Арчев не прощает, если в его при-

существовании без его разрешения расправляется кто бы то ни было с кем бы то ни было, и когда момент наступил, Козырь не оплошал...

Арчев уже вскочил на ноги с наганом в одной руке и с браунингом Ирины-Аглаи в другой. Отпрыгнул, широко разведя руки: наган — на Тиунова; браунинг — на женщину.

— И впредь — без самосуда! Здесь и караю и милую я! Запомните это! — Поставил ногу на саквояж. — Тиунов — к мешку! Козырь — к лазу!

Козырь, тоже с оружием в каждой руке, бросился к выступу, скрывавшему вход в подземелье; Тиунов поднял завалившийся мешок, принялся складывать в него иконы; Ирина-Аглая, опять опустив очи долу, дергала под пелериной рукой, словно крестясь.

— Во, замаячили, кажись! — громким шепотом доложил Козырь и попятился. — Туши свет, wypлывают красноперки!

Арчев оглянулся на него, и тут же в то же мгновение Ирина-Аглая распахнула пелерину — мелькнуло крупно написанное помадой на белой блузке: «У мечети», — и пелерина запахнулась. Тиунов, прижав мешок к животу, кивнул и вбежал в дверной проем, где в полутьме круто уползали вверх каменные ступени. Еремей зажмурился, удерживая перед глазами увиденное — белое пятно на груди черной женщины, на пятне густо-красные буквы, — зашевелил губами, читая эти буквы, пока они не растаяли: «У мечети... у мечети... у мечети...»

— Хватит молиться! — зашипел Арчев. — Расшаманился, нашел время!

Еремей, облегченно выдохнув, запомнил: «У мечети!» — кинулся вслед за Гришей Апостолом, туда, где сверху хлынул поток серенького, но показавшегося очень ярким, света.

Тиунов вышвырнул наружу мешок, выскочил. Схватил Еремея за шиворот, оттолкнул в сторону. Мальчик встревоженно, с подозрением огляделся, и... тело, напряженно сжавшееся, как только вышли из комнаты с зеркалом, расслабилось — выбрался, вырвался все же из-под земли! А ведь только что, еще за несколько шагов до этого, и не верилось в спасение; из тех, кто уходил в нижний мир, никто и никогда не возвращался к людям.

Арчев, держа Тиунова под прицелом двух стволов, легко взбежал по ступеням, отпрыгнул вбок, отыскивая взглядом Еремея: не удрал ли? Но тот, судя по всему,

и не помышлял о бегстве — улыбаясь, глазел на облупившиеся бледно-цветные фрески.

Ирина-Аглая, придерживая у груди саквояж, поднималась не спеша, с достоинством, хотя сзади напирал Козырь — тыкал стволом «смит-вессона» в спину, рычал что-то угрожающе. Всплыв над полом до пояса, женщина вдруг неожиданно резво метнулась вверх и с силой пнула по макушке Козыря. Тиунов обрушил крышку на дыру в полу, а другой рукой стремительно сдвинул по стене витую чугунную колонку, основание которой на ползло на плиту, закрывшую лаз, — и все, исчез вход в подземелье, остался узорный, расчерченный на квадраты чугунный пол.

Снизу в плиту гулко стукнуло, словно молотом ударили: раз, другой.

— Палит, дурак, — усмехнулся Тиунов. — Лучше бы для чекистов патроны поберег. — Прижал мешок к груди, побежал к выходу. Сбросил ношу к ногам, открыл осторожно дверь, в которую плеснулся солнечный день. — Я — за лошадыю. Сейчас вернусь, — и выскользнул на улицу.

Козырь, выронив браунинг, скатился от удара женщины на несколько ступеней. Развернулся, глянул вверх — там гроыхнуло: светлого квадрата не стало. В темноте прокатилось громкое эхо. Козырь, взыв, кинулся на четвереньках вверх. С ходу ткнулся в крышкуплиту, чуть не разбив голову. Охнул от боли. Зверей, выпалил из «смит-вессона» прямо перед собой: раз, другой... И заорал истошно — в лоб будто кто палкой с плеча шарахнул: пуля срикошетила! «Смит-вессон» отлетел в сторону, руки взметнулись к ушибу, Козырь кубарем покатился вниз. Вывалившись из двери на каменный пол склепа, уперся лицом в твердое тело капитана. Теряя сознание, приподнял голову — на противоположной стороне стремительно нарастал, становился все более ярким, все более широким свет, отсеченный справа черной кромкой выступа. Мелькнула мысль притвориться мертвым, но Козырь не мог оторвать взгляда от нарастающего сияния. Свет вырвался из-за выступа, захлестнул склеп; фонарь, из которого истекала эта белизна, быстро, не задерживаясь, не останавливаясь, поплыл вперед — в глаза, в налитый болью мозг! Появился перед носом блестящий сапог. Козырь, вяло вскинув руки, слабо обхватил его, попытался впиться зубами в гладкое, пахнущее ваксой голенище.

Фролов, перешагнув через мертвого капитана, брезгливо дернул погу, стряхивая вцепившегося в сапог Шмякина: перешагивая через ступени, поднялся к люку.

— Бомбы! — не обернувшись, приказал пыхтевшему за спиной Матюхину. — И какую-нибудь бечевку. Длинную!

Пока помощник отцеплял от ремня гранаты, Фролов, нажав на чугунную плиту, определил место, где ее держало с той стороны. Откинув полу тужурки, достал из чехла нож Еремея, вогнал лезвие между плитой и балкой. Протянул, не глядя, руку к Матюхину, взял уже связанные брючным ремешком четыре гранаты. Нацепил на ручку ножа, подергал — прочно ли? не упадут ли, не обломится ли лезвие?

Просунул в кольца гранат конец веревки, связанной из винтовочных ремней, закрепил. И быстро спустился в склеп, где и капитана, и Шмякина уже убрали с прохода. Прикрыл дверь. Махнул рукой, чтобы подчиненные прижались к стене, дернул за брезентовый ремень. Вверху ахнуло — дверь откинулась на петлях, ударилась с лязгом о каменную кладку...

Когда раздался взрыв, распахнув дверь часовни, Еремей стоял в пролетке с опущенным кузовом и с любопытством глядел по сторонам — отсюда лучше видны фигуры из белого блестящего камня или из темного металла на русских могилах; Арчев, устраиваясь на сиденье, пятками подпихивал под себя мешок; Тиунов, взбираясь на облучок, отыскивал взглядом в кладбищенских зарослях Колю Быка, которого, чтобы избавиться, только что усла в город — послушался ли, не затаился ли? Ирина-Аглая, поставив в пролетку саквояж, но не выпустив ручку, уже ступила на подножку, уже подалась вперед и вверх...

От взрыва караковый жеребец, коротко заржав, вскинулся на дыбы; Тиунов натянул поводья, Еремей плюхнулся на сиденье. Ирина-Аглая качнулась от пролетки, рванув к себе саквояж, но Арчев успел ударить каблуком по руке женщины. Она вскрикнула, затрясла перед искажившимся лицом пальцами и вдруг, пригнувшись, юркнула в кусты.

— Стой, мерзавка! — Заорал Арчев и вскинул нагаи, наведя его на заколыхавшиеся ветви.

Но Тиунов, взметнув руки, враз опустил их — вожди хлестнули по бокам коня. Жеребец сорвался с места яростным галопом — Арчева отшвырнуло к спинке си-

дня. Пролетка вылетела на центральную кладбищенскую аллею, промчалась по ней, вырвалась сквозь арку ворот на улицу.

Двое верховых патрульных, сорвавших с плеч винтовки и уже скакавших в сторону кладбища, откуда слышался взрыв, чуть не были сбиты бешеным карачевым жеребцом, запряженным в легкую извозничью пролетку. Патрульные развернули коней, послали их в карьер за промелькнувшим экипажем.

Чекисты, оставленные на всякий случай во дворе Дома Водников, увидели, как из часовни, что спряталась в березняке на кладбищенском склоне, вырвался белый пушистый комочек и через секунду докатился глухой хлопок взрыва. Люся, которой Фролов запретил спускаться в подземелье, ткнула пальцем в грудь трем бойцам.

— Вы, вы и вы остаетесь здесь! Остальные — в авто!

Бросилась к машине, у капота которой шофер отчаянно крутил ручку, заводя мотор. Вскочила в кабину. Двигатель зачихал, зафыркал, затакал, и, пока он не заглох, шофер влетел в кабину, прибавил газу. Мотор взревел — «форд» резво выкатился со двора и, набирая скорость, помчался к кладбищу.

— Скорей, скорей! — умоляла Люся. И вдруг, вытянув шею, застыла, вопросительно и встревоженно глядя на шофера. — Слышите? Выстрел?

Стрелял верховой патруль. Преследуя на всем скаку удаляющуюся пролетку, пригибаясь от посвистывающих изредка пуль, чекисты почти одновременно нажали спуски винтовок — сдвоенный выстрел слился в громовой раскат, который и услышала Люся сквозь рев двигателя. Стреляли в воздух, требуя остановиться, — в пролетку не решались, опасаясь, что шальная пуля может попасть в мальчика.

Пролетка, почти опрокидываясь, круто завернула в переулок.

— Bravo, Тиунов! — весело заорал Арчев. — За следующим поворотом останови! Надо избавиться от красненьких.

Он, как только заметил погоню, пригнул Еремея, чтобы его не зацепила чекистская пуля-дура. Увидев, что преследователи палят в белый свет, Арчев обрадовался, стал бить в конников расчетливо, прицельно, но не попадал. Отбросил наган, в котором кончились патроны, переложил браунинг в правую руку, приготовился,

ожидаю нового поворота, чтобы, когда Тиунов притормозит, расстрелять всадников в упор.

Пролетка, лихо накренясь, вывернула на окраинную улочку и почти остановилась, но не успел еще Арчев повернуться, чтобы поблагодарить Тиунова, как замедляющийся цокот копыт вновь превратился в беспорядочный дробный перестук — пролетка дернулась, помчалась пуце прежнего. Мелькнула справа у обочины длинная со вздувшимися полами шинель Апостола Гриши.

— А-а, черт! Разобьемся! — Арчев не целясь выстрелил в далекую уже спину Тиунова, который прыжками бежал к воротам какого-то дома.

Развернулся, упал грудью на облучок, поймал вожжи, когда они уже скользнули змеей вниз. Сжал в кулаке, полез на козлы.

Еремей, сморщившись от боли в спине, разогнулся, посмотрел назад — пусто, людей на конях не видно. С трудом развернулся к облучку — перед самым носом шинель со складкой сверху вниз, белая с ложбинкой шея, круглый затылок, светлые встопорщившиеся волосы, маленькие прижатые уши: Арч, ляль, убийца дедушки, Микульки, Аринэ, матери, бабушки, убийца Сардаковых, убийца многих-многих русики. Враг! Вот он рядом, один, враг Сатаров, враг Антошки, враг Люси, бойца Матюхина, Алексея, враг Фролова, красноголового Пашки, враг начальницы дома детей, толстого повара, Фершала — враг всех! Пора! Настало время его, Еремей Сатара, мести, время его, Еремей Сатара, торжества и праздника, его, Еремей Сатара, победы.

Он радостно закричал и прыгнул на этого ненавистного, презираемого нечеловека — сына Конлюнг-ики, — захлестнул ему горло правой рукой, левой вцепившись в волосы. Дернул изо всех сил на себя и вбок. Жеребец свечкой взвился на дыбы и повалился, выламывая оглобли, — пролетка опрокинулась, вышвырнув далеко на дорогу слившиеся в единое целое тела, мешок, саквояж...

Когда патрульные подскакали, в пыли, среди разбросанных сверкающих икон, среди блестящих безделушек и побрякушек, высыпавшихся из саквояжа, корчились двое: светловолосый мужик в шинели — тот, чьи фотографические портреты выдали сегодня: Арчев! — и черноволосый парнишка в серой приютской одежке — тот, кого приказано было разыскать: Еремей Сатаров.

Всадники слетели с коней. Пожилой с фельдфебельскими усами кинулся к жеребцу, бившемуся на земле, а

молодой — Варнаков — склонился над Еремеем, пытаясь оторвать его от эсеровского главара, который, выкатив налитые кровью глаза, задыхаясь, мельтешил перед вздувшимся синим лицом скрюченными пальцами.

— У мечети... у мечети... — бормотал Еремей.

С трудом удалось Варнакову оторвать парнишку от бандитского вожака.

Издалека стал стремительно нарастать надсадный рев автомобиля. Варнаков, придерживая Еремея, вскинул голову — рассыпалось кольцо обывателей, пропускающая «форд».

Фролов еще на скорости соскочил с подножки; вслед за ним выпрыгнула из кабины Люся; сиганули через борт чекисты.

— У мечети... у мечети... — сипло, одышливо твердил Еремей.

— Люся! Сюда! — крикнул Фролов, но девушка уже поднесла к носу Еремея ватку, и Фролов смутился. — Извини, не заметил.

Мальчик слабо шевельнул ноздрями, слегка скривился, голова его дернулась назад, глаза медленно приоткрылись, но были они непонимающие, пустые. И вдруг стали наполняться радостью, обретать осмысленность — Еремей задержал взгляд на красной косынке девушки. Потом с усилием повернул голову к Фролову, и едва заметная улыбка обозначилась на спекшихся губах.

— У мечети... Черная Аглая... Гриша Апостол, — судорожно, захлебываясь словами, зашептал он. — У мечети... Аглая... Гриша... Что такое: «У мечети» — не знаю...

— Я знаю, сынок, успокойся, — Фролов осторожно всунул ладони ему под мышки, прижал к себе. Приказал, не повернув головы: — Матюхин, Варнаков с опергруппой — к мечети! Люся и остальные — ценности!

Синие глаза Люси радостно блестели, на бледном измученном лице — счастливая улыбка. Девушка приветливо смотрела на Еремея. Наклонилась слегка, и Еремей зажмурился — под потолком, сзади и выше сестры, висел на шнуре сгусток света.

— Сорни най! — Еремей тихо засмеялся, глядя на него. — Золотой огонь! — Опустил глаза, увидел, что у спинки кровати стоят Антошка, Егорушка и Пашка. Обрадовался, заулыбался шире. С трудом поднял руку, по-

казал пальцем на светоносный шар под потолком, повторил: — Сорни най! Золотой огонь!

Пашка с Егорушкой удивленно переглянулись, Антошка, задрав голову, хмыкнул, а Люся, тоже взглянув вверх, рассеянно объяснила:

— Неделю назад электростанцию пустили. Наладили наконец, после бандитского взрыва. — Резко, угловато села на постель, погладила Еремея по щеке. Хотела улыбнуться, а вместо этого заплакала. — Ну вот и кончились наши страхи. Кризис миновал.

И Антошка, и Егорушка, и Пашка зашевелились, заговорили враз и вразнойбой, но Еремей не слушал и не слышал их. Он смотрел на непонятный светящийся шарик под потолком.

— Ну-ка, покажите героя! Дайте и мне на него полюбоваться!

Фролов, раздвигая дружков-приятелей, остановился у изголовья. Откинув полу кожаной тужурки, присел на постель с другой стороны кровати.

— Молодцом, сынок, молодцом! Выкарабкался, значит? А то мы чуть с ума из-за тебя не посходили, — положил твердую ладонь ему на лоб. — Жар еще есть, но, думаю, это пустяки. Как считаешь, Люся? — и, слегка развернувшись, посмотрел через плечо на девушку.

Та, быстро отирая пальцами глаза, часто закивала.

— Тех... Аглаю и Гришу... Апостола, поймали? — сипло спросил Еремей.

— Поймали. У мечети, как ты и сказал, — Фролов положил руку на его пальцы, стиснул их несильно. — Спасибо. Вовремя нам помог. Если бы не ты, зверье могло удрать.

— А как... Арч? — с усилием проговорил Еремей.

— Завтра суд... — Фролов кашлянул в кулак. — Жалко, конечно, что тебе нельзя ходить, но... Да ну их к шутам, и Арчева, и бандитов! Нашли о чем вспоминать. Главное — ты жив-здоров. Поправляйся скорей... Вот я принес тебе, — вытащил из кармана тужурки что-то продолговатое, завернутое в белое полотенце. Размотал, извлек солнечно блеснувшую статуэтку, протянул Еремею. — Получай свою деву-воительницу. Думаю, она поможет тебе поскорей встать на ноги.

Еремей, сжав губы, чтобы не прорвалась радостная улыбка, бережно взял Им Вал Эви. Любовно провел мизинцем по выпуклостям складок сашкан сака, по щиту, по копыю, по гребенчатой шапке. Погладил лицо до

чери Нум Торыма и, сдержав вздох, протянул ее назад, Фролову.

— На. Возьми,— сказал твердо.— Продашь. Хлеба купишь. Пусть Пашка насушит,— кивнул на приятеля, который уставился на серебряную фигурку.— Для «месячник сухаря». Для голодных русики.

— Что ты, как можно?!— Фролов растерялся, оттолкнул руку со статуэткой.— Нет, нет, и не выдумывай.

— Бери!— еще решительней повторил Еремей, и лицо его стало жестким.— Когда голод, Нум Торым помогать должен. И дети его помогать должны. У Ас-ики от груди золото понемножку ломаем, когда голод. Ничего, не сердится рыбий старик. Им Вал Эви тоже не рассердится.

— Спасибо, Еремей, спасибо,— Фролов стиснул в ладонях его пальцы, сжавшие статуэтку,— но пусть все же Им Вал Эви пока живет с тобой... Хлеб для голодающих мы купим на те драгоценности, которые отобрали у бандитов. Спасибо тебе и за них. У Тиунова оказалось столько золота, сколько не снилось, пожалуй, и Сорни Най!

— Сорни Най?.. Вот Сорни Най,— Еремей хитренько улыбнулся, показал глазами на лучезарный шар под потолком.— Золотой свет!

Фролов проследил за его взглядом.

— С политграмотностью, вижу, у тебя все в порядке,— и удовлетворенно крикнул.— Действительно, свет этот для нас, можно считать, золотой: новой жизни свет.

— Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны,— бойко и гордо выпалил Пашка, тоже задрав голову к потолку.

— Верно,— одобрительно хмыкнул Фролов.— Вот я и говорю, что Еремей— политически зрелый, если назвал золотым светом скромную лампочку Ильича.

— Кто такой Ильича?— Еремей, поглаживая Им Вал Эви, вопросительно посмотрел на Люсю.

— Так в народе зовут Ленина,— быстро шепнула она.

Еремей понимающе поджал губы и снова, на этот раз серьезно, уважительно поглядел на сияющий шар под потолком.

— Новый Сорни Най...— протянул задумчиво.

— Пусть будет так, если хочешь. Тебе видней,— Фролов повернулся к нему.— Нам трудно сравнивать: мы ведь не видели Сорни Най.

Еремей опустил глаза на Им Вал Эви, опять провел

ласково пальцем по ее красивому, суровому и властному лицу. Нахмурился, сдвинул брови.

— Покажу,— буркнул еле слышно.— Тебе покажу, Люсе покажу. Больше никому не покажу.

Фролов и Люся замерли, переглянулись неверяще-радостно.

— Золотой огонь Назым-ях покажешь? — осторожно спросила Люся и опять быстро взглянула на Фролова.

— И золотой огонь покажу, если хочешь, и Сорни Най Ангкхи,— твердо сказал Еремей, сосредоточенно вглядываясь в серебряное лицо дочери Нум Торыма.— Чего хочешь, то и покажу...— И вздохнул: глубоко, сокрушенно, виновато.— Только пойдем, когда совсем здоровый стану. Шибко далеко к Сорни Най Ангкхи идти, шибко долго. И дорога шибко тяжелая — болотами, урманами...

Бутин Э. В.

Б93 Золотой огонь Югры: Повесть.— М.: Мол. гвардия, 1987.— 220 [4] с.— (Стрела).

75 к. 100 000 экз.

Приключенческая повесть посвящена сложному времени борьбы за установление Советской власти в Сибири, дружбе русского народа и народов Севера, ставшей залогом победы в строительстве новой жизни. В основе сюжета — ликвидация остатков кулацко-эсеровской банды, ведущей охоту за сакральной святыней хантов.

Б 4702010200—161
078(02)—87 091—87

ББК 84Р7

ИБ № 5352

Эрнст Венедиктович Бутин
ЗОЛОТОЙ ОГОНЬ ЮГРЫ

Зав. редакцией В. Перегудов
Редакторы В. Пелихов, И. Иванова
Художник С. Крестовский
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор Е. Михалева
Корректоры Г. Замилова, М. Пензякова, И. Ларина

Сдано в набор 26.11.86. Подписано в печать 15.04.87. А01016. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 12,11. Уч.-изд. л. 12,5. Тираж 100 000 экз. Цена 75 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 103030. Москва. К-30. Сушевская 21. Зак. 2381.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий», 103473. Москва. И-473. Краснопролетарская, 16. Зак. 2440.

Отпечатано на полиграфкомбинате ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119. Киев-119, Пархоменко, 38—44. Зак.7—223.

В 1986 ГОДУ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
В СЕРИИ «СТРЕЛА»
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Волчы ягоды. Сборник. Пер. с укр.

Голубев А. Мир без милосердия.

Иванов Ю. Рейс туда и обратно.

Исарова Л. На пороге судьбы.

Левин М. Тайна Орлиной сопки.

Оганесов Н. Играем в «Спринт»

Приключения. Сборник.

Псурцев Н. Без злого умысла.

Семенов Ю. Псевдоним.

Тухтабаев Х. Золотой выкуп.

Финько О. Живой смерти не ищет.

**В 1987 ГОДУ
В СЕРИИ «СТРЕЛА»
ВЫЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

Безуглов А. Преступники.

Комов А., Веденеев В. Премьера без репетиций.

Приключения. Сборник.

Сизов Н. Невыдуманные рассказы.

Срочно, секретно, Дракону... Сборник.

Февральское «квадро». Сборник.

Хруцкий Э. Архив сыскной полиции.

Чебакин Е. Час двуликого.

Шестаков П. Остановка.

Эрнст Венедиктович Бутин родился в 1940 году в Забайкалье, в семье геологов.

Учился во ВГИКе и Литературном институте имени М. Горького.

Печатался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «Север», коллективных сборниках. Автор двух книг прозы: «И день тот настал» и «Суeta суeta».

Работает и как переводчик с языков народов СССР.

Живет в городе Свердловске.